

АГЕНВ

БОРИС

ТРЕТИЙ

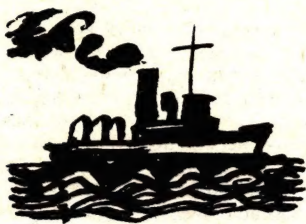


ТЕКУЩАЯ
ВОДА





Б О Р И С А Г Е Е В



ТРЕТИЙ

**ТЕКУЩАЯ
ВОДА**

ПОВЕСТИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

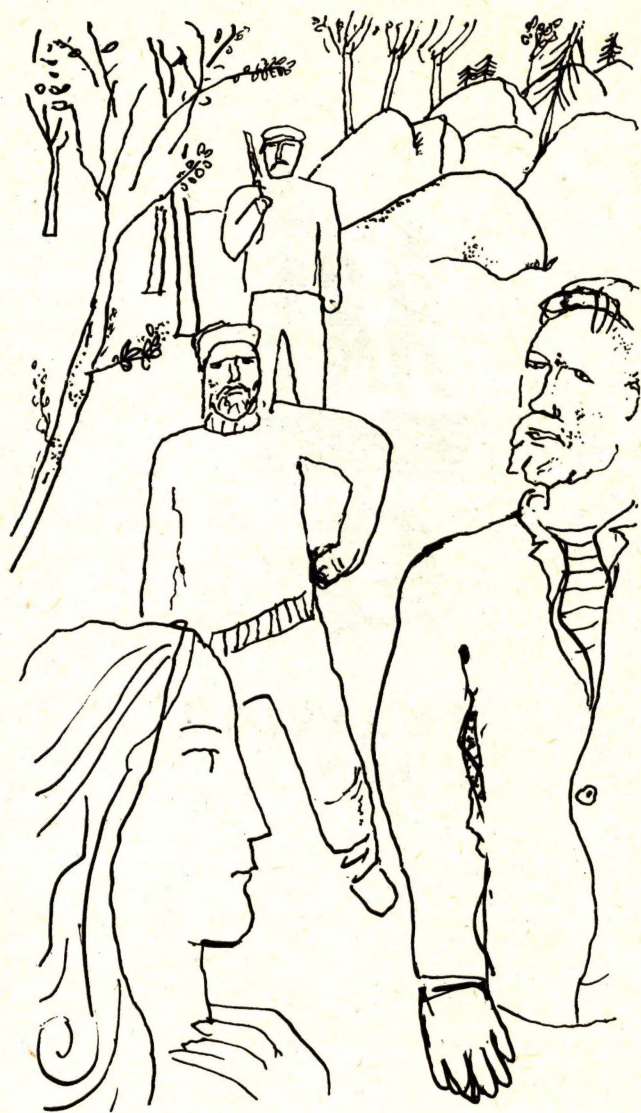
В центре повести «Текущая вода» — духовно инфантильный человек, убежавший от личной драмы на маяк, в тишину и одиночество. Однако уйти от жизни и от ответственности перед людьми нельзя... Герой «Третьего» — студент. Нанимаясь на транспортное небольшое судно, он сталкивается с самыми разными людьми, разным отношением к делу, к природе. Реальное переплетается в повести с символическим и даже фантастическим.

В поисках своего дела, самих себя, истины и добра герои Агеева мужают, проходят нравственную закалку.

Художник *Марк КЛЯЧКО*



**ТЕКУЩАЯ
ВОДА**



Скелет сивуча лежал на самой верхушке сопки, на каменной ее лысине. Почему его не растащили лисы и росомахи, как обычно? Но череп лежал рядом на боку: все-таки лисы и росомахи тут были. Обглаживали мясо всю зиму: наевшись, опять уходили в овраг и наблюдали друг за другом, чтобы не нарушался порядок очереди.

Ясно было, что сивуч обессилел на верхушке, остановился отдохнуть и остался здесь навсегда. Но все равно он не дошел бы до цели: дальше, на пути к морю, стоял высокий барьер хребта, и уж его-то сивуч не одолел бы.

Из закрытого льдом пролива к свободной воде сивучей ведет инстинкт. Я сам не раз видел, как они ползли по снежной тундре, оставляя кровавые следы от изрезанных настом лап. Они ползли группами и в одиночку, и многие добирались. Этот нет. Инстинкт не обманул его — он шел правильно, к морю; но нужно было брать южнее, там узкий тундровый перешеек шириной в какой-нибудь километр отделял его от спасения. А здесь были сопки, подъемы, спуски, и дальше шел зубчатый нож Карагинского хребта. Наверное, инстинкт толкнул бы его и на штурм этого препятствия, но шансов у него было очень мало. Он погиб в пути, но назад не вернулся...

Кости скелета были хорошо отполированы метелями, северным ветром, дождями и зубами зверья. Я тщательно выбрал точку съемки и сделал несколько снимков своим «Зенитом». Потом сел и начал рисовать. Мне удалось передать ощущение тупика, безысходности. Пришлось зачернить небо и выдержать рисунок в мрачной тональности. Нет, определенно что-то есть...

Я рисовал авторучкой с черными чернилами и японским фломастером. У меня уже лежало в папке шесть рисунков, сделанных сегодня, и все шесть мне понравились, и я ничего не собирался в них переделывать. До вечера я успел пола-

зять по сопкам, побродил по Березовой, подняв голенища болотных сапог, и даже выбрался на береговой обрыв южнее речки. Я сидел наверху под кустами и рисовал уходящий вдаль берег, темную полосу косы, которая ограничивала в проливе тихую солнечную бухту, где в любые шторма было намного тише, чем в остальных местах. Туда, в эту бухту, часто заходили отстаиваться проходящие суда, и называлась она Бухтой Ложных Вестей. Я рисовал кривые деревца, чудом удерживающиеся на крутом склоне обрыва, парящих чаек и белые жилы нерастаявшего снега на боках оврагов. Потом спустился на отливную полосу, скользя в сапогах по влажной глине, и разделся внизу, у гладкого камня, наполовину замытого песком. Здесь было мелко, и вода за день успела прогреться. По крайней мере мне было не очень холодно, когда я купался. Здесь редко удавалось искупаться: даже в течение жаркого дня не всегда вода могла прогреться — мешал прилив или отлив. Я пробовал заплывать подальше, к камням, на которых величаво стояли чайки, но тело начинал сковывать холод, и оно повиновалось все хуже и хуже.

Я плыл назад, опустив лицо в воду, и видел желтое дно, и темные камни, и длинные лоскуты побуревших по краям листьев морской капусты. Моя зыбкая тень на песчаном дне извивалась и сокращалась. Потом я увидел маленького мохнатого краба, который стоял на песке, воинственно поднимая клешни. Вода, которую колебал отлив, перемещалась пластами и перемещала водоросли и маленького воинственного краба. Он неплохо выглядел — агрессивный, мохнатый, — а вода играла им и швыряла во все стороны.

Я поднял голову и обернулся назад. Вода золотилась на солнце, за ее сверкающей полосой вставали далекие камчатские горы.

Слишком холодная вода...

Кто-то говорил, что лучший загар получается при вечернем солнце. Он ровный, красивый и устойчивый.

Я лег на песок, уже остывающий, и спрятал голову в согнутых руках. Нет, все-таки и для красивого, устойчивого загара слишком холодно. Не нужно было купаться.

...А сейчас я лежал у костра и читал книгу. Костер горел в березняке на невысоком плато, которое начиналось метрах в сорока от реки и выше по течению переходило в склон сопки.

На полянке в березняке был разбит мой бивак: палатка, столовая и костер. Палатка не была палаткой в полном смысле слова — кусок брезентового полотнища, натянутого на крепкие колышки, — имело все это вид маленького домика

с почти плоской крышей. А готовил я на костре. Около костра стоял пенек и лежало поваленное бревно — «стол» и «стул».

Я брал с собою продукты, фотоаппарат, малокалиберную винтовку, книги и транзисторный приемник, который стоял на пеньке и был настроен на ту волну, по которой сейчас шла джазовая программа из Вашингтона.

Было время «серых» ночей. На бледном июньском небе сияли скромные, непритязательные звезды. Стволы деревьев темнели на бледно-розовом фоне северо-запада. Хребет выделялся темной, с голубизной плоскостью, которая была отделена от неба ломаной зыбкой линией.

Передавали мелодии с фестиваля в Монтрё. Мне не нравился такой джаз, да и состав исполнителей был незнаком, но эта тихая музыка была к месту здесь, в березняке, на берегу маленькой речушки.

Звук бегущей воды доносился так отчетливо, словно она плескалась рядом с костром.

Вода что-то хотела мне рассказать — это я заметил давно. Если ей удавалось привлечь мое внимание, она начинала торопиться, булькала и захлебывалась. Я пристально слушал ее тогда, а потом смеялся над собой... Ерунда. Это от уединенности, от одиночества. Воображение ищет иррациональных объяснений, но я не семнадцатилетняя школьница. Не нужно одушевлять бездушное. Там, в реке, все очень просто: таяние снегов, разница уровней, каменистое дно... Физика.

Но все-таки...

Вот и сейчас, кажется, что-то слышно. Ощущение... настойчивой интонации. К черту! Ничего нет.

Я закурил, перевернул страницу. Бледный ночной свет, серая бумага, темные полосы шрифта и тени от костра, плетущие непонятные узоры.

...Я шел вниз по течению, подняв голенища болотных сапог. Струились потоки взбаламученной подошвами глинистой воды. Шевелилась листва береговой зелени, журчала вода, кричала одинокая чайка. А впереди, на повороте, где шумел быстрый перекат, я увидел лисенка. Он сидел у самой воды спиной ко мне и созерцал окружающее. Ему было немного недель от роду, и он еще не успел научиться осторожности, поэтому забыл, что надо смотреть по сторонам. Я приготовил фотоаппарат и тихо подошел поближе. Лисенок был заворочен игрой сверкающего солнца на бурунчиках переката, и его темная фигурка с забавно торчащими ушами хорошо выделялась на фоне воды. Я выбрал точку, снял его с расстояния метров десяти, но он и тогда меня не услышал. Беспечное

детство... Я резко взвел рычаг затвора и одновременно шагнул еще ближе, и только сейчас он почувствовал опасность и обернулся. Топоршились детские наивные уши, сверкали испуганные глазенки... Прыжок! Но я был начеку и успел нажать кнопку. Должен получиться хороший кадр. Лисенок немного потрещал в кустах, пошуршал травой и затих. Я был уверен, что он не ушел далеко, затаился где-то рядом и высматривает меня краешком глаза. Лисенок был слишком молод и полагал, наверное, что любопытство безопасно.

Я шел по воде и улыбался.

За перекастом правый обрывистый берег кончался и переходил в склон сопки, а дальше начинался березняк. Речка выбиралась на сравнительно ровное место и текла в невысоких бережках до самой большой воды. Сейчас будет небольшая заводь, а над ней, в густой траве берега, торчали столбы не то балагана, не то юкольника¹. Столбы сгнили и осыпались под рукой. Они стояли здесь давно, может быть, с двадцатых годов, а может, и дольше.

Нужно будет спросить Атувье об этих столбах, когда он ко мне придет. В прошлый раз я забыл об этом.

Вся местность вокруг столбов поросла очень густой травой; эта трава просто била из земли... Всегда так, подумал я; места, где бывали люди, стараются изжить о них даже память, что ли. Вдоль юкольника бежал ручеек, прорывший щель в дерне, на дне и на стенках щели расплывались разводя пята, словно от машинного масла или соляра. Минеральные примеси, и пахивают сероводородом.

Костер затухал, и я подбросил в него веток и немного сучьев. Рядом с пеньком росла береза, которая раздваивалась почти у самой земли и выгибалась дугой. Дуга и развилка образовывали ложе, на котором мне нравилось отдыхать.

Похоже на то, что день сегодня был удачный, поэтому можно доставить себе удовольствие: полежать на этом троне, вытянув ноги к костру. Я покурю, послушаю музыку и не отрываясь буду смотреть на нервные лепестки огня.

Я сходил за березняк, где между кустарниками росла сочная высокая трава, и заменил в палатке подстилку из уже высохшей травы. Палатку стоит назвать «нутром», ей-богу: так в ней темно и уютно. А какие запахи! Вянущие травы и кедрач...

Я уложил телогрейку в березовое кресло и уселся сам. Негромко работал приемник.

¹ Юкольник — постройка для вяления рыбы.

Где-то потрескивает... Нет, это не приемник. И что-то по-крупнее лисенка. Спать, спать... Транзистор умолк. Все-таки я немного устал. На берегу, в березняке, горит мой костер. Тихо-тихо. Июньское ночное небо в мерцающих брызгах звезд, журчащая невдалеке речка.

Текущая вода... а я на берегу у костра, горящего в березняке.

И в эту секунду на поляну выбегает волк.

Нет, это был не волк, а нартовая собака, очень старая и очень лохматая. Правда, одичавшая собака, потому что за старостью ее уже не использовали в упряжке, а пристрелить, как это делается в здешних местах, ни у кого не поднималась рука или, может, просто некому было.

Этот пес уже ни на что не годился.

Он сел рядом со входом в «нутро» и замер. Пес не сводил с меня своих глаз, которые в сумраке поляны горели двумя холодными угольками. При дневном свете его глаза были светлыми, с желтизной, а в темноте светились словно непотухшие головешки в куче серого пепла.

Настоящие нартовые псы все дикие, и летом их держат на стальных тросиках у ручья в овраге и очень редко кормят. Они сидят там, у воды, и воют, подняв морды, или просто лежат себе и разглядывают небо, траву и ручей. Они дикие, но никогда не тронут человека или его маленьких детей, которые иногда приходят к ним поиграть.

У этого пса кличка не собачья: его называли по имени хозяина, и я знал эту историю.

— Здравствуй, Маркел,— сказал я.

Пес не шевелился.

— Ты почему сегодня один?

Маркел слегка повернул голову, будто прислушиваясь к звукам позади себя.

— А... так ты не один.

Пес слушал с мрачным достоинством. Он уважал меня, хотя никогда не подходил ко мне на расстояние, опасное для него. Но он не боялся меня. Каким-то образом он чувствовал, что я его не трону, и был в этом прав. Я знал, что, закричи я на него, взмахни сейчас рукой, он прынет в сторону, глухо рыкнет и исчезнет, и я его больше не увижу. Но у нас с ним установились отношения доверия, и я думал, что он способен как-нибудь по-собачьи оценить мое к нему внимание и платить тем же; и, наверное, тоже был в этом прав.

Он привык к злобе и непостоянству людей, а теперь ему просто хотелось дружеской терпимости.

Он приходил ко мне не в первый раз, ложился на лапы, замирал, слушал музыку и наблюдал за мной. Наверное, он классифицировал меня со своей точки зрения коренника в упряжке: прикидывал, сколько я вешу, смогу ли вовремя остановить нарту, чтобы покормить упряжку, управлюсь ли, если псы рванут под уклон за убегающим зайцем.

— Прекрати, Маркел,— говорил я ему тогда,— старый остопоп, облезлая кацавейка. Прекрати, ты действуешь мне на нервы.

И Маркел прекращал. О чем он думал дальше, не берусь судить. Но о чем-то неторопливом, старческом, спокойном — это уж точно.

Иногда мы пили с ним чай. Вернее, чай пил я, а он довольствовался сахаром. Я бросал ему кусочек рафинада, но он не торопился: поворачивал его лапой, брезгливо обнюхивал, будто видел впервые, и только потом съедал. Я закуривал, а он укладывался поудобнее и опять начинал наблюдать за мной, и думать обо мне разные нехорошие вещи, и делать свои собачьи выводы.

Сейчас он лежал, огромный, со свалявшейся шерстью, а его массивные изуродованные лапы, которые за много лет протащили сотни тонн груза на тысячи километров, изредка подергивались.

Маркел ждал своего тезку и хозяина. И тот пришел.

— Здорово, Валентин,— сказал Маркел Атувье и сел на бревно.

Винтовку поставил рядом. Маркел таскал ее всегда: и когда была охота, и когда ее не было. Разрешение на «мелкашку» у хозяина давно кончилось, но он умел ее прятать вовремя от неожиданных «начальников» и еще ни разу не попался с нею.

Это оружие было — ветеран, однозарядная малокалиберная винтовка выпуска 1952 года. Приклад менялся уже не один раз, а тот, который был сейчас, тоже выглядел изношенным.

Маркел отлично стрелял из нее, как и все коряки, и я даже один раз видел, как он это делал. С одного выстрела снял ястреба, который летел на высоте метров шестьдесят. По-моему, такой выстрел означал больше, чем просто умение стрелять, которым отличались все коряки.

Ястреба он убил только потому, что хотел проверить на бой новые патроны. Патроны были отличные.

— Как дела, Маркел?

Маркел неторопливо достал из кармана солдатской гим-

настерки пачку «Памира», вынул сигарету и вставил ее в самодельный мундштук. Маркел выстругал его из ольхи, а дырочку прожег раскаленным гвоздем. Ему нужен был мундштук, потому что он курил сигарету дотла. После этого всегда вычищал ее веточкой или травинкой и убирал в карман.

— Как сажа бела,— ответил он и ухмыльнулся.

Даже при свете костра были видны его почерневшие, сгнившие зубы, желтые белки глаз и мешки под глазами.

— Ты чего не включаешь радио?

— Совсем забыл,— сказал я.— Я ведь уже хотел ложиться; ты сегодня немного припозднился, и я тебя не ждал.

Я знал за Маркелом маленькую слабость: ему доставляло удовольствие включать приемник, вертеть ручку настройки, переключать барабан и нажимать кнопку подсветки шкалы. Поэтому я сразу отдал приемник Маркелу, а тот осторожно взял его, установил на коленях и занялся им в свое удовольствие.

Пёс тотчас лег на лапы и замер.

Я подбросил в костер сушняка и повесил над костром чайник. Маркела нужно было обязательно угощать чаем, иначе он мог обидеться. Хотя эту обиду он не показывал, тем не менее нужно было ее чувствовать. Я сходил в «нутро» и вынес кружки, сахар и заварку в стеклянной банке.

Маркел поймал какую-то музыку — песню на испанском языке. Наверное, это была филиппинская станция. А может, японская, потому что для Филиппин уж слишком хорошая слышимость. Оба Маркела погрузились под эту незнакомую мелодию...

Когда она кончилась, Маркел-человек стал вертеть ручку настройки дальше, потом пощелкал переключателем диапазонов и, наконец, наткнулся на «Маяк». Чуть добавил громкости и поставил транзистор рядом с собой. Передача последних новостей уже заканчивалась, потом диктор объявил концерт оркестра под управлением Рэя Конниффа. Оба Маркела слушали внимательно.

Я не мешал им, а когда чайник вскипел, разлил кипяток по кружкам и долил заваркой. Я подал коряку кружку, и тот бережно принял ее и кивнул.

— Сахар клади сам,— сказал я.

Маркел взял несколько кусочков сахара, положил в кружку и принялся размешивать веточкой. Наверное, дома он пил чай вприкуску, потому что сахару ему всегда не хватало. У меня он мог позволить себе пить чай послаще, и я знал, как он это делает.

Я сделал вид, что отвернулся, передвинул чайник подальше и сел рядом с Маркелом на бревно. В пачке стало меньше еще на семь-восемь кусочков сахара.

Маркел был непроницаем. Он продолжал слушать музыку, задумчиво смотрел в костер и помешивал себе веточкой в кружке.

Коряки не воруют. По-моему, у них нет в языке такого понятия, как «воровство». Может, с некоторых пор они пользовались синонимами, но не так уж часто.

Маркел не воровал, боже упаси: просто ему хотелось сладкого чаю.

— Клади сахар, Маркел,— сказал я ему,— ты чего без сахара-то?

Маркел кивнул и взял еще пять кусочков.

— Бери больше. Что это за чай — совсем не сладкий. Ведь в этих местах глюкозы не хватает.

Маркел кивнул и ухмыльнулся: конечно, не хватает, мол; в чем душа только держится? Он взял еще пять кусочков.

Теперь у него в кружке был сироп с чаем, но, судя по всему, Маркел был удовлетворен. Он начал неторопливо прихлебывать из кружки и даже не поморщился.

— Какие там на белом свете новости? — спросил я и закурил.

Маркел тоже вытащил свой термоядерный «Памир» и воткнул сигарету в мундштук. В одном мы были с Маркелом единодушны: пить чай с сигаретой. Нам это доставляло удовольствие. И еще мы испытывали удовольствие оттого, что время от времени бросали друг на друга взгляды. Мы проверяли это самое удовольствие, как в зеркале. Тебе приятно? Я так и думал! Мне тоже. Это было двойное удовольствие.

— Прилетели геологи,— сказал Маркел и сделал длинную затяжку.

— Это я сам понял по твоей опухшей физиономии. А когда они прилетели? Вчера я слышал вертолет где-то в верховьях Гнунваям. Отсюда хорошо слышно вертолет.

— Нет, вчера им привозили какие-то ящики. А геологи прилетели еще семь дней назад.

— Их много?

— Десять человек. И у них две женщины. Трое в Ягодном.

— И красивые женщины? — улыбнулся я.

Маркелу нравились женщины, а особенно русские женщины. Он никогда не отказывался сходить к ним, кто бы ни был из них на острове: геологи, сенокосчицы, студентки. Иногда он даже разговаривал с ними, и не мог устоять, когда они

просили его в чем-нибудь помочь. Видеть их было для него, наверное, не меньшее удовольствие, чем чай с сигаретой, а может, и немного большее. А если он еще и разговаривал с ними, то это было как чай с сигаретой плюс «зеркало».

— Красивые женщины, — сказал Маркел невозмутимо. — Одна только старая.

— Зато вторая, наверное, молодая?

— Молодая.

— А где у них база?

— Вверху на развилке.

— И кто у них начальником?

— Старая женщина.

— Наверное, ты успел крепко сдружиться с теми, что в Ягодном?

— Я помогаю, когда они просят.

— Конечно. Разумеется. У них чай, много дурной веселящей воды для обработки кернов? И они помогают тебе.

— Не очень.

— Старайся, Маркел, старайся.

Маркел молча выплеснул остатки чая в сторону, вычистил мундштук и закурил новую сигарету. Пес настораживался, когда я обращался к Маркелу по имени. Потом оба Маркела ушли в костер.

Шумела Березовая, негромко играл оркестр под управлением Рэя Конниффа.

— А какие новости у тебя, Валентин?

— Я сегодня видел на сопке скелет сивуча — его даже не растащили россомахи. Я сфотографировал его и зарисовал. Потом ходил по речке, купался около камней, а перед твоим приходом читал книгу. До сегодняшнего дня было мало интересного.

— Покажи, как ты нарисовал, — сказал Атувье.

Маркел никогда не говорил, что именно на рисунках не так нарисовано, что ему не нравится, а что нравится. Он сидел сзади, когда я рисовал, и не шевелился. Он мог сидеть сколько угодно, и на него не действовали мухи и комары. Он разглядывал меня и возникающий на бумаге рисунок, не мешал вопросами и болтовней. В такие минуты я прощал ему его присутствие, потому что кочка не могла вести себя тише, чем он. И он сидел до тех пор, пока я не заканчивал или бросал рисунок.

Но потом Маркел всегда просил у меня этот листок и долго разглядывал его, держа как живого теплого птенца.

Однажды я сказал ему, что рисунки так не смотрят: их

нужно отодвигать от глаз на некоторое расстояние, чтобы одним взглядом можно было схватить весь рисунок. Он послушался, но потом опять стал смотреть их так, как раньше, держа в полусогнутой руке, как птенца.

В отместку я заставлял Маркела позировать, и он безропотно сидел на пороге дома в Ягодном, пока я рисовал сорванную дверь, выбитые стекла в рамах окон и заросшую густой травой завалинку.

Брошенные мертвые дома не угнетают меня, нет. В конце концов так получилось, что люди покинули поселок и уехали жить и работать в другие места. Но эти люди оставляли здесь что-то и иногда, наверное, слишком много, уезжали отсюда, оборачивались с борта судна и плакали. Какое там, я не сентиментален! Просто все так и было, и я в этом уверен; и нечего делать вид, что я скорблю и меня все это угнетает.

Но дело в том, что все, что они тут оставили, время победило. Вряд ли кто-нибудь сюда вернулся, чтобы поклониться дорогой могилке, слишком непросто сюда добраться.

А время, прущее из земли сытой зеленью, все человеческие следы, пороги, завалинки, привязанности, постоянство, любовь и ненависть, добро и зло загладило, затерло.

Нет, слишком уж глубокомысленно.

Просто: был человек, и было его место. Не стало человека, и место забывает о нем.

Коряк был частью этой природы; может, и он забыл?

Вот он сидит и рассматривает мои рисунки. Он не стар еще, я знаю, но эти желтые белки глаз, испорченные прокуренные зубы, темная редкая щетина... На спутанных, месяцы не мытых волосах укрепилась жалкая кепчонка с большим козырьком и иероглифами на правой стороне, такие иногда выбрасывает море на восточном берегу, у нас на маяке их называют «привет из Японии». Зачуханная армейская роба, дырявые сапоги...

— Сколько тебе лет, Маркел?

Маркел исподлобья взглянул на меня, неторопливо достал сигарету, вставил ее в мундштук, прикурил от тлеющей веточки.

— Скоро тридцать шесть, однако.

Он жил на острове двенадцать лет, с тех пор, как приехал из Ивашки. Он здесь родился, в землянке за первой лагуной; наверное, поэтому вернулся. Где-то здесь были похоронены его дети, где-то здесь утонула жена. Теперь он остался один и доживал свой срок у сгнивших корней своих. И был обречен

на забвение, так же, как юкольник здесь, на берегу, и тот дом в Ягодном.

Жил он тем, что сдавал весной госпромхозу добытую за зиму пушнину, а в обмен закупал продукты, табак, водку. Летом он не хотел работать на госпромхоз, собирать ягоды и грибы, — собирал их для себя. Он ловил рыбу в устье Гнун-ваям, вялил юколу для собак и приторговывал икрой с геологами и прочим сезонным людом. Продуктов, табака и водки ему хватало до весны, а потом он сдавал пушнину, и ее принимали, потому что в госпромхозе он числился промысловиком. А в обмен закупал продукты, табак и водку. Это был тоскливый неизбывный круг.

— Да не держи ты так рисунки, Маркел. Сколько тебе говорить.

Маркел поднял голову, и в косых щелках на его лице я увидел глаза, похожие на глаза одичавшей собаки.

2

Да, где-то здесь ходит медведица с медвежонком. Эти следы — большого медведя и маленького — я видел здесь же и в прошлом году. Особенно много их было на речном песке у самого устья речушки, которую на маяке называют Северной.

На острове раньше не было медведей, а те, следы которых были на речном песке, пришли с Камчатки зимой, по льдам пролива. Медведи начали размножаться, и сколько их теперь на острове, никто не знал. На Северной было по меньшей мере двое, мать и детеныш, и их следы я видел. Наверное, в долине Северной они облюбовали себе базу, ловили в устье рыбу и собирали на склонах ягоду.

Речка стекала в море с тундрового куска между хребтом и проливом и образовывала в среднем течении живописную долину. А у самого устья начиналась первая вершина Карагинского хребта. На эту вершину сначала шел крутой подъем, по краю высокого берегового обрыва, потом пологий склон, поросший низким кедром и усыпанный брусничными и голубичными лужайками, а потом опять крутой. Здесь, начинаясь от невысокого каменного рога, засиженного чайками и вороньем, шел сначала вниз, потом вверх, изгибаясь дугой, узенький каменный нож. Он был опасно узким, этот каменный нож, и по нему без надобности не рискнула бы пройти и лиса.

В прошлом году не прошел и я.

Сначала я поднимался по крутой тропе над береговым

обрывом, цеплялся за крепкие пружинящие ветки ольховника, а внизу, чуть слышный, грохотал прибой. Потом я шел по пологому склону, каждые двадцать метров давались мне с трудом — я падал на голубику и щипал сладко-кислые ягоды. Вставал и шел очередные сорок метров. Сердце душило меня, застряв в горле. А потом я сидел в седловине каменного рога, курил и рассматривал узкую дугообразную тропу, по которой мне предстояло пройти, балансируя и отступая.

Я не был благоразумен, но медлил встать и двинуться по этой тропе на вершину.

А потом самую макушку горы начал обволакивать туман, холодный туман, который поднимался из ложбин и двигался вдоль хребта на юг.

Я встал и выстрелил дуплетом из ружья. Дымящиеся пыжи долго летели вниз, а я спускался за ними, и меня догонял туман. Все правильно — совершать подъем в тумане на опасном участке, без страховки очень рискованно. Можно свернуть шею, и никто мне не помог бы, никто меня не увидел бы и не услышал.

Но почему же я оборачивался на скрытую туманом вершину с облегчением и стыдом?

Вершина звалась «Колдунья».

Почти год спустя я опять пришел к ней, на речном песке было много медвежьих следов. И я начал подъем.

...Я лег на вершине Колдуни, раскинув руки. День уже кончался; солнце низко стояло над проливом. Во впадинах между горами медленно набухал фиолетовый сумрак. Вершины уходили все дальше на север, делались расплывчатыми. Полосы нерастаявшего снега в ложбинах от красноватого вечернего солнца казались розовыми. А западнее, через пролив, видно серое пятно Оссоры. Вернее, не самой Оссоры, а ее дымов, пыли и испарений.

Только теперь, с Колдуни, я получил полное представление о соотношении всех частей островного юга, который был исхожен вдоль и поперек, но тем не менее сейчас казался незнакомым. Хорошо просматривалась лагуна, сопки на южной оконечности и сам мыс Крашенинникова. Маячный городок выглядел темной точкой, а мачты казались спичками и бросали длинные-длинные тени, которые были заметны даже с расстояния двадцати километров. И отлично выделялась нитка извилистой дороги до рабочего берега, у которого обычно разгружались гидрографические суда.

За мысом Крашенинникова был виден через пролив мыс Озерной-Восточный. Горы в этом месте словно висели в

воздухе, как Фудзияма на рисунках японских мастеров. На тех рисунках Фудзи сверху монументальна, а ближе к основанию насыщенность цвета слабеет, и потом цвет вообще исчезает. Вершина будто сбалансирована в розовой пустоте. Так вот, далекие камчатские горы в этом месте были похожи на множество Фудзи японских рисунков.

Я обернулся и увидел море. Никогда не видел его таким. Оно другое, когда стоишь на его берегу или когда плывешь по нему. Может быть, причиной было все то же вечернее солнце и темно-зеленый склон Колдуньи,— но море было ослепительно синим. Вдоль береговой линии извивались белые жгуты прибойной пены. Особенно много ее было вокруг рифов.

Это море было величественно красивым. Я вспомнил другое...

Я сидел на комингсе люка паровой трубы, а судно шло декабрьским днем вдоль Курильской гряды на север. Горячий воздух из машины бил в открытый люк наружу, а я сидел в этой струе, и меня не доставали снег и холодный ветер. Нужно было крепко держаться за скобы, иначе при волнении в девять баллов могло попросту выбросить за пределы судна, как камень из пращи. «Хатангалес» дрожал всем корпусом, но упрямо пробивал себе дорогу в кипении стихий. Может быть, море и было тогда похожим на свинец, как пишут в романах. Но нет, на этом свинце плескались серебряные блики от пробившегося сквозь низкие облака зимнего солнца. Море жило в эти тяжкие свирепые минуты, переливалось, завораживало переменчивостью. Оно стремилось куда-то, бежало, струилось, передвигалось, а «Хатангалес» стоял на его пути. Наверное, эти две стихии, вода и железо, мешали друг другу. Шла какая-то битва, на последнем издыхании, и море было сильным и жестоким. Вокруг меня и подо мной было движение, кипение неодоушевленных страстей, но это меня не трогало — я ничего особенного не замечал, просто шторм девять баллов в Тихом океане — и одинокое судно...

...Я сфотографировал сначала панораму, потом отдельные куски пейзажа. Сверху хорошо было заметно то самое озеро, о котором мне говорил Маркел. На этом озере много диких гусей и уток. Нужно будет сходить на днюх и настрелять дичи: я давно уже не ел свежего мяса. Заодно и порисовать.

Когда я спустился и вышел на тундру, шел уже двенад-

цатый час ночи. Нужно было успеть к джазу из Вашингтона, и я успел.

Концерт был построен целиком из вещей Гила Эванса и в исполнении его оркестра. Я разогрел в банке тушенку и поставил чайник. Потом тянул чай, запивая его холодной речной водой, и слушал рваную, на первый взгляд аритмичную конструкцию. И в ней было нечто тонкое, нервное, чего я не мог понять и определить, но настораживающее. Словно что-то замерзало, живое среди камней на северном ветру. Даже если он не несет с собой массы снега и не шлифует своим наждачным кругом скалы и тундровый наст — все равно он силен, холоден и проникает до сердца. Человек должен двигаться, тогда движение греет кровь, и можно противостоять северному ветру. Но необходимо знать, куда идти, иначе бесцельность движения становится помощником северного ветра, и человек, живой, теплый человек превращается в замерзающий среди камней и снега темный комочек...

Я уложил в березовое кресло телогрейку. Теперь нужно вытянуть к костру ноги и посидеть так некоторое время.

Утром над Березовой был туман. Он поднялся из долины и повис над ней плотным белым одеялом. Верхушки деревьев и высокого кустарника росли прямо из этого одеяла. Я приколол к картону листок бумаги и начал рисовать вид из березняка на речку. Я втягивался в работу все больше и больше. Переменил место, приколол новый листок. Чувствовалось что-то вроде голодного озноба, когда внутри дрожь и тянет курить. Соотношения света и тени, линии схватывались с точностью, которая меня начинала забавлять и немножко радовать. Приходила легкость и простота.

С тех пор как я увлекся рисованием, я научился кое-чему, но одному крепче всего — не подражать. Я рисовал, как умел, и учился делать это хорошо. Рисование влекло меня, как других вино; я проводил иногда целый день с карандашом в руках и работал по памяти.

...Скоро должен кончиться мой отпуск. Я долго думал, брать ли мне его за все три года или только за год, как это положено делать. Отпуск за три года слишком велик — почти полгода, а ведь я не собирался отдыхать на материке. Для того чтобы пожить на острове, на берегу Березовой, всласть поснимать и порисовать, мне хватило бы и полутора месяцев — отпуск за год. Я не использовал даже и этих полутора месяцев: хватило двух недель.

Скоро за мной по отливу придет маячный трактор с тележкой, на которую я погружу свой бивак. Потом мы посидим у

затухающего костра с трактористом Юрой и поговорим о маяке. О том, что уже нужно готовиться к зимовке, что мне пора приниматься за работу и делать капитальный ремонт своим агрегатам. О том, что прошло уже целых три года с того дня, как я приехал на маяк и работаю техником; а уже нужно — и необходимо — сдать на старшего техника. Есть вакантные должности старших техников. Мы поговорим о том, что я освоил свою специальность и нужно осваивать другие маячные специальности, а то народу у нас всегда не хватает.

3

Дым от моего костра можно было заметить и со стороны моря, от устья Березовой; наверное, те двое, что шли сейчас к березняку, обратили на него внимание. Сначала они подошли к устью по берегу со стороны Ягодного, потом поднялись немного выше, и все время я видел их в бинокль. Они спрыгнули с обрывчика на болотистую низину, по которой пролегла старая колея от вездехода.

Колея начиналась метрах в пятидесяти от устья и шла по низине вдоль речки почти до самых столбов юкольника. Старая колея — еще с позапрошлого года, когда здесь работали косцы, заготавливающие сено для Оссоры, — но все еще глубокая. Местами в колее сверкала болотная вода.

Левый глаз у меня видел немного хуже правого, и я отрегулировал окуляры по зрению.

Это были геологи, в штормовках и болотных сапогах с закатанными голенищами. На одном из них сапоги были желтые — легкие японские сапоги с крупноребристым «протектором», я однажды долго таскал такие. Но они легко рвутся на камнях, поэтому пара черных сапог отечественного производства за шесть восемьдесят для геологов все-таки должна быть предпочтительней. Второй геолог нес рюкзак и ружье.

Да, это были геологи, я уверен в этом. Я немало их видел и смогу отличить геолога от негеолога, к тому же шел июнь — время поля. И Маркел...

Теперь можно разобрать, что геолог в японских сапогах был женщиной. Мужчина шел впереди и загораживал ее, но один раз она оступилась на узенькой колее, и я мельком увидел ее.

Вскипел чайник. Я достал из «нутра» сахар, галеты и маленькую ложечку. Потом заварил в стеклянной банке свежий чай и поставил на «стол». У меня были эмалированная кружка и стакан от пластикового термоса. Третьей посуды обычно не требовалось, когда мы пили чай с Маркелом. Пришлось свинтить с термоса еще и пластиковую кружку. Чай-

ник я придвинул к костру, чтобы не остывал, и закурил. Запах чая смешивался с запахом табака, а дымки от костра, сигареты и парок из банки с заваркой тянулись в сторону хребта и таяли в воздухе. Утром, после ночного отлива, ветер менялся на противоположный. Шелестела листва, а недалеко шептала речка.

Я опять взял бинокль. Фигуры геологов сначала исчезли за невысоким кустарником, потом показались снова. Теперь они были видны совсем хорошо и находились от меня на расстоянии негромкого оклика. Я различал рыжую щетину на угловатом лице мужчины и даже видел пуговицу на вельветовой кепке. Это был или геолог или рабочий геологической партии, который уже работал в поле и успел стать похожим на геолога.

Женщины опять не было видно, и я подождал, когда они подойдут к небольшому повороту колен: тогда они повернутся немного боком и будут видны оба.

Женщина была среднего роста, ниже своего спутника почти на голову. Лицо либо загорело, либо смуглое от природы. Волосы спадали на плечи темным водопадом. Очень темные волосы, черные, они блестели на солнце.

Я почувствовал, как потяжелел в руках бинокль и изображение скрылось будто в тумане: видно, вспотели желтые фильтры на окулярах.

Я закурил новую сигарету от старой и повесил бинокль на сучок березы. Смотрел, как тает в воздухе дым от костра и сигареты.

Те двое уже поднимались по неприметной оленьей тропке в кедраче. Она вела в березняк и на самом верху была очень крута. Слышалось потрескивание травы и сухих кедровых веточек под их сапогами.

Сигарета догорела очень быстро и уже начала жечь мне пальцы. Я сделал несколько коротких затяжек и бросил окурок в огонь.

Над бровкой склона мелькнула вельветовая кепка, скрылась, потом снова показалась. Геолог поднялся на поляну березняка и обернулся вниз, где шла черноволосая женщина.

Я разглядывал его, облокотившись на ствол березы.

Он был плечист, широкая кость; такие работают грузчиками в находкинском морском порту, а не шляются с геологическими партиями.

Вельветовая Кепка обернулся и увидел меня.

— Привет, борода,— сказал он.

— Взаимно.

— Ништяк... Палатка, березы и костер.

— Почему ты не поможешь ей подняться? Тут круто для женщины.

— Сама умеет. Геолог небось.

Женщина с черными волосами ступила на поляну. Нет, кожа смуглая не от загара. Она дышала часто и глубоко.

— Здравствуйте,— сказал я,— проходите к костру. Я заметил вас, когда вы шли снизу, и приготовил чай.

— Спасибо,— сказала женщина.

Она глянула на меня вскользь, быстро и сразу отвела глаза. Устало откинула волосы со лба и села на бревно у самого «стола».

— Тебя как зовут, борода? — спросил Вельветовая Кепка, сбрасывая ружье и рюкзак.

— Валентин. Живу на маяке.

— А-а... Усек. Тут где-то есть маяк. Отдыхаешь?

— Точно.

— Меня зовут Жорой,— сказал он,— а она Зоя. Мы оба из одной партии.

— Карины? — спросил я.

— Ну. А откуда ты ее знаешь?

— В прошлом году Карина охотилась на ртуть и золото где-то на севере, в верховьях Вороньей.

— Ага,— сказал Жора.— Только чё я тебя не видел раньше?

— Не знаю,— сказал я и разлил чай по кружкам.— Разве ты был с нею в прошлом году?

— А как же. Только я малость опоздал.

— Берите сахар и галеты. Хлебушком побаловать не могу.

Жора сел на бревно рядом с Зоей и взял пластиковую кружку. Я обратил внимание на его руки, большие и мохнатые. Причем левая казалась шире правой. Руки были похожи на тех самых мохнатых крабов, одного из которых я видел два дня назад. Когда маячники ловят на камнях крабов, то всегда стараются избавиться от таких побыстрее, если те случайно попадают в сачок. Мало того, что они несъедобны, они еще и отвратительны.

— Мы заметили твой дым и свернули посмотреть, кто да чё. Тут не должно быть больше партий. Наша пока самая южная.

— Не трудно было идти по приливу?

— Не,— сказал Жора,— только в одном месте пришлось прыгать по валунам.

Краем глаза я видел Зою. Она медленно пила чай, опустив голову, и изредка отводила со лба густые волосы. Из-под штормовки у нее виднелся спортивный костюм, а на шее повязана косынка в цветочках по голубому полю.

— Ты в партии рабочим?

— Коллектор,— сказал Жора.— Я уже второй раз в поле. Малость насобачился. Скоро в начальники пролезу.

— Шутите-с?

— Ага,— сказал Жора и захохотал.

Он взял чайник и налил еще чаю. Только сейчас я заметил, почему одна ладонь казалась шире,— просто на другой не хватало мизинца. Ладонь все равно была огромной.

Он выпил еще кружку и еще раз взял чайник. Похоже, что Жора не из тех, кто умирает от скромности.

Жора протянул чайник и показал его Зое, но она, не глядя на Жору, отрицательно покачала головой. Тогда он налил себе.

Я посмотрел на Зоины руки. Хрупкие, тонкие пальцы. Кожа успела за неделю работы огрубеть: были царапины и ссадины. Ногти, конечно, без маникюра, но подрезаны кругло. Может, ей мешают длинные ногти, может, просто не нужны.

— Чё там у вас такое, Валентин,— спросил Жора,— будто сверхсекретное? Слышал разговор: летчики летать рядом боятся — зацепишь ненароком в тумане.

— Не думаю. Сверхсекретное на такую высоту не строят. А у нас стоят просто мачты веерного радиомаяка.

— Темнишь, паря,— сказал Жора.— Ну, да ладно. Секрет так секрет.

Жора вытащил пачку «Примы» и закурил.

— Давно там трудишься?

— Третий год.

— Жена, дети?

— Один.

Жора свистнул:

— Ну, не завидно. Тебе бабу нужно; ты конь во какой.

— Кобылу,— сказал я.

Жора расхохотался. У него хриплый смех и раскатистый — простуженный, что ли.

— А на серьезе — какого беса ты там ошиваешься? Рубли, верняк, недлинные. Ты извини, конечно, за любопытство, Валентин.

— Ничего, ничего,— сказал я.— А рубли, конечно, недлинные.

— Тогда не понял.

Я посмотрел на Жору, потом на его руки. На острове бывали люди, работавшие на лесоповале не по своей воле, они-то мне и рассказывали всякое-разное. По некоторым признакам можно выделить человека, который недавно «оттуда».

— Мне кажется, ты немного все-таки понимаешь, Жора. Жить на острове, и без женщины, и не за деньги... и лес тоже...

Жора перестал улыбаться.

— Может, и так... — сказал он после минутной паузы.

— Во-во, — сказал я и в упор взглянул на Зою.

Она чуть-чуть отодвинулась от Жоры и сидела вплотную к «столу». Лицо безучастно, и смотрит она поверх моей головы куда-то сквозь березы. Пальцами перебирает кончики платка. Ажурная тень листвы шевелится на ее лице, на плечах и путается в черных волосах.

Нет, конечно, она не красавица. Но эта смуглая кожа, темные с матовым переливом волосы и синие глаза...

Где-то на юге, на Таити, все женщины такие, но то на Таити. А здесь это смотрится как волшебство.

— Зоя, хочешь еще чаю?

— Нет, — сказала она и встала, — я пойду умоюсь.

— Лучше всего это сделать у столбов юкольника. Там есть чистая мелкая заводь.

— Я так и сделаю.

Она склонилась над рюкзаком, развязала тесемки и вытащила полотенце.

Голубой спортивный костюм слишком обтягивал ее бедра.

— Помочь спуститься? — сказал Жора тихо.

Я видел ее взгляд, которым она смотрела на Жору.

Медленным движением перебросила полотенце на воротник штормовки.

— Нет. Я сама.

Если бы господь бог создал меня женщиной, я бы тоже носил голубой спортивный костюм, плотно облегающий стройные ноги. И специально ездил бы на остров, где попадаются в березняках одинокие холостяки.

Жора следил за нею, когда она шла к бровке. Он очень внимательно следил.

Мне показалось, что было в его лице сейчас что-то слабое.

Захрустела трава и веточки на склоне.

— Твоя? — спросил я.

Жора снимал сапог и разматывал портянку. Портянку он повесил на колышек у костра. Потом снял второй сапог.

— Ну,— сказал он.

Я уже давно чувствовал с собою что-то неладное. Похоже на то, как бывает при сильном переохлаждении.

Но в том-то и дело, что сейчас мне было тепло, но вот эта жилка, совсем одна глухая дрожащая жилка...

Жора сидел на бревне, вытянув ноги к костру, а от носков и висящих портянок шел парок.

— Ты ничё, если я посушусь, Валентин?

— Не,— сказал я.

Я собрал посуду и подбросил сушняка в тлеющий костер.

— Ты чё куришь? Тоже «Приму»? А мне махорки захотелось.

— Давно оттуда? — спросил я не глядя.

Жора долго молчал.

— Салага. Салажонок ты, Валентин.

Похоже, что ветер усиливается. Пожалуй, к вечеру надо ждать погоды похуже. К тому же ветер изменился теперь и по направлению, дул с севера, вдоль хребта.

— Извини, конечно, Жора. Но все ж интересно, какие края ты радовал своим присутствием и как давно оттуда?

— Тебе интересно, потому что ты там не был. Но тебе еще рано туда, да и не пустят.

— Ладно,— сказал я.— Зря начал, не стоило, конечно.

— Много лишних вопросов. Это все не для тебя, мальчонка.

— Ну, какие наши годы. Мне всего только двадцать пять. Жора захохотал.

— Ты очень жизнерадостный, Жора.

— Кончили,— тихо сказал Жора.

Я взял чайник и кружки. Конечно, зря я все это начал.

— Ты пока погрейся, Жора, а я сполосну посуду, и заодно нужно воды набрать. Дела хозяйские, сам понимаешь.

Я перешагнул ручей у юкольника и завернул по старой оленьей тропке за возвышение, на котором стояли столбы юкольника.

Если спуститься с обрывчика позади этого возвышения, то из березняка человека на заводи уже не видно. Я спрыгнул с обрывчика на галечный берег заводи.

Зоя стояла спиной ко мне и, опустив голову, смотрела на несущуюся мимо воду Березовой. Полотенце в правой руке касалось воды и намокло. Я увидел только краешек лица, ресницы и кончик носа: остальное скрывали волосы.

Ветер доносился сюда несильными порывами. Тут и в вет-

реную погоду тише, чем в других местах, а сейчас вода в заводи даже не рябила.

Я помыл посуду, выплеснул остатки из чайника, набрал в ладонь песка и принялся драить чайник и изнутри и снаружи. Хороший чайник, медный, очень старый, и как только он оказался на маяке? Наверное, оставили коряки-оленоводы, когда перегоняли стадо с юга на восточный берег. Я ополоснул чайник, набрал воды и поставил в траву на бережок.

Когда я обернулся за кружками, Зоя стояла лицом ко мне.

Солнце было сзади ее головы, на смуглом лице играли блики от воды. Зоиные синие глаза смотрели на меня не отрываясь.

Это было очень красиво: черноволосая женщина с блестящими синими глазами, а над ее головой июньское солнце. Не хватает только венка в волосах, а на заднем плане — каноэ. И чтобы в кустах где-нибудь или в березняке негромко играли «Алоха Оэ».

— Я была мертвая весь этот год, Фалеев,— сказала Зоя.— Не хочу сказать, что это ты виноват в том, что я мертвая. Нет... Но не было бы всего того, что было, если бы ты тогда не ушел и не оставил меня им...

Я смотрел на ее лицо, на таитянское смуглое лицо, на синие глаза и на водопад темных волос.

У меня было, наверное, внимательное лицо; я знал, как оно сейчас выглядит, и ничего не собирался с ним делать.

— Перестань, Фалеев, ты же не такой,— сказала Зоя,— перестань... я тебя убью сейчас, задушу, зарежу...

Я слышал ее с каким-то опозданием. Сначала шевелились губы, потом шумела вода и только тогда доходили ее слова.

— Зачем ты это сделал?..

— Я не думал, что это было серьезно. И у меня были поводы так думать.

— Но мне было девятнадцать лет. Ты это имеешь в виду, Фалеев?

— Я сказал тогда, что тебе нужно уехать обратно в Петропавловск.

— Господи, что я знала?..

— А мне нужно было возвращаться на маяк.

— Ты сильный, Фалеев, и жестокий. Ты злой.

— Но я на многое мог решиться, если бы верил тебе...

— Не надо, Фалеев. Не надо... Ты будто оправдываешься. Уж будь злым.

— Мне жаль тебя...

Из-за поворота вылетела чайка. Она даже не шевелила

крыльями, только хвостовое оперение чуть покачивалось. Чайки долго так могут летать, неожиданно бесшумно возникать над головой и вдруг душераздирающе закричать.

— Обман... все обман,— прошептала Зоя.

— Нам пора возвращаться. Жора, наверное, волнуется.

— Если бы ты знал, что было потом, Фалеев...

— Догадываюсь. Но твой Жора волнуется.

— Уходи.

— Я помогу тебе на подъеме.

— Уйди...

Я вспрыгнул на обрывчик и подобрал посуду. Я уже сделал шаг, но что-то заставило меня обернуться.

И опять мне показалось.

Показалось, что в этом маленьком кусочке мира, где шумела о чем-то камчатская речка, словно хотела мне что-то втолковать, в листве на другом берегу, в июньском солнце, в черноволосой женщине с бессильно опущенными руками, крике одинокой чайки,— как будто во всем этом есть горечь и чистота. И дрожала, звенела эта предательская глухая струна.

Я ушел и не оборачивался до самого березняка.

— Благодарствуем за чай-сахар,— сказал Жора. Он лежал там же и так же вытягивал ноги к костру, только от носков пар уже не шел.

— Ну чё ты, Жорик, не за что...

Не надо этого делать, лишнее, подумал я. Но все-таки слазил в «нутро» и достал фотоаппарат. Снял крышку с объектива и начал протирать линзу кусочком замши. Это был большой, сильный объектив «Гелиос-40». Он производил впечатление. С тех пор как я начал заниматься фотографией, у меня перебивалось множество фотоаппаратов. «Зенит» с «Гелисом» оказался самым лучшим: он устраивал меня универсальностью, качеством негативов и надежностью. Единственное плохо — он тяжеловат. На острове, где последние три года я собирал пейзажи для своего фотоальбома, тяжесть аппарата часто мешала в съемках труднодоступных мест и уголков природы.

Будет мешать и сейчас, хотя я задумал снять не совсем пейзаж. Нечто другое...

— Жора,— сказал я,— если рыжая твоя милость будет не против, я сфотографирую вот этот пейзаж вместе с твоим мужественным лицом!

Жора лежал и курил, рассматривая листву и небо над головой. Он был без штормовки, и расстегнутая до пояса

клетчатая рубашка обнажала мощную грудную клетку. Он повернул лицо, начал рассматривать меня.

— Тебе на чё?

Я взвел затвор, установил выдержку и диафрагму. Освещенность сейчас хорошая, и для большой глубины резкости вполне хватает.

— Собираю,— сказал я.— Если доведется быть на маяке, то я подарю тебе твой портрет на память об острове Карагинском. Чуешь?

Жора рывком сел.

— Кончай валять дурочку. Зачем тебе моя рожа, Валя?

Уже слышалось потрескивание сухих веточек на склоне. Я сел на траву метрах в двух от рюкзака, навел на резкость по шкале, держа аппарат между колен.

— Я же тебе все объяснил, Жора. У меня иногда неплохо получаются портреты.

Зоя подошла к рюкзаку и склонилась над ним с полотенцем.

Я поднял аппарат. В зеркале была видна ее голова на переднем плане, а на заднем — лицо и фигура лежащего Жоры. Это то, что мне было нужно.

Я нажал кнопку и увидел, как Зоя вздрогнула, словно от пощечины, и выпрямилась.

— Выдержка одна сто двадцать пятая,— объяснил я.

Зоя была спокойна, только и ее природный таитянский загар не мог скрыть, как бледна она. У меня опять дрогнуло что-то внутри... Зря ты, Валентин...

— Хорошо, Жора. Теперь позвольте крупным планом?

— Га,— сказал Жора тихим голосом,— давай, шелкай.

Он смотрел исподлобья на Зою, совсем как тогда Маркел на меня, но только у Жоры глаза другие...

Я запечатлел его вот так, со взглядом исподлобья.

— Благодарю, Жорик. Ты понятливая модель.

— Я не модель,— ровно сказал он,— и не называй меня Жориком, ты еще юноша.

— Вставай и обувайся, Жора,— сказала Зоя,— нам пора идти.

Я стоял немного сзади и не видел ее лица. Зато видел Жорино. Он разглядывал ее. Жора любит все разглядывать, подумал я. И все-то он разглядывает, и каждый раз по-новому.

Потом Жора лаа-а-сково улыбнулся, отвел глаза от Зои и потянулся за сапогом.

Они уходили до самого устья по разным сторонам колен, а не по одной, как шли сюда. И не оборачивались.

Я повесил бинокль и вытащил сигарету.

А все-таки зря...

4

Против течения, особенно в глубоких местах, было очень тяжело идти. Вокруг сапог взвихривались бурунчики, и чувствовалось живое сопротивление воды.

Я не видел тогда Жору в партии Карины до самого своего отлета. Может, был еще один вертолет после того, как я улетел? И Жора попал в партию с ним? И встретился на острове с Зоей?

Я остановился перед глубокой ямой, в которой стоял косяк горбуши. Темные спины рыб были хорошо видны в прозрачной воде. У них шевелились плавники и трепетали хвосты, удерживая горбушу без видимого усилия в несущейся воде. Некоторые из рыб резко отплывали в сторону, но тотчас же становились головой против течения.

Горбуши было очень много, десятков семь — девять, и снизу подходили все новые рыбыны. Косяк шевелился в яме темной массой. Одни уходили вверх искать ямы посвободней, другие оставались. У многих рыб спины были ободраны, и виднелось нежное мясо. Они уже успели побывать в сетях, вырваться из чьих-то зубов, ранились о коряги и камни, прежде чем приплыли спустя два года в ту же речку, из которой вышли мальками. Тот самый инстинкт, который звал сивуча к большой воде, привел сюда, за тысячи километров, и горбушу.

«Умная рыба,— подумал я.— Вот ведь, вернулась бывшая икринка».

Все возвращается на круги своя. Горбуша вернулась метать икру. Возвращается старая болячка, чтобы ныть и напоминать о себе.

Я повернулся в сторону от ямы и осторожно, без шума, двинулся обратно. Если бы я спугнул косяк, вода в яме буквально закипела и во все стороны от нее веером понеслись бы бурунчики от темных подводных молний. Я уже видел однажды это: яма пустеет в течение секунды.

...Так как же это было? Я верил ей и не верил, и меня это мучило. Наверное, поэтому ты и сбежал, Фалеев?..

Это было год назад. Я выбирался на свой остров из Оссо-ры вторую неделю, но пока не получалось.

Сняться с острова было нетрудно. Как раз к маяку подошло наше судно, и все, кто хотел провериться у врачей или вылечить зубы, были доставлены на нем в Оссору. Через два дня судно с «маячниками» вернулось на остров, а мне еще нужно было полечиться, иначе больные зубы меня замучили бы зимой. Вылечил. А потом попытался выбраться из Оссоры на остров. Каждое утро я заявлялся на причал, затем в аэропорт, но ни оттуда и ни туда ничего не ожидалось. Потом прибыли геологи и в ожидании отправки разбили лагерь сбоку от взлетной полосы. Через неделю их начали понемногу, партия за партией, переправлять на остров в разные его точки. Но все на север. Тогда и я присоединился к геологам с надеждой перелететь хотя бы через пролив. И познакомился с Кариной Александровной и с черноволосой несерьезной студенткой. Карина пообещала одним из последних вертолетов, которые будут переправлять их партию, доставить в Ягодное и меня, благо крюк небольшой. Из Ягодного я дотопал бы и сам; летом пятьдесят километров по отливу — немудрящее дело.

Карина была озабочена, а студентка беззаботна. Я рассказывал им байки о том, что под горой у маяка нашли золотишку, а в овраге одна женщина обнаружила капельку чистой ртути. Нужно обязательно послать на маяк вертолет, может, это очень серьезно — капелька чистой ртути. Недоверчивая Карина грозила пальцем. Она слыхала эту историю, говорила с той женщиной и знает ее. Ртуть в таком виде, в каком она была найдена, — это редчайший случай, а такие случаи можно сосчитать на пальцах одной руки, и тем не менее все это внушает доверие. Но она хочет все-таки проверить там у нас: на всякий случай, но не сейчас. Так что тебе, молодой человек, придется лететь только до Ягодного, и не растекайся мыслью по древу — меня не проведешь.

Студентка смеялась: ртуть-то, наверное, из градусника.

Каждый день я провожал вертолеты, а Карина все оттягивала мою отправку. Тогда я начал провожать черноволосую студентку. В кино и обратно. Потом пил с геологами в палатке, если у них было что пить. Я рассказывал им об острове, подпевал гитаристу Саше и чокался стаканом с геологом Витей. Бородатый Юра был молчалив. «Свой парень — Валя», — говорил Витя, когда я диктовал гитаристу не очень популярную, но хорошую песню не то про геологов, не то про бичей. Закатное солнышко зеленело сквозь полотнище палатки.

Потом они говорили о черноволосой студентке, которую

начали обхаживать рабочие из геологической партии, а главное — этот хлюст Леша. Он уже подбил под нее клинья и приблизился вплотную. Валя-то ладно, он свой парень; да его можно понять, холостяк на острове. И он уже улетает. Но этот Леша... Нужно срочно менять сферу его влияния, говорил Витя под мелодичный звон гитары. Упрочить над студенткой опеку и приучить только к нашему обществу. Наше не должно достаться другим. Баста! А то гнусавый Леша теряет чувство меры. Только нужно четко договориться, чтоб все было по уму и чтобы Карина не смогла помешать и к чему-нибудь придраться.

Саша пел хорошую, красивую песню про геологов, которые уходят и которых ждут, а ему подпевали Витя и бородатый Юра. Потом гитарист показывал мне свадебные фотографии, где он держал невесту на руках, улыбающийся и красивый. Витя и Юра тоже посмотрели фотографии. Как и Саша, они были женаты, но не возили с собой свадебных фотографий.

А черноволосая студентка ходила в кино и со мной, и с хлюстом Лешей, и с бородатым Юрой. Я не мог ее понять.

Я верил ей и не верил, и это меня мучило. Я думал, что она попадет в западню. На острове, в поле, где партии разбиваются на группы и остаются одни среди гор и зелени, некуда убежать и искать защиты. Это всегда делается умело; если девчонка не соглашается, ее ставят в такие условия, что она вынуждена жить не с теми, так с другими. Не может быть, чтобы она не понимала, к чему все идет. Все-таки ей было девятнадцать лет. Но шла в поле впервые. Может быть, поэтому?

...Березовая рокотала на перекаате. В ее пляшущих бурнах мелкали темные спины рыбин, которые непрерывными молниями шли и шли вверх, к родам и к смерти.

И тут надо мной пронзительно закричала чайка, и ее крылатая тень упала на меня. Я замечал, что они всегда подлетают к человеку так, чтобы чиркнуть его своей тенью. Это не могло быть случайностью, потому что повторялось почти всегда, и я бывал застигнут криком и тенью одновременно. Меня не пугала эта неожиданность, но казалось отвратительно неприятной. И я мстил им за это. Вот и сейчас я пожалел; что со мной не было винтовки, иначе этому белоснежному изуверскому созданию больше не летать.

Я стискивал тогда зубы. Я помнил ее прохладные, нежные пальцы на своем лице. Она плакала у меня на груди и шептала: «Бедный Фалеев». И опять я верил ей и не верил. Я увел

ее в тундру за кладбище; я рассказывал ей о себе, о море, о маяке, о моей жизни. Тогда она была моей, но я опять не верил — ни ее рукам, ни ее слезам, ни ее телу. И все-таки верил. Я сказал ей, что нужен любой повод, чтобы уехать в город. Я сказал — в поле ее могут ожидать испытания. Она улыбалась и спрашивала, что же это за испытания. Глупая дикарка! Я не мог ей объяснить, какие испытания я имел в виду. Она сама должна все понимать. Глупая дикарка!

Я оставался в Оссоре еще четыре дня, и перед самым моим отлетом она все поняла. Беспомощные синие глаза, дрожащие пальцы... «Не улетай»...

Я улетел.

Где же была Карина?

Я благополучно сел в Ягодном и благополучно добрался до маяка, но по приливу. Благополучно, если не считать устья Березовой. Когда я вышел на другой берег, тело уже ничего не чувствовало, ноги кровоточили. Черт меня дернул переходить речку здесь, да еще в полный прилив!.. Это могло стоить мне дорого, настолько дорого, насколько вообще возможно. Вряд ли я смог бы дотянуться до берега с суком в боку или животе, вон их сколько натыкано, и все они ждали, когда я оступлюсь и поток швырнет меня на них.

Не хватило благоразумия. Когда дело касается других, то ты очень благоразумен, Фалеев. Вот так, как с Зоей.

Что же это было?

Меня обгоняли змеи глинистой воды. Вот заводь, куда не достают ни ветер, ни баламутная речная вода. Осколок зеркала в галечной оправе. И откуда-то принесло небольшую рогатую корягу. Она была похожа на паучка на зеркале, когда лежала на самом краешке заводи.

Что же это было?

5

Напрасно ты не спал всю ночь, курил и глядел в небо. Все равно ни до чего путного ты не додумался.

Хорошо еще, что ты не занимаешься самобичеванием, вырыванием волос из бороды.

А в чем, собственно, дело? Просто ты чересчур недоверчив?

Что-то слишком туманно, как говаривала мать, рассматривая мои первые, а потом и не первые фотографии.

Я повернул голову и вздрогнул.

В углу поляны горели желтые холодные угольки в куче

пепла. Наверное, Маркел уже давно там лежал и слушал мои размышления.

— Скотинушка ты, Маркел, хоть и умная псина. Нельзя подслушивать, о чем думают люди. Невоспитанная, облезлая, беззубая тягловая единица.

Маркел укоризненно молчал.

Может быть, у него что-то случилось, раз он пришел давно, лежит тихо и не обижается на мои оскорбления? Не знаю, что с ним может случиться, но, наверное, случилось, раз он пришел давно и не уходит, как обычно, когда я становился ему противным или просто надоедал.

Старость не спит, а дремлет. Маркел лежал неподвижно, закрыв глаза. Но можно быть уверенным, что, как только я пошевелинусь, он сразу их откроет. Маркел выглядел очень потрепанным. Однако его могучая грудная клетка и массивные лапы внушали уважение. Он открыл беззубую пасть и зевнул. Есть он, конечно, хотел. Изредка я баловал его сахаром, но он никогда у меня ничего не клянчил. Маркел был еще мужчиной и сам добывал себе пожрать. Стоило ему немного помышковать, и он бывал сыт на день вперед. Если становилось скучно заниматься охотой, он и не занимался, и это ему не вредило — он мог обходиться без жратвы двое-трое суток. Маркел чувствовал, что ему не очень много осталось, и поэтому старался не забивать свою голову такими тоскливыми, беспросветными пустяками, как забота о жратве. Стоиком его сделала суровая жизнь, а к старости он еще переквалифицировался в философа.

Лежи, старина, подумал я, не суетись и умри, когда придет время. Все у тебя было: и тяжкая работа, и самки, и отдых летом в овраге. Ты прошел людскую злобу и ничего не боишься. Света другим не застишь, чужой кусок не отрываешь, а сейчас тебе хочется спокойствия и терпимости. Наверное, ты постиг эту самую сермяжную правду, все-то ты знаешь. Вот лежишь и ждешь своего часа с достоинством и думаешь, что все суета сует.

Я протянул руку и вытащил новую сигарету из пачки, которая висела на веточке над костром. Сам костер уже припотух, но жар от него еще чувствовался. Маркел насторожился, когда я двинулся.

— Конечно, ты не ответишь мне, старый, почему это я решил, что со мной не все в порядке. Вообще-то я и раньше подумывал об этом, но сейчас стало похоже на тупик. Ты чего-нибудь смыслишь в тупиках-то? Ну, вот в таких тесных, неудобных, в серых тупиках? А между прочим, я там уже сижу,

мятущийся великовозрастный страдалец. Ты даже вежлив, Маркел, помалкиваешь себе в тряпочку. Ты хоть облаял бы меня. Можешь даже покусать — на это дает тебе право твое изношенное в упряжке сердце. Хотелось бы мне иметь такие вот могучие, искалеченные об лед лапы и стоять на них — когда уже позади и сотни тонн груза, и тысячи километров снежного пути — так же твердо, как умеешь стоять ты. А я только начал путь и иду налегке, так ведь получается, Маркел? Что ты молчишь, голос моей совести?

Маркел, голос моей совести, лежал и не шевелился. Или опять думал, что все это суета сует? Но он может так думать, а я нет.

Уже светало.

— Наверное, ты думаешь — слишком много слов? Если ты так думаешь, то ты прав. Слова успокаивают, не нужно слов.

Ветер менял направление, как и всегда утром; серое небо начало наливаться красками. Горы по ту сторону пролива засветились в зыбком сумраке.

Я вспомнил, какими мне увиделись эти горы утром глубокой осени. Остров уже был освещен, и везде струились длинные тени, а камчатские горы только-только начали проступать в омертвевшем бессолнечном пространстве, розовые хребты в ледяном космосе. Они будто мерцали, нереальные еще, но встающее солнце оживляло их и закрепляло светом, и это солнечное движение проникало в глубь хребтов и все дальше. И тогда горы стали просто далекой неприветливой землей, просто берегом Камчатки со стороны. А призрачный мираж исчезал. Это бывало в очень редкие морозные утра глубокой осени.

К чему это все вспоминается?..

Я встал и развел огонь. Разогрел банку тушенки. Сходил за водой. Поел, попил чаю, покурил...

И все это время пес лежал и не шевелился, только передвинулся в тень. Почему-то он не собирался уходить. Наверное, ему стало некуда идти, у него что-то случилось. Теоретически все допустимые сроки его терпения уже давно должны были кончиться, а он тут лежит и терпит.

Что это я сегодня собирался делать?

Озеро и утятина на обед. И кажется, ты еще намерен был сходить в распадок, что к югу, за вторым поворотом. Там есть что посмотреть.

Распадок не распадок, скорее узкая щель. Кустарник в тесном пространстве между склонами так сплелся, что обра-

зовал темную нору. Вот в этой норе ручей и кряхтел до тех пор, пока не вырывался в море. А сверху свисали обнажившиеся корни ольхи и кедрача, и, пришибленные снегом и северным ветром, извивались корявые стволы. В склоне распадка торчал большой круглый валун. Держался там он чудом, кажется, сядь на него муха — и он обвалится вниз. Глинистый склон уже размыли дожди, фундамент валуна был скорее символическим, и все же валун держался. Это была вулканическая бомба, их много тут, на острове: на обрывах, у берега, в оврагах.

Сходи и посмотри. И не забудь захватить запасную каску с цветной пленкой, а потом вернешься и до вечера успеешь сварить горячего. Ты уже четвертый день не ел горячего. В «нутре» осталось десятка два картофелин, и была какая-то крупа. Еще завалился лавровый лист и пара луковиц.

Зачем ты себя обманываешь, подумал я, какая крупа, какая вулканическая бомба? Отвлекаешь себя фланговыми маневрами.

Великий Точило сказал бы в сходном случае, что судно рыскает на ходу не потому, что рулевой Вася с глубокого похмелья, а потому, что перо руля заржавело и все шарниры заедает.

Перестань, Фалеев. Дело в том, что человека ломали, и ты в этом участвовал. Ты сам.

Можно напридумывать много обходных маневров, чтобы не вспоминать обо всем этом, можно оправдываться перед старым псом, можно принять теорию какого-нибудь заржавленного руля, но все упирается вот в это — ты сам...

Краем глаза я заметил, что Маркел напрягся, потом встал. Все спокойно же, подумал я.

Но Маркел слишком стар, чтобы показать беспокойство. Значит, что-то было. Маркел посмотрел на меня своими мудрыми желтыми огоньками и ушел в сторону хребта. Он исчез бесшумно и неторопливо.

Я снял бинокль и навел его туда, где сквозь березняк был виден кусок заболоченной низины с колеей от вездехода. Жора и Атувье.

Коряк нес рюкзак и винтовку. Оба они или сильно устали, или просто были пьяны. Я видел в бинокль, как Жора иногда оборачивался и что-то говорил Маркелу Атувье, а тот останавливался и слушал, опустив голову. Конечно, они пьяны, и

Жора пьян меньше коряка, потому что держался на ногах уверенно. Маркел же иногда вообще спотыкался и падал. Видно, здорово он помогал геологам.

— Не-не,— сказал подошедший Жора, чуть покачиваясь,— не отказывайся, Валюха. Мы принесли вмазать, вот и давай вмажем.

— Благотворительное общество «Жора энд компани»,— сказал я.

— Не бухти.

— Редкий случай заботливости. Впрочем, на острове легко быть таким заботливым: можно обойтись скромными запасами.

— Мы с Маркелом должны были сегодня обработать керны.

—...а благодарностью страждущих вы будете обеспечены по гроб.

— Кончил бы ты травить, Валя.

— Налейте,— сказал я и бросил Жоре кружку,— налейте мне двести граммов чистого первосортного керна.

Жора налил мне из бутылки, которая давно уже была извлечена из рюкзака и покоилась в Жориной лапе.

— Запивать не будешь? — спросил Жора, подавая спирт в прыгающей руке.

— Будем запивать,— сказал невнятно Маркел, отставил винтовку и сел на землю, поудобнее положив ноги в костер.

— Сгоришь, Маркел,— сказал Жора,— огонь горячий.

— Сгоришь, Маркел, огонь горячий,— повторил Маркел и блаженно ухмыльнулся.

Сапоги уже начали тлеть, и сильно запахло жженой резиной. Я отодвинул ноги Маркела в сторону, а он снизу посмотрел на меня мутными, уставшими глазами.

— Будь здоров, Маркел,— сказал я,— береги себя.

Спирт расплавился у меня в груди, и я запил из поданного Жорой чайника. Вода была теплой, и было неприятно пить спирт с неостывшей водой.

— А поесть вы, конечно, не принесли,— сказал я.

— Как не принесли? — сказал Жора.— Щас сгарбузуем. В рюкзак я клал балык и консервы какие-то.

Маркел упал на спину, потом с трудом повернулся на бок и спрятал голову за пенек.

— Это лучше всего,— сказал Жора,— спи спокойно, дорогой друг Маркел.

Он достал из рюкзака рыбу и разрезал ее поперек на

небольшие куски. В рюкзаке была еще и половина буханки хлеба.

— Чего ж ты молчал? — сказал я. — Есть хлеб, а больше ничего и не надо.

— Ты подожди, — сказал Жора, — я шас тоже вмажу.

Он налил себе из бутылки, в которой после этого осталось еще немного спирта. Жора заткнул горлышко пластмассовой пробкой и сказал:

— А то выдыхается.

Я жевал хлеб, посыпав его крупной солью. Я уже с неделю не ел хлеба, обходился галетами, а хлеб геологов казался мне почему-то вдвойне вкусным после спирта.

— Однова живем, — сказал Жора и посмотрел в кружку, — эх, однова живем, Валюха.

— На. — Я подал ему чайник.

— Не, — сказал Жора, — я так...

Я слышал о том, что есть люди, которые пьют неразбавленный спирт и не запивают его, но видел это в первый раз.

— Силен ты, мужик, — сказал я.

— Ничего страшного, надо только привыкнуть, Валя, — сказал Жора. — Кинь мне только корочку понюхать.

— Привыкай без корочки, раз ты такой герой, — сказал я.

— Усек, — ответил Жора.

— ...Мыла Марусенька белые ноги, — сказал голос из-за пенька.

Жора обернулся и посмотрел на Маркеловы сапоги.

— Надо пушку спрятать от греха, — сказал он.

— Не бойся, Жора. Коряки не стреляют в людей и не воруют.

— Прямо. Зато хитер не в меру, да еще прикидывается простачком. Все-таки червонцев на пять он меня облапошил.

— А-а, — сказал я, — ты имеешь в виду торговые связи?

— Связи. — Жора посмотрел на пенек.

— В его условиях приходится блюсти свою выгоду. Он негоциант, потому что жить ему тоже надо.

Знаю я Маркела, подумал я. Он может торговаться с простоватым видом и настоять на своих хитростях. А может просто что-нибудь отдать, хотя ему и самому это бывает нужно.

— Чего это — «негоциант»? — спросил Жора.

— Купец. Лавочник.

— Точняк. Это самое, — сказал он. — А ты знаешь, Валя, много ли у него лисьих шкур? Ну, выделанных чернобурок и сиводушек?

Вот оно что! Хотя что тут неожиданного? Какой еще интерес может быть у Жоры к Маркелу, кроме шкурного?

— Не знаю,— сказал я после паузы.— Вряд ли много: и десятка, может быть, не наберется. Этой зимой охота была неважная.

— Усек,— сказал Жора, обернулся и еще раз посмотрел за пенек.— Чего ж он тогда темнит, говорит, что охота была хорошая? Я думал, он их прячет. Лис-то. Сам видел у него двух росомах и с десяток нерп, а лис нету.

Жора разлил спирт по кружкам, и мы выпили еще. Я опять жевал хлеб, посыпанный крупной солью, а Жора на этот раз понюхал корочку.

— Так ты знаешь Карину Александровну? — спросил он.

— Знаю.

— Суровая женщина. Как вы с ней познакомились?

— В прошлом году я с ее помощью выбирался из Оссоры, сюда на маяк.

— Ага. А тебя я уже не застал: ты улетел раньше. Я тю-тельница в тю-тельку успел из города на последний вертолет нашей партии.

— Конечно, ты не опоздал, Жора,— сказал я,— ты прибыл вовремя.

— В кадрах что-то напутали, я должен был идти с другой партией.

— Повезло, что ты не пошел с той партией.

—...За печкой, за печкой, на лавке мурлыкает кот,— слышался голос Маркела из-за пенька.

Жора обернулся и долго разглядывал Маркела.

— Каб ты сдох,— сказал он,— козел вонючий.

— Каб ты сдох, козел вонючий,— явственно произнес из-за пенька Маркел.

— Гля,— удивился Жора,— он еще и ругается. Да нехорошо как...

— Не трогай его, Жора, пускай себе лежит.

Жора протянул мохнатую лапу и вытащил из моей пачки над костром две сигареты, одну подал мне.

— Чума бубонная,— сказал он.

— Не ругайся, Жора.

— С ним только так и надо.

— Не надо. Он понимает по-другому. Только он сейчас вмазал и, конечно, лыка не вяжет.

— А ну его...— сказал Жора.— Пойдем лучше искупнемся.

— Где это?

— Вот,— обернулся Жора и показал рукой на речку. При этом он потерял равновесие и чуть было не упал с бревна.

— Здорово ты придумал. В шубе, что ли, купаться в такой воде?

— Под... подумаешь,— сказал Жора, икнув,— чихнешь пару раз, да и вся любовь.

— Уговорил,— согласился я.— Я только полотенце возьму, да и ринемся.

Я присел перед входом в «нутро» и нащупал рукой полотенце. Оно висело на колышке внутри палатки. Жора встал и, покачнувшись, перешагнул через костер, потом через неподвижные Маркеловы сапоги.

— Я уже ринулся,— объявил он.

— Подожди, Жора,— сказал я и упал.— Подожди, кто-то подставил мне ножку.

— Не поддавайся ему, Валя,— сказал Жора.— Я пока подержусь за ветку, а ты не поддавайся.

Я встал на ноги и намотал полотенце на шею.

— Где этот тип, Жора? Сунь там ему в челюсть.

— Здорово он тебя? — сказал Жора.— Иди сюда, я посмотрю.

— Да не очень.

— Секи по сторонам. А я его шас найду.

Жора ступил на склон и начал спускаться, но упал и покатился вниз, ломая кустарник.

— Только осторожней, Жора,— сказал я вслед,— он здоровый малый.

Жора сопел внизу. Слышался треск кедровых веток и шуршание травы.

Я начал спускаться. Толстые рифленные подметки альпинистских ботинок скользнули по траве, и я отправился вниз таким же способом, как и Жора. Сильно хлестнули по рукам стальные ветки ольховника, а сук кедрача воткнулся где-то между лопаток. Внизу я встал с головы на колени. Жора сидел под кустиком и сопел, растирая бедро.

— Здравствуй, Валя.

— Приветик,— сказал я.

— Нокдаун. И правда, здоровый, гад,— не давался никак. Ты не заметил, куда он убежал, Валя?

— Может, он чего вспомнил,— сказал я.

— Жалко отпускать.

— Пойдем лучше дальше, Жора. Вот речка. По карте у нее коряжское название... Лим... те, Лимимтеваям...

— Фу,— сказал Жора,— ваям.

— Только не ныряй слишком глубоко.

— Сначала нужно раздеться.

Жора сел на обрывчик и принялся стаскивать сапоги.

— Каблук оторвешь,— сказал я,— давай я тебе помогу.

— Сам.

Он с трудом стащил сапоги и сбросил их на галечный берег заводи. Потом снял штормовку и штаны. Жора вошел в носках в воду, остановился на минуту и подумал. Вода в заводи была спокойной, а дальше кипели в ямах буруны. Жора вернулся на гальку и сбросил трусы.

— Надень штаны, бессовестный,— сказал я.

Я не раздевался, а как был — в рубашке, брюках и ботинках — вошел в воду и упал. Поток подхватил меня, перевернул в яме и мягко выкатил на берег метрах в десяти ниже по течению.

— Не бойся, Жора, тут мелко,— сказал я, сплевывая песок.

Жора не боялся.

Он лег в воду, выставив руки, но в этом месте глубина была чуть ниже пояса, и Жора скрылся в воде. Течением потащило вниз, но он схватился за донный камень, бултыхнулся и оседлал его спиной против течения.

Жора сидел на камне, и из воды торчали только его плечи. Вода переплескивала через него и бурлила, но Жора сидел надежно. Он выплюнул изо рта струю речной воды и заорал:

— До чего ж хорошо!

— Славненько,— сказал я,— пива только не хватает.

Я прошел по берегу до того места, напротив которого сидел Жора, вошел в воду и сказал:

— Жора...

Течение сбило мои ноги, просто вырвало их из-под меня, я опять упал, и снова меня протащило водой метров пятнадцать и выбросило на берег.

Я снова встал и вернулся.

— Жора,— сказал я,— мой только что построенный парадно-выгребной лапсердачок, с петелечками по нижнему краешку, загибается, когда я хохочу, считаясь без вести пропавшим на Южном берегу Крыма.

Жора счастливо закурлыкал и побрызгал на себя водичкой.

— Научи! — заорал он.— Будь другом, Валя, научи!

— Сам еле вспомнил,— сказал я.

Я видел все предметы будто бы нерезко, словно они дрожали и расплывались, и мне приходилось напрягать глаза,

чтобы остановить это дрожание. Со мной бывало это и от спирта и от большого количества вина, правда, слабее, но почему-то никогда не бывало от водки.

Нужно будет окунуться еще пару раз, и тогда все будет в порядке.

Я забрел в воду по колено, опустил на руки и сунул голову в бурун.

Здорово холодно, подумал я, кажется, волосы вылезают от такой холодины. Хорошо еще, что сразу можно будет согреться у костра.

Жора бултыхался в какой-то яме.

— Жора, ты еще не утоп?

Жора захохотал и сделал могучий рывок из своей колдобины. Он взлетел вверх, словно играющая форель, и опять шлепнулся в яму. Он был очень красив в этом полете — сильный, хорошо сложенный, без трусов и в рубашке, прилипшей к телу.

— Жора, ты очень красив, — сказал я, выбираясь на берег, — как тебе идет эта рубашка!

Фыркая и отдуваясь, Жора двинулся к берегу. Он плескался, как шестивесельный ял с гребцами на зыби.

— Самый тихий, — сказал я, — швартуйся вот здесь.

Жора благополучно выбрался, лег на гальку животом и издал победный вопль.

— У стенки нельзя гудеть. Экая ты бестолочь. Вот оштрафует портнадзор, будешь знать.

— Прошу пардону, лоцман, — сказал Жора, вставая на ноги.

— То-то же, — сказал я. — А теперь сходи на берег, обувайся и пойдем в кабак.

Мне было уже совсем хорошо, и нужно только побыстрее отогреться у огня и принять вовнутрь граммов сто. Тогда будет уж лучше некуда. Я подождал, пока Жора оденется и обует сапоги. Жора перепутал их, но я ему ничего про это не сказал. Так было интереснее, и я мог втихомолку посмеиваться, наблюдая, как Жора спотыкается. Рыжая щетина отблескивала на солнце золотом, когда по щеке Жоры скатывалась вода.

Мы начали подниматься, подталкивая друг друга и друг за друга цепляясь, когда соскальзывали ноги.

— Ты молоток, — сказал Жора, — давай поцелуемся, Валя.

— Вали отсюда, — сказал я, — развел слюнявчики! И поторопись, а то кабак закроют, у них сегодня короткий день.

Почти на самом верху я упал, а Жора взошел на бровку и протянул мне руку.

— Держи, Валя.

Я протянул ему навстречу свою и тут же убрал ее.

Как ты мог забыть, Фалеев? Вот эта рука и Зоя. Они же были вместе. Вот эта огромная мохнатая конечность и смуглая кожа Зоиного лица. Как ты упустил это из виду?

— Вали отсюда, — сказал я, — я и сам смогу.

Жора медленно убрал свою руку. Я впрыгнул на бровку и подошел к костру.

Маркела с винтовкой за пеньком уже не было. Я подбросил в огонь сушняка, разделся и развесил на колышках свою мокрую одежду. Жора тоже разделся до трусов, а свою рубашку повесил на ветку, которую воткнул в землю у костра. Он молча разлил остатки спирта, мы выпили и закурили. Я сидел к костру спиной, тело уже начало согреваться, и стала саднить царапина между лопаток.

Можно бы лучше — некуда.

Когда я надел высушенную одежду, на костре уже вскипел чайник.

Жора лежал в трусах у костра. Руки он скрестил на груди и курил, рассматривая листву над головой. Сшит Жора был добротно и надолго, как можно судить при внимательном рассмотрении.

Развитые мышцы, пропорциональное сложение: этакий мохнатый Геркулес. Такой не даст себя в обиду кому бы то ни было, подумал я. Против таких нужно знать каратэ, самбо, дзюдо и вольную борьбу, тогда при равном весе что-нибудь получится. Женщинам, наверное, спокойно с ним. Женщинам... И Зое тоже.

Жора встал и начал одеваться. Мышцы перекачивались под кожей у него. Конечно, лесоповал — нелегкая работа, подумал я, и ничего удивительного, что Жора огреб себе такие физические данные.

Я налил в кружки чай и поставил их на пенек. Заварку я сделал очень крепкой, так что чай даже немного кислил. Если сделать его еще и сладким, будет что надо.

Жора сел на бревно и взял кружку.

— Куда это он смылся? — спросил он.

— Недалеко. В таком состоянии никуда не уйдет. Спит где-нибудь под кустом: дитя ж природы, — сказал я.

Маркел был даже ближе, чем я предполагал. В дальнем углу поляны, там, где я обычно сваливал в кучу сушняк для

костра, что-то затрещало. Маркел поднялся из-за этой кучи сначала на четвереньки, потом на ноги. Держался он нетвердо, но когда шел к костру, ему даже удавалось не падать, споткнувшись о кочки и ветки. Винтовка была, конечно, при нем и держалась на плече чудом. Роба Маркела была вываляна в траве и грязи и обсыпана брусничными и голубичными листьями.

Он подошел к костру и стал напротив нас с Жорой, раскачиваясь, как былинка.

Я не мог понять, что он сейчас думает, что собирается делать или что вообще хочет. Его лицо, оплывшее и посеревшее, было непроницаемо, и на этом опухшем непроницаемом лице исчезли даже глаза. Он вертел головой то в мою сторону, то в сторону Жоры.

Жора хлебал чай и смотрел через березняк на пролив.

— Садись попей чаю, Маркел,— сказал я,— заварил очень крепкий — это помогает.

— Не хочу чаю,— ответил Маркел и начал изучать меня; перестал даже раскачиваться.

Потом повернул лицо и начал изучать Жору. И тоже забывал раскачиваться. На непроницаемом опухшем лице появилась знакомая ухмылочка. Такая хитренькая пьяная ухмылочка.

— Не хочу чаю,— повторил он.— Я тебя не боюсь, Жора. Жора молчал.

— Каб ты сдох, козел вонючий,— сказал Маркел.

— Прекрати, Маркел! — крикнул я.

— Свинья,— сказал Маркел молчащему Жоре, который продолжал с шумом хлебать из кружки.

— Перестань сейчас же! — возмутился я.— Ты что говоришь?

Он был не так уж и пьян — это стало заметно. И раскачивался он больше для виду.

Маркел снова повернул лицо и нацелил щелки глаз на Жору. В этот момент ремень винтовки сполз с плеча Маркела, и приклад глухо стукнулся о землю.

Жора налил себе еще чаю. И опять хлебал и смотрел через березняк на пролив.

Маркел не глядя взялся рукой за ложе, приподнял винтовку и вскинул ремень на плечо.

Жора допил вторую кружку, выплеснул остатки под ноги Маркелу и взял сигарету из пачки над костром. Он неторопливо прикурил от уголька и выпустил густой клуб дыма в сторону Маркела.

Коряк отшатнулся назад. Он не сводил своих опухших щелок с Жориного лица.

— Валентин,— сказал он,— ты зачем с ним купался?

— Просто мне хотелось, Маркел. А в чем дело?

— Не купайся с ним, Валентин.

Жора встал, с хрустом потянулся, переступил через костер и стал подкидывать в него обгоревшие веточки.

— Свинья,— бросил Маркел ему в спину.

Жора обернулся и не спеша сделал несколько шагов к Маркелу.

— Жора...— сказал я, встал и подошел к ним. Напрасно все это, подумал я, не нужно вмешиваться. Все равно они могут решить свои дела где-нибудь по дороге.

Маркел прислонился к березе и не менял позы. Он не спускал с Жоры набухших щелок, в которых страшно горели желтые, дикие, затравленные глаза.

— Жора,— повторил я.

Тот немного постоял, поглаживая кору березы, белую кожу дерева с черными крапинками; потом легонько оттолкнулся от ствола пальцами и вернулся к костру.

...Маркел допил чай и встал. Острые зубья далеких камчатских гор царапали большой и все еще яркий шар солнца.

— Оставайся у меня, Маркел,— сказал я,— в палатке хватит места для двоих.

Маркел отрицательно покачал головой. Он уже был вполне в себе, и хмель у него окончательно выветрился, только мелко-мелко тряслись пальцы. Он сидел у костра, сгорбившийся, усталый, пил крепкий чай и непрерывно курил, даже не вставляя сигарету в свой деревянный мундштук, а когда окурочек уже жег пальцы, он этого, наверное, не чувствовал.

Жора спал с другой стороны костра. А может, просто лежал с закрытыми глазами. И ни разу не закурил.

Маркел поднял рюкзак и натянул лямки. Я хотел помочь, но Маркел снова покачал головой. Потом подпоясался узким сыромятным ремешком из сивучиной шкуры и взял свою винтовку.

Маркел поднял ее к лицу, провел ладонью по изъеденному временем стволу, пощелкал по ложу ногтем. Несколько раз передвинул взад-вперед бегунок прицельной планки. Мушка была сбита давно, и на ее место Маркел ввернул обточенный и отшлифованный медный винтик. Винтик блестел на солнце, и Маркел замазывал его черной краской и подкапчивал на пламени свечи. Но со временем мушка облезала, обтиралась и опять начинала блестеть медью.

Маркел открыл и вынул затвор, посмотрел нарезку ствола на свет. От нарезки еще кое-что оставалось, и хозяин особенно тщательно следил именно за этой частью оружия. Было удивительно, что он еще попадал из этой винтовки туда, куда целил.

Маркел вдвинул и закрыл затвор. Потом осторожно спустил взвод и поставил затвор на предохранитель.

— Пойдем, однако, назад, Жора,— сказал он, не поворачиваясь.

Жора открыл глаза и потянулся.

— Ага. Надо идти и отбрехаться: пробы мы так и не сготовили.

Он рывком встал, нагнулся за штормовкой и увидел бутылку из-под спирта. Жора взял ее, поболтал, будто там еще что-то оставалось, и, сильно развернувшись, бросил через березняк в сторону речки. Бутылка упала под кустом на той стороне и со звоном рассыпалась.

— Не жалко, что я пришел к тебе в гости, Валя,— сказал он.— Было весело. Извини, что не так. А пока бывай здоров.

— Угу,— ответил я.

Я подумал о том, что Жора захочет попрощаться со мной за руку, и не хотел этого.

— Валяйте,— помахал я,— да не заблудитесь. А я буду спать.

— Уже уходим,— сказал Жора,— спи спокойно, дорогой друг.

И они ушли, сначала Жора, а немного погодя и Маркел. Несколько минут слышалось похрустывание на склоне, чавканье сапог на колее; звуки удалялись, затихали, потом исчезли, и остался только шум Березовой, шум Лимимте-ваям.

И было бы совсем тихо, если бы не ее неумолчный шепот, который мешал и тревожил.

Она-то шумит тут не первую тысячу лет, подумал я, и тут нового ничего нет. Как и всякая текущая вода, она движется под горку и журчит при этом, разумеется. Отчего бы ей не журчать?

Вот я лежу себе, и покуриваю, и думаю, что мне мешает этот шум.

Тебе просто больно думать о синеглазой женщине и рыжем Жоре, Фалеев. Ишь ты, как тебя знобит временами!

Ну, и не думай на здоровье. Они сами выбрали свои дороги.

А ты?

Я тоже сам. Никто на меня не влиял. Я сам себя запихнул на этот остров, хотя у меня и был выбор.

Врешь сам себе тоже, подумал я. И на этот твой выбор кое-что повлияло. Обстоятельства? Да. Но ведь и люди тоже. И ты на чьи-то выборы влияешь.

Почему это она опять полетела с Кариной сюда, куда ей тяжело возвращаться, наверное?

Со стороны хребта на поляну вышел Маркел-пес. Он двинулся через всю поляну к тому месту, где обычно лежал, слушая музыку или размышляя о великой сермяжной правде. Он неторопливо лег и положил тяжелую голову на лапы.

— Все правильно, — сказал я, — на кой ляд тебе все эти беспокойства на склоне лет? А может быть, ты где-то чуешь волка, Маркел? Да не хочешь связываться?

Конечно, все это мало его касается, нечего ему ввязываться. Он не сопливый, задиристый щенок, к чему такие эксцессы в его-то года?

Надо ему пересидеть где-нибудь на бережку под кустиком или в овражке. Да поспать, если сумеет. Вот он и пересживает.

Но не сойти мне с этого места, что-то я напутал. Или в собаке напутал, или в своих мыслях. Все-таки почему это он опять вернулся?

Наверное, в вас есть что-то общее. Родственное. Маркел, правда, может быть, и не умеет глубокомысленно рассуждать да прикидывать, что на что влияет. Но ему тоже мешает шум текущей воды. И между вами есть солидная разница, вот тут-то и вся загвоздка.

7

Распадок лежал километрах в десяти к югу, почти на половине пути между Березовой и речкой Унъюнаям.

Я осторожно опустился на валун. Мне еще показалось, что он чуть шевельнулся. Но это не страшно, подумал я. Всегда можно успеть отпрыгнуть в сторону. Правда, склон оврага крут и обрывист и удержаться на нем стоя или даже сидя было бы невозможно.

Вулканическая бомба была почти правильной круглой формы, примерно с метр в диаметре, а ее поверхность во многих местах сколота и выщерблена. В сколе видны слои, будто бомбу скатали из разных по цвету лоскутов сырого теста. Кромки сломов осыпались под рукой. Очень старая бомба, сколько-то там тысяч лет.

Я сел на нагретую поверхность и свесил ноги. Внизу, в разрывах зеленой крыши, поблескивал ручей и слышался слабый звон воды. Я подготовил альбом и начал делать наброски ручья, который уходил из-под крыши в расщелину, а потом закатывался в отлив. Из сумрака распадка был виден кусочек пляжа с двумя валунами, море и небо. Все это было залито ярким полуденным солнцем. Если смотреть из расщелины — снизу на выход, то это будет напоминать вид из железнодорожного тоннеля.

Что-то у меня сегодня ничего не получается. Уже испорчены три наброска.

Надо посидеть, покурить, отвлечься и о чем-нибудь подумать. Все правильно, вот кассета с цветной ОРВОВской пленкой, я не забыл ее зарядить. К этой пленке я был склонен всегда, потому что именно на ней у меня получались лучшие цветные негативы. Пленку мне высылали с материка, и некоторый запас с собой всегда имелся. Один только вид упаковки вызывал желание искать кадр и фотографировать. Я вспомнил те негативы, на которых был снят Великий Точило.

Я шел тогда по весеннему праздничному Петропавловску и недалеко от ГУМа встретил Точилу в окружении веселой толпы моряков, которые, разумеется, слушали байки и анекдоты Великого с неизменной благодарностью. Я снял его сначала в сопровождении свиты, потом одного на фоне цветного мозаичного каскада, который недавно появился в скверике на склоне.

Точилу было не узнать. Он с достоинством щеголял в «новом, только что построенном парадно-выгребном лапсердачке», правда, без петелечек. Еще он носил белую нейлоновую рубашку, галстук и остроносые лакированные ботинки на высоком каблуке.

Оставалось только ломать голову, у кого все это он вылянчил, выпросил, уговорил потаскать под честное слово. За галстук еще можно было ручаться — галстук у него был, это я помню точно; вот этот самый, темно-синий с серебряными блестками. Немыслимо, если бы Великий отхватил такой гардеробчик за свои кровные. Тем более что он уже вторую неделю сидел «на биче».

Великий Точило женился и просил у всех три рубля на свадьбу. По моим скромным подсчетам, он женился уже в шестой раз. В трех случаях он опаздывал на свадьбу. Просто складывались такие вот невезучие обстоятельства, когда Точило приходил в порт, где должна была состояться свадь-

ба, а невеста в это время брала билет на самолет и улетала искать Точилу в тот порт, откуда его величество недавно изволили отбыть. «Опять промахнулся», — говорил тогда Точило.

— Ты на ком сегодня женишься, Великий? — спросил я.

— На Ниночке.

— Почему же на Ниночке? Ты, помнится, хотел на Надюше.

Точило скорбно промолчал.

— Она полюбила другого.

— Опять ты промахнулся, Точило. Ты непутевый, поэтому тебя никогда не выпустят в загранку и ты не увидишь знойного Гонконга и не сорвешь настоящего банана с настоящего бананового дерева.

— Не нужно мне никаких Гонконгов и бананов с настоящего бананового дерева. Три рубля — вот мое счастье.

— Ты их пропьешь сегодня же, и брачные узы не свяжут тебя и Надюшу... то бишь Ниночку.

— Три рубля...

— Лучше разведись сразу, ибо нет на свете женщины, которая смогла бы жить с тобой больше недели.

— Я талантлив, Валя. Ты, конечно, знаешь, почему меня называли Великим Точилой? Я смог в море выточить такую гайку, что она рассыпалась при первом же прикосновении ровно на шесть кусков...

— Эта история стала легендой.

— ...Поэтому я постараюсь, чтобы Ниночка осталась со мной навсегда.

— Не ври, Великий. Одними гайками ты женщину не удержишь. Тем более такими, которые рассыпаются на шесть кусков.

— Я говорю о том, что талантлив, Валя. А таланты бывают универсальными.

— Универсальное ваше величество, ты и сам знаешь, что все это липа. Поэтому не тщиься понапрасну, а пошли герольда объявлять о разводе.

— Три рубля...

— У меня только мелочь на автобус, Точило. У меня нет денег, и я сейчас хуже, чем «на биче»: я отлучен от моря...

...Когда «Хатангалес» ушел в Японию, меня списали на берег, потому что у меня не было визы. Я начал проходить медкомиссию, и врачи меня «зарезали». У меня что-то неладное с головой: последствия сотрясения мозга. Черт меня дернул пожаловаться; хотя голова временами и болела, с нею

еще можно было работать на корабле. А врачи меня «зарезали», и теперь мне нет пути в море.

— Ну, конечно,— сказал Точило,— ты же уходишь на маяки.

— Да, через несколько дней. Я уже прошел стажировку на Переднем Авачинском маяке и сдал все необходимые зачеты. Через неделю на восточное побережье уйдет судно гидрографии и отвезет меня на маяк острова Карагинского.

— Мы можем достать три рубля на «Олюторке». Нужно только сходить на «Олюторку», и у нас будут три рубля.

— Пойдем на «Олюторку», Великий, и вытрусим из этих жмотов наши три рубля. Ты знаешь много свежих анекдотов и сказочек. Не забудь рассказать о том, как ты кричал в магаданском вытрезвителе: «Моряк не пьяница, он просто догоняет береговых!»

— Еще я напому о том, как покойная «Башкирнефть» входила задним ходом в Авачинскую губу, а пограницы с берега требовали объяснить наши действия. Потом расскажу, какую драку я видел во владивостокском «Золотом Роге».

— И как ваша дневальная стояла на руле, когда в десятибалльный шторм все, вплоть до капитана, укачались вусмерть.

— А под конец я добыю их бухтой Провидения, где меня раздели до трусов и я ночью по закоулкам пробирался на судно. Меня тогда заметила портовая охрана и стреляла в воздух.

— Еще полгода назад никакой стрельбы в бухте Провидения не было, Точило? Полгода спустя ты начнешь рассказывать, что тебя обстреливали из минометов и глушили глубинными бомбами, когда ты плыл стилем «кроль» к родному трапу. Про стрельбу лучше не надо.

— Тогда не надо. А может, и стреляли, но не в меня, и не в бухте Провидения. Я уже и забыл, с кем и где это было.

— Великий,— говорил я,— я люблю тебя, потому что ты бесребреник, пьяница, вун и добрая душа. Скоро меня тут не станет. Камчатские бородатые боги отвернулись от меня, и я прощаюсь с гордыми кораблями, прощаюсь с морем моряков и прощаюсь с тобой, мой драгоценный Точило. Ты останешься, и скоро тебе дадут какую-нибудь старую коробку с паровым двигателем и изношенными бортами, и ты будешь точить на ней нормальные болты и гайки; будешь шататься вместе с ней по «голубым линиям» и по камчатскому побережью, потому что дальше тебя и не пустят. Ты будешь жениться в каждом порту, и от тебя будут уходить женщины.

Ты будешь драться один против толпы за какую-нибудь незнакомую девчонку, драться просто так, как в «Золотом Роге». Тебе будут доставаться синяки, будут лепить выговоры, будут смеяться над тобой моряки и ходить о тебе легенды. А ты... ты будешь оставаться постоянным в своей глупой доброте и нелепой доверчивости. Ты остаешься, я уйду и — о, как я тебе завидую!

Мы сидели на лавочке у «Бич Холла», в котором жили когда-нибудь все камчатские моряки торгового флота, а перед нами расстился дымный пейзаж Авачинского залива. Точило угощал меня водкой, купленной в счет будущей свадьбы, — в дружбе он тоже был постоянен.

Великий молча плакал скупыми мужскими слезами. Он тихо сидел, подперев подбородок ладонью, слушал меня и плакал.

Я смотрел сверху на нагромождение гор, вулканов, домов, матч и порталных кранов и думал, что из всех городов, в которых я бывал, когда после армии отправился бродить по белу свету, меня приняла только вольная, ласковая Находка. Но и там я не удержался, и меня опять сорвало и потащило дальше.

Теперь попытаюсь осесть на Камчатке, и вот уйду в Управление гидрографии работать на маяке Карагинском.

— О чем ты плачешь, мой драгоценный Великий Точило?

— Птичку жалко, — сказал Точило и не мог ответить иначе, потому что учился мужественно скрывать свои слабости. Он все понимал, всех жалел и никому не мог помочь, потому что все портила его несусветная нелепая доброта.

Я клялся ему тогда страшной своей клятвой, клялся паровой трубой, что пройдет время, я сумею пройти медкомиссию, вернусь в море и буду ходить по нему на больших белых кораблях. Точило сидел, подперев подбородок ладонью, слушал меня, верил мне и плакал скупыми мужскими слезами.

...Вот тут удачная точка съемки: будет видно и ручей, и щель выхода, и солнечный кусочек с пляжем и морем. Аппарат нужно настроить дважды на этот солнечный кусочек, а потом на затемненный овраг с ручьем и зеленой крышей над ними и продублировать снимки. Нужно будет потом спуститься вниз и снять оттуда.

Я встал, и тут бомба качнулась. Я не успел ничего подумать, просто куда-то упал и покатился, но застрял в извивающихся по склону корнях. Сильно заболела ступня.

Вулканическое яйцо, вывалившись из своего насиженного гнезда, прокатилось в метре от меня. Оно набрало скорость и с гулким шумом ухнуло в ручей. По склону медленно сыпалась мелкая галька и глина.

Я висел на корешках и думал про свои падения. И все на бережках да на склонах. Как это говорил Козьма Прутков: «Не ходи по косягору, сапоги стопчешь»?

Теперь придется осторожно сползти вниз, не наступая на больную ногу, вырезать крепкую палку и тащиться до Березовой на трех. Нужно отыскать альбом — хорошо, если он не попал в воду. Еще повезло, что цел аппарат. А растяжение я заработал недурное. По-мелочному подгадили камчатские бородатые боги.

Альбом не намок, зацепился за ветки, только выпали два рисунка. Палка выдержит. Вот теперь тихонько выползем на отлив, перекурим да и ринемся домой.

...Я клятвопреступник. Я могу вернуться в море на белые корабли, но уже не хочу этого, потому что изменился. И напрасно станет ждать меня Великий Точило. А может, он и не ждет уже, ведь он наверняка изменился тоже, и это будет самое печальное во всей этой истории...

Был сильный отлив, поэтому я перешел устье Березовой без особых мучений. И только когда я уже брел по колею, заметил над березняком дым костра. За березняком, в той стороне, где кочкарник, бродили две оседланные лошади.

Только конницы тебе и не хватало. А ты ковылял, как хромым кузнечик, целых десять километров, когда вот стоят две лошади, да еще и под седлами. Не могли они прийти погостить туда, в распадок? Заблудились бы и пришли, черт бы их побрал!

А где же всадники?

8

— Здравствуйте,— сказал я.— С приездом тебя, Карина.

— Спасибо,— сказала Карина и встала с бревна.

Зоя только глазами повела в мою сторону.

— Добрый вечер, Валентин. А я все ломала голову, тот ли Валентин или не тот.

— Тот самый, с градусником,— сказал я.— Давно вы тут сидите?

— Мы приехали с час назад. Тебя не было, но вещи все оставались в твоей палатке, вот мы и подумали, что ты отлу-

чился ненадолго. На всякий случай покричали, походили поблизости, а потом сели пить чай. Ты не в обиде?

— Ну что ты, Карина.

— А ты хромаешь, Валя?

— Ходил по кособоку, стоптал сапожок,— сказал я.

— Все б тебе смеяться. А серьезно?

— Упал, свалился, загрохотал, сшибся, сверзился...

— И где тебя черти носят! Снимай обувь, я посмотрю: может, что-нибудь опасное.

— Пустяки, всего только растяжение.

Карина ощупала мою ступню. Прикосновение ее пальцев было грубовато, но безболезненно. Пожалуй, даже бережно. Во всяком случае, боли не было. Она умеет это делать; наверное, не раз приходилось в поле лечить своих рабочих.

Она не похорошела. Все так же некрасива, подумал я. Пряди прямых, бесцветных волос выбивались из-под цветастого платочка на лоб. Увядшая кожа с морщинками у глаз и на шее, но все такая же загорелая. Прямые губы со складками у краев рта. И такая же решительность и уверенность в движениях. Где же ты была тогда, Карина?

— И сильное растяжение,— сказала она.— Я сварганю тебе холодный компресс, перетяну ногу. Как раз у меня найдется хороший широкий бинт. Зоенька, сходи-ка, милая, на-бери в чайник холодной воды... До свадьбы все заживет.

Зоя встала, взяла чайник, взглянула на меня мимолетным, скольльзящим взглядом. Она прошла, не поднимая головы, к бровке и начала спускаться.

— Ты нашла свои золото и ртуть, Карина?

— Как тебе сказать...

— Маркел говорил мне, что начальником партии, той, что недалеко от Ягодного, какая-то красивая, только не очень молодая женщина.

— Ох, уж этот Маркел,— сказала Карина и улыбнулась.— Но мы еще поговорим о нем...

— А что такое?

— Дело серьезное, Валя.

— Все ясно,— сказал я.

— Ничего не ясно. Наоборот,— голубенькая муть, Валя.

— Ну...

— Я не могу допустить, чтобы в партии произошло что-нибудь нехорошее. Кое-что уже произошло, а может случиться еще хуже.

— Ты не была бы Кариной, если бы у тебя что-нибудь...

— Ой, Валя, перестань! Я только женщина, и придется мне это еще раз хорошо прочувствовать. Уверена.

Карина встала с бревна, прошла до «нутра» и обратно. Опять села.

— Зоя сейчас вернется, а ты посмотри на нее внимательно. Не глазами, а просто обрати внимание. На что она стала похожа...

— Я уже заметил, Карина.

— Ну и что?

— С нею не совсем ладно.

— Хуже. Я боюсь за нее, поэтому и привезла ее сюда, к тебе.

Я молчал. Карина встала. Зеленая новая штормовка топорщилась на ее большой низкой груди. На боку висел планшет. По-моему, это тот же планшет, что был у нее и в прошлом году.

Привезла ко мне... Наверное, и вправду что-то серьезное. И знает обо мне чуть больше того, что я живу на маяке, что я взял отпуск за год, а в данный момент отдыхаю на берегу речки Березовой.

— Он избил ее...

— Жора? — быстро спросил я.

— Да. И ушел куда-то. Может, он в Ягодном, а может, в Островном. Я подозревала, что он мог прийти и сюда. Пытаюсь сама разобраться во всем этом. Я уже могла бы вызвать вертолет или катер с милицией и устроить ему «веселую» жизнь. Только повод может показаться не очень серьезным. А ждать, пока он еще что-нибудь натворит, — нельзя. Тогда окажется поздно. Зою спрячу у тебя, Валя. Но я привезла ее сюда не только потому... — Карина опять села. — Она мне ничего не рассказывала до вчерашнего дня. Надо же... Работали рядом, ели из одного горшка, а она все молчком-молчком. Я-то, старая дура, думала, что у нее с Жорой что-то есть... Да не хочу осуждать чей-либо выбор или содействовать... Наверное, у них так получилось, думала я. Сомневалась еще по прошлому году, присматривалась — что-то не такая моя Зоенька. Молчит... Жора даже говорить громко с нею не смел, не то что ругаться или что там... А тут вдруг избил ее... У нее на плечах сплошные синяки! Меня рядом не было, а те, кто видел, побоялись. Его все боятся... черт-те что. Мужики, называется! Я бы его с голыми руками не побоялась, посмел бы только тронуть!

Она встала и опять начала ходить.

— Отпоила ее. Ничего у нее не сломано, не разбито, слава

богу. Отлежалась. Но застыла, сгорбилась и молчит. Насилушку разговорила ее. Привезла сюда. Нужно что-то делать.

Как же это было? Карина не могла ни о чем догадаться или не решалась ничего сделать? Может быть, ей казалось, что деликатнее будет не вмешиваться? Но Зоя... Мучилась и скрывала. Зачем? Скрывала и в прошлом году, и в этом. Почему, зачем?

Послышался хруст веточек на склоне.

Зоя поставила чайник у моей ноги, отошла в сторону и прислонилась к березе.

Карина смочила бинт водой из чайника, туго перебинтовала ступню и опять полила повязку.

— Не беспокой ее теперь, Валя. Завтра станет легче, только не беспокой.

— Спасибо, док. Буду послушным и не стану беспокоить ногу.

— Ишь ты — за «спасибо»! Давай угощай нас, чем можешь. И чаю мы не откажемся повторить. Зря мы распинались тут ради тебя, что ли? Только ты не вставай — я сама все найду.

— В палатке что-то есть, — сказал я. — Помню, у меня была еще банка сыра и растворимого кофе на доньшке.

— ...Ничего себе, — ответила Карина уже из «нутра», — растворимый кофе и в городе редко встретишь, а у него — пожалте.

Она хозяйничала бесцеремонно, как у себя дома.

— Только тушенки не хватало, — слышался ее голос, — с глаз долой.

— Не бей посуду, Карина, — сказал я.

— Какая у тебя посуда, нищета, — отозвалась Карина, — банка, что ли? Нищета, однако. Только что растворимый кофе, а так с голоду опухнуть можно на твоих харчах.

Она выкарабкалась из палатки и начала хлопотать у костра.

— Ты сиди, сиди, — сказала она, — не вставай, мешаться будешь тут...

Зоя стояла у березы.

Я видел опущенную голову, волосы падали на лицо, она их не отводила. Из-за волос не было видно того местечка под подбородком, куда я чаще всего целовал ее. И не было видно маленькой родинки на этом месте.

Она отвела лицо в сторону, когда я посмотрел на нее, потом просто прикрылась ладонью.

Наверное, и так она чувствовала мой взгляд, поэтому по-

вернулась ко мне спиной и обняла березку левой рукою.

Карина уже успела открыть сыр, рассыпала в кружки кофе, разложила галеты. Чайник пофыркивал на веселом огне.

— Вот и все,— сказала она.— Приобщимся к нищете. Зоенька, иди, садись.

Зоя молча покачала головой.

— Не капризничай, девка,— мягко уронила Карина.— Ты же сегодня так ничего и не поела.

Зоя опять покачала опущенной головой. Она стояла, потом сползла по стволу вниз и села на корневище. От костра были видны только ее плечо и голова.

Карина быстро подошла и склонилась над ней. Она что-то говорила Зое, но та молчала и изредка качала головой.

Карина вернулась к костру, села на бревно и подперла кулаком подбородок.

— Ох, бедная, бедная,— произнесла она тихо.

...Мы пили кофе, а Карина то и дело посматривала за палатку, где за скосом туго натянутого брезента, виднелась Зоина опущенная голова.

— Вчера она рассказала о себе, тебе и Жоре. Многого она не рассказала, но судить можно.

Кофе дымился в ее кружке, остывал, она забывала отпивать его, терла ладонью загорелый лоб.

— Гадкая история, Валя. Я почему-то думаю, что ты знаешь, как все это называется. Или нет?

Что ей скажешь?

Конечно, знаю. Собственные терзания ни при чем. Можно многое объяснить, но нельзя ничего оправдать.

— Нельзя,— сказала Карина.— Ты же мужчина, и нельзя ничего оправдывать. Слушай-ка дальше.

Она посмотрела за палатку.

— Этой весной она опять попросилась ко мне... Если бы она хоть что-нибудь рассказала!.. Опять увязался Жора. Я к нему претензий не имела, он хорошо работал. Но просто опасалась я его. Мало ли к нам в партии прибивается — и бичи хронические, и юнцы, и уголовники. У Жоры две судимости — в общей сложности семь лет исправительно-трудовых колоний. В партиях бывало и похлестче. Но вот чувствовала я в Жоре что-то такое... Настораживало в нем... злая тайная страстность, что ли... Думаю, не ошибаюсь... Он жестокий... Теперь выходит, опасалась я его не напрасно.

Карина замолчала и пригорюнилась. Я курил, смотрел в огонь и думал, думал, думал.

— Я не спрашиваю тебя, Валя, почему ты живешь на острове, молодой парень, один, без семьи... Может быть, ты чего-нибудь боишься, или болен, или ошибся, прости меня, старую... Но через Зою и по ее рассказу я тебя немного узнала и понимаю тебя. И не согласна... Не то, Валя. Нет, не то у тебя.

Она сняла через голову ремешок планшета, положила планшет рядом на бревно. Отпила глоток остывшего кофе.

— Дай мне закурить, пожалуйста.

— Ты же не курила, Карина.

— Я и не курю.

Карина закурила и сильно затянулась. Опыт у нее есть, хотя она и говорит, что не курит. И навык есть и опыт.

— Я уже третий год летаю в поле сюда, на остров. Все ищу свои ртуть да золото. Не стану рассказывать, как было трудно организовать сюда первую экспедицию, еще труднее — вторую и вот эту, последнюю. Само по себе женщине это все трудно. Нужно усилие, а усилию всегда что-то противостоит, даже неразумная услужливость. Были упреки... недоброжелательство даже... И приходилось кому-то доказывать целесообразность экспедиций, особенно этой... По пять месяцев оторвана от семьи, уюта. Но я живу вот этим, настоящим... Без этого от меня не осталось бы ничего, кроме просто бабы с мужем, семьей и работой в институте. Не думай, что я пробивная, жесткая или что ты там обо мне думаешь. Мне бывает иногда так трудно... Изыскания заходили в тупик, не подтверждались расчеты, предположения — я плакала втихомолку. Хотелось куда-нибудь приткнуться, где потеплей, поспокойней — я уже имею на это право. Но нельзя мне, не могу, Валя. Доведу все до конца, хотя уже ясно, что результаты не обнадеживают. У меня сейчас такое ощущение, что впереди маячит эта самая баба с мужем и институтом... кажется, что уже ничего я не смогу, когда кончится нынешнее лето. Но это я так... между прочим. Я легко не поддамся. — Она выпила остаток кофе и снова жадно затянулась сигаретой. — И вот я скажу тебе сейчас важное, Валентин. Мне доставалось крепко с самого начала. С корнями нужно было выдирать из себя то, что мешало, что не нравилось самой. Но дело в том, что я всегда была на людях, отвечала и за них и перед ними. И легче было и намного труднее, Валя. Потому что люди в тебе, в твоей памяти и люди вокруг тебя — это мерка твоя, Валя...

Что-то тут есть, Фалеев.

Люди... С собакой хорошо жить, она, может быть, и мыслит, но она безответная. С нею легче... А с людьми...

— Если ты один,— сказала Карина,— то это ничто. Сколько раз я ошибалась в людях, было скверно, стыдно... Но вот теперь знаю, что без ошибок этих, разочарований и обид не выросло бы у меня к людям уважение. Что, парадоксально звучит? Ничего... Ошибки и обиды лечат, не всякого, конечно. Я усвоила крепко: не нужно бояться ошибиться; тогда можно стать такой, в ком не обманутся другие. Это личный опыт, Валя, я его не афиширую и не ищу сторонников. Легко, наверное, любить и уважать сильных, красивых людей, а вот так называемый «серый пиджачок» со слабостями, дурными склонностями, бестолковой жизнью, кажется, заслуживает мало внимания. Я не морализаторша, Валя, нет... Это интересные и значительные люди, «серые пиджачки»-то. Опять парадокс? Нет. Они интересны и значительны возможностями роста, развития. И интересно жить среди них и видеть, как они меняются в тех обстоятельствах, в которые их ставит случай или судьба. Это увлекает, Валя, и свои ошибки, разочарования не кажутся серьезными... Вот есть у меня дело, которое я делаю для людей — и для сильных и красивых, а больше для «серых пиджачков» — и за которое я не жду сиюминутных признаний и благодарности. И все это нетрудно, когда ты среди людей. Не хочется размениваться на неприязни, мелочные распри. Не хочу розового счастья. Успокоенности... Мне тогда и крышка...

Великомудрая Карина, думал я. Нужна такая вот великомудрая Карина, чтобы пришла и потыкала мордой оземь. Здорово помогает. Во всяком случае, лучше, чем препирательства со старым псом.

— Мне обидно за таких молодых, как ты, Валя. Всего-то вы боитесь. Любви безответной боитесь, разочарований боитесь, зла боитесь, добра тоже. А главное, боитесь в дурачках остаться... Вот отчего все это! Любите свои терзания, свою страдальческую значимость. И приходите к пустым, величественным формулам. Да добро бы только к формулам, а то ведь поступаете по этим формулам, и выходит у вас... Вон там за палаткой Зоя сидит... Время идет, Валя. Жить надо, к людям бежать... терять, находить. А у вас неразвитость какая-то, прости господи...

Крепко она тебя, Фалеев! Кажется и макушка покраснела... Ох и крепко.

Только и остается, что выплюнуть сигарету и спрятать лицо в ладони.

По-моему, до меня начинает доходить, отчего плакал Великий Точило. Он-то не боялся оставаться в «дурачках», а оставался и оставался. И не боялся. Он, конечно, не дорос до этой самой мудрости, о которой говорила Карина, может быть, только чувствовал ее краешек. И, наверное, думал, что доброта его бесталанна, что это не та доброта, не по той мерке. Он думал, что доброта его пройдет, как прилипчивая болезнь. Жалел себя и лил горючие слезы. Вот что самое грустное во всей этой истории с Великим драгоценным Точилой.

Карина встала, смяла окурки и бросила его в огонь. Отвернулась, сложив руки под большой грудью, потом начала ходить взад-вперед у костра.

Мы долго молчали каждый о своем.

Сумерки сгущались и ясно выделяли тишину. Хрупали изредка лошади позади березняка, шумела приглушенно вода в реке, едва шевелилась листва.

— Валя,— сказала Карина.— Ты не серчай: я ж дело говорила.

— Конечно. Я и не думаю обижаться.

— Ты давно знаешь Маркела?

— Третий год.

— Что ты о нем знаешь?

— Больше всего он бывает один.

— Ты не пробовал с ним говорить?

— О чем?

— Говорить о нем и Жоре?

— Зачем?

— Вот еще одна напасть, Валя! Ведь они были у тебя, и ты ничего не заметил?

— Были. И кое-что я заметил.

— Что ты можешь сказать?

— Мне кажется, их объединяет взаимная ненависть.

— Кажется?.. А это точно. Я тебе уже рассказала о Жоре. Зачем ему Маркел?

Карина попросила еще одну сигарету.

Она сидела и курила, и взгляд темно-карих глаз потерялся в лепестках пляшущего огня. Она опять посмотрела за палатку, потом встала и направилась к Зое. Но с полпути вернулась, бросила недокуренную сигарету в костер.

— Посиди пока один, Валя.

Карина села рядом с Зоей, положила руку ей на плечо.

Она что-то говорила ей, гладила по волосам, но Зоя не отзывалась, была безучастна, равнодушна, неподвижна.

Светилось старое брезентовое полотнище. Шуршали кони, шумела вода...

Ты был просто туг на ухо, Фалеев. Там, в реке,— не законы физики.

Речка Березовая чиста и холодна, в ней есть что-то, есть истина, которую ты не мог и не хотел понять.

Все, к чему свелись твои эмоции,— это боязнь мешающего тебе шума.

Когда-то у меня был друг, подумал я. Зимнее, штормовое море играло с судном, которое уходило все дальше и дальше в океан от огней большого портового города. И друг крепко брал тебя под локоть и вел по проваливающейся палубе. Он оберегал тебя, хмельного, от лееров, кнехтов и мог бережно, незаметно заслонить эти огни, гаснущие за кормой, на которые ты оглядывался и к которым тянулся...

Карина склонилась к Зоинной голове и что-то очень тихо говорила. Потом Зоя обняла ее и прижалась к ней, и они обе сидели вот так, обнявшись, и текло время, и дымился костер. Наверное, они плакали...

Карина встала, оправила штормовку, высморкалась в платочек. Она постояла над Зоей, поглаживая ее голову, потом ушла за березняк, привела обеих лошадей.

Одну лошадь привязала к березе, у второй поправила и подтянула сбрую. Сходила еще раз, принесла охапку травы и бросила ее под ноги привязанной лошади.

У костра подобрала планшет и повесила его на плечо.

— Валя, я должна поторопиться. Нужно собрать партию, провести инструктаж... Не помешает быть готовым ко всяким неожиданностям. Маркела, кстати, со вчерашнего дня тоже никто не видел, а он постоянно был на виду. Прими к сведению... Если что увидишь или узнаешь, дай знать... хоть на одной ноге. А вообще не скачи и не прыгай тут. Спасибо за гостеприимство...

Она долго смотрела мне в лицо. Потом подошла вплотную.

— Не обижай ее, Валя. Я разрешила ей вернуться после обеда завтра. За это время что-нибудь успеем сделать, там... Не обижай ее. Ей очень плохо, Валя.

Я молчал.

Все возвращается на круги своя. Вот и твой срок плакать.

— Ничего не случится, Карина,— успокоил ее я.— Я не испорчу...

— Я верю тебе. Ты все-таки нравишься мне, Валя.

Она чуть толкнула меня кончиками пальцев в плечо и слабо улынулась.

— Спасибо,— сказал я.

— Не за что...

Карина подошла к лошади с той стороны, откуда не было видно, как она карабкается в седло. Но в седле держалась уверенно и выглядела надежно и увесисто.

— До свидания, Валя,— сказала она и подобрала поводья.

— Карина...

Она остановила лошадь и обернулась.

— Спасибо тебе, Карина...

Она долго смотрела на меня, шевельнулась в седле и вздохнула.

— Все зависит от тебя самого... Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю...

Карина тронула каблуками лошадь.

Она уехала в сторону, противоположную реке. Наверное, она знала дорогу до лагеря по сопкам. Долго еще слышался стук копыт, потом издалека заржала лошадь, и в ответ ей коротко всхрапнула привязанная в березняке.

Все стихло. Только шум реки.

Я с трудом встал. Нога успокоилась, но, когда я ступил на нее, опять заныла.

Зоя сидела в той же позе. Волосы затеняли опущенное лицо, оно казалось спящим. Я подошел и опустил перед ней на колени. Даже дыхания ее не было слышно. Она как тень, подумал я. Тень каких-то там таитянских языческих духов. Смуглая бесплотность...

Я медленно отвел со лба прядку волос.

Зоя чуть приметно дрогнула и затаилась. Под закрытыми веками, под опущенными ресницами ходила темень.

Я убрал волосы с ее губ и поцеловал. Она не шелохнулась. Я водил кончиками пальцев по подбородку, по закрытым векам. Волосы лились на плечи, на грудь, опутывали руки.

Бог ты мой! — оказывается, как хорошо я тебя помню, женщина!

Я поцеловал ее в губы, потом то место на горле, под подбородком, где маленькая родинка.

— Я так хотела увидеть тебя... Фалеев. Целый год ждала...

Нет, ты не тень.

—...Целый год ждала, чтобы увидеть тебя и задавить то,

что мучило меня. До последней недели я ничего о тебе не знала... я боялась и хотела... хотела узнать, что ненавижу тебя... презираю.

Она порывисто подняла голову, открыла глаза... На ресницах мерцала влага, она дышала с трудом. Она смотрела на меня, по ее лицу катились слезы... Было нестерпимо выдерживать взгляд этих остановившихся зрачков.

— Что ты сделал со мной, милый! — сказала она тоскливо.

Мы стояли на коленях и смотрели друг на друга. Она придвинулась ко мне, подняла ладонь, и ее прохладные пальцы плели что-то невыразимое на моем лице.

Хрупкие дрожащие пальцы на моих губах, глазах...

— Неужели это ты?

— Зоенька...

— Скажи, что я глупышка и что это не ты... И что так не бывает...

— Глупышка, конечно, это я.

— И я могу тебя поцеловать?... Провести ладонью по бороде, по бровям? Я могу обнять тебя и целовать... сколько захочу?..

— Обними... и целуй, пожалуйста.

— И ты не прогонишь меня, милый? — спросила она и робко улыбнулась.

Ты получаешь свое, Фалеев... Ну и получай. Тебя рвут ее слова и эта улыбка... Тебе больно за свою подлость. Ты получаешь свое. Ну, и получай! Смейся надо мной, речка Березовая, смейтесь, далекие синие горы...

— Поцелуй теперь ты меня, Фалеев... Как ты изменился! Я немного боюсь тебя даже... Что было с тобой... милый?

— Не спрашивай.

Она отстранилась, внимательно посмотрела влажными, блестящими в сумраке глазами.

— Тебе было плохо, да?..

— Зимой там очень холодный ветер, Заинька...

— Бедный,— сказала она неслышно.— А я хотела ненавидеть... Бедный...

Ей было девятнадцать лет, думал я. И я ни черта не знал о ней. Знал только, что после школы она поступила в геологический институт и вот уже дважды летает в поле, на остров. Знаю, что у нее есть мать где-то в Орше, но нет отца. Она одна росла, без отца — единственная дочка у матери. Мать радовалась, что вот, мол, Зоя поступила, в люди выйдет. А Зоя могла и не выйти в люди после того, что с ней тут сде-

лали. Кто знает, что было бы, не прилети она во второй раз на остров с желанием меня увидеть? Да если бы не Карина?

А теперь она на год старше, и я знаю о ней еще меньше. Но нет, кажется, немного знаю. Знаю, что в этом папирусе. И я буду бережен с ним и буду читать его, все больше между строк.

— ...Расскажи, как ты жил без меня.

Она лежала, прижавшись ко мне, и обнимала своими прохладными руками. В палатке было темно и тихо. Не слышалось ни шума речки, ни хрупанья лошади. Только Зоин голос и ее дыхание.

Оказывается, трудно ответить. Иногда мне казалось, что на белом свете есть только северный ветер — ветер, который выл и грохотал за окном, — и я. Ледяной северный ветер и маленький съезжившийся человечек.

— Противный ветер, — сказала Зоя. — Несчастный человечек.

Я ругался сам с собой и еще с кем-то, кого-то изображал мерзким визгливым голоском. Я пинал стены и пел дикие гортанные песни на мне самому непонятном языке. Бывало, прилетал по санзаданию или же просто случайный вертолет, и тогда можно было получить почту и отправить свои письма.

— Я тоже написала тебе письмо. Длинное-длинное... и сама плакала, когда писала. Потом сожгла...

Летом бывает легче жить. Когда зацветает тундра, светит горячее солнце, а рядом плещется море, то ни о чем скверном не думается. Собаки звякают цепями в овраге.

Кстати, о собаках. В упряжке нашего радиста есть молодой пес. Когда Васильич вешает на шею бинокль и выходит к собакам, чтобы запрячь нарту, этот пес поднимается и начинает скакать на трех лапах, а четвертую прячет. Лапа была у него ранена в капкане еще год назад... Конечно, Васильич оставляет его и уезжает на нарте, а этого пса отпрягает побегать. Едва нарта скрывается за углом, пес отряхивается и неторопливо отправляется погулять на всех четырех, и даже не хромает. Радисту рассказали об этом, и он однажды запряг и его, несмотря на то что пес скулил и волочил четвертую конечность. Это был очень молодой, сметливый и очень ленивый пес. Он бежал на трех лапах, тормозил, нервировал всю упряжку и непрерывно скулил. Васильич плюнул в сердцах и отпряг его. Пес подождал, когда нарта скроется, встряхнулся и спокойно побежал назад на четырех.

— Вот какой у вас пес, — улыбнулась Зоя.

Она дышала мне в щеку, обнимала меня... А пальцы по-

чему-то прохладные... Я чувствовал, как стучало под ладонью ее сердце... Зоино сердце...

— Рассказывай еще, милый.

Когда Женя, Виталькина жена, уехала на материк на операцию, Виталька остался на маяке с двумя детьми. Андрей был дошкольного возраста, а его сестра, которую все звали Лясиком, еще не умела хорошо ходить. Однажды Виталя пришел ко мне, сел, курил и молчал. Он был немного пьян, не очень, но заметно.

— Что там у тебя? — спросил я.

Виталька вздохнул и стряхнул пепел на пол.

— Как жить дальше будем, — сказал он, — с этими Лясиками?

— В чем дело, Виталя?

— Сказал же этому сукиному сыну Андрею, что отойду всего на пару часов, на охоту... и чтоб все было в ажуре...

— И что?

— Возвращаюсь через пару часов, открываю дверь и что я вижу?..

— Что ты видишь?

— Содом и Гоморру. Минут через десять я пришел в себя и сказал: «Андрей! Почему у куклы оторвана голова, а машина лишилась всех четырех колес? Разве не я тебя учил, что игрушки нужно беречь, а после игры складывать в ящик? Ага, это было уличное происшествие. Ладно, прощаю. Почему на кухне по палубе размазано голубичное варенье? Вы пили с Лясиком чай... Ладно, прощаю. А почему завял кактус? Ты полил его из термоса... Ладно, прощаю. Почему бинокль лежит в Ляськином горшке, а патроны валяются под кроватью? Вы играли в охотников... Ладно, прощаю. А дробь почему везде рассыпана? На охоте шел дождик. Отлично понимаю тебя. Ладно. Куда делась иголка из швейной машинки? Ты пришивал Лясику пуговицу. Надеюсь, не к голому телу? Poiщи иголку в кармане и вставь ее на место. Отчего в ванной комнате по колено воды, а сверху плавают Ляськины ползунки? Мыл Лясику руки. Ты заботливый брат, я вижу». Я говорил с ним спокойно, он тоже не нервничал: не кричал и не ругался! Хотя здорово расстроился. Потом я сказал ему, чтобы он брал тряпку и принимался за дело. Через час все должно быть убрано и наведен надлежащий порядок. Потом мы с ним посидим, потолкуем. Он взял, конечно, тряпку и долго наводил подобие порядка. Я достал бутылку рома из посылки, которую Женька прислала неделю назад, и мы с ним посидели и потолковали. Правда, пить

он отказался, а я выпил. Мы с ним долго толковали о том о сем. В конце концов он признал, что так делать нельзя, как он делает, и обещал исправиться.

Зоя смеялась на моем плече. Она засмеялась в первый раз с той минуты, когда я увидел ее на колее вездехода.

Я взял ее лицо в ладони. Казалось, светлые глаза ее сияют во тьме палатки.

— Зоя... Зоенька...

— Что, Фалеев?

— Как славно смеешься... Ты повеселела, Зоенька, и, наверное, стала очень красивой... Жаль, что я не вижу тебя в темноте.

— Конечно, милый... конечно, я похорошела... Как жаль, что ты не видишь меня в темноте...

— Всегда так смейся,— сказал я.— Оставайся вот такой... и чтобы у тебя так же сильно и спокойно стучало сердечко.

— Эх ты...— сказала она чуть слышно и не договорила.

Я поцеловал ее в глаза, в ждущие губы, а она придвинулась еще ближе и что-то жарко шептала и шептала мне в ухо...

...Вот таким же тихим шепотом отвечала вода в Березовой. И никуда ты от этого не денешься.

Обними ее крепко и ничего не выдумывай...

Встало солнце, а Зоя спала. Старое брезентовое полотно, сквозь которое ночью блестела то ли звезда, то ли росинка, теперь светилось матовой бледной зеленью. Я смотрел на спящую, волосы разметались по свернутой телогрейке, которая была нашей подушкой... Кружевная тесемочка девичьей рубашки сползла со смуглого плеча. В палатке было тепло от двух человеческих тел. Ни одного комара... Я всегда хорошо проверял перед сном входную щель и обрызгивал препаратом брезент. Спи спокойно, таитянокское сокровище... И улыбайся во сне, вот так... и пробормочи что-нибудь невнятное... Как ты хороша сейчас! Только вот лиловые пятна на плечах и на шее, которых я не видел в темноте...

После обеда мы ехали вдвоем на одной лошади к лагерю. Я сидел сзади, Зоя прислонилась ко мне и продолжала спать. Даже причмокивала.

— Открой синие очи,— сказал я,— чудо-день какой, а ты спишь...

— Я знаю,— сказала она в рубашку,— просто замечательный день. Слушай, Фалеев, а как же ты назад дойдешь с одной ногой-то?

— Что нога,— сказал я.— Нога, конечно, ничего, раз день такой. Чудо. К тому же я вылечился, ей-богу.

Она засмеялась и погрозила мне пальчиком.

— Относись к своей ноге серьезно. Хочешь, возвращайся на лошади назад? Я скажу Карине Александровне...

— Нельзя. Лошадь-то казенная. К тому же ее кормить нужно, смотреть за ней. А то она возьмет да сбежит куда-нибудь. Ищи-свищи.

Зоя поудобнее улеглась на моем плече и обняла меня.

— Непослушный ты какой. Вот возьму и обижусь на тебя.

— Нельзя. День во какой...

— Ну, я тогда попозже. Выберу, когда дождь пойдет...

Лагерь открылся с сопки сразу. Там дымился костер, стояли аккуратные прямоугольники палаток. Видно даже людей. Я спрыгнул с лошади, шлепнул ее по крупу.

— Зоя, осторожнее там... Не отходи от Карины. Завтра я приду к вам.

Она обернулась ко мне, простоволосая, заспанная. Смотрела, просыпаясь, улыбнулась...

— Езжай...

Зоя отъехала по склону, потом остановилась и опять посмотрела на меня.

— Фалеев,— сказала она и улыбнулась. Она сидела в седле, изогнувшись, приобняла шею лошади.— Я буду ждать.

Я вернулся в березняк и лег спать. Сначала мне мешала нога, во сне ныла и подергивалась, но потом успокоилась. Снилось мне Зоя. И во сне улыбалась тоже.

Проснулся я вечером, лежал, курил. Вспоминал Карину и Зою, какой она была. Я вспоминал ее с того дня, как увидел в этом году, и вспоминал прошлогоднюю Зою. И мне вовсе не было грустно думать о ней и обо всем на свете.

Теперь бы нужно сварить горячего. Я выполз из палатки и выпрямился.

У потухшего костра, прямо на земле, спиной ко мне сидел человек в зеленой штормовке и курил.

— Что тебе нужно? Ведь ты уже все понял.

— Ты сам-то чё знаешь?

— Кое-что и я понял. И ты в этом помог мне, может быть, сам того не желая.

— Чё ты знаешь? — сказал он с горечью. — Ты разве стоял когда-нибудь на самом крайчике и цеплялся за что ни попадетсЯ? А я цеплялся... Я положил бы на эту карту все — она не крапленая... Я умею делать деньги. Я бы делал много денег... Последняя карта...

— Разве я могу тебя понять?

— Я хотел ее убить... но не могу. Я готов был передавить всех мужиков, которые хотели ее... А вышло — есть еще ты. О тебе я знал с прошлого года... догадывался... Вчера мы пили с тобой, а я не знал, что с тобой делать... — Он запрокинул голову. — Из-за нее я мог бы переиначиться, переладить себя. Последняя карта... Она мне все выложила... сказала, что я ей не нужен. Я ее побил... хотел бы убить, но не могу...

Он опустил голову и щелчком отбросил сигарету.

Разве я могу тебя понять, Жора?.. А все-таки могу. Сидел ты по своей дурости, это я знаю. Не знаю, за что сидел: ограбление или еще что-нибудь. Но можно и оттуда вернуться приличным человеком, как сказал бы Великий Точило. А кем ты стал, Жора, и кем не стал?..

Не кажется ли смешным вот что, Фалеев... Была у тебя пять лет назад разнесчастная любовь, и потом ты уехал в отшельничество на необитаемый остров. Необитаемый остров, как в романах, ей-богу! Кроме разнесчастной любви была у тебя и хандра. Хандра ниоткуда и ни от чего — следствие неопределенности характера. Решил устраниТЬся, думал стать недосЯгаемым для людских горестей на величавой вершине созерцательности. Как в романах, ей-богу! Ну не смешно ли?

А потом приходит час расплачиваться. За самоустранение, за созерцательность.

Потом приходит Жора. У него свое... Я могу его понять, но ничего не могу сделать, потому что для меня сейчас время платы... Прости меня, Жора.

— А я бы делал много денег и не засыпался бы... Что ей нужно, что?.. Маркела бы я не обидел, хотя и вывернул бы наизнанку со всеми его шурами... А он стрелял в меня...

— Не ври, свинья, — сказал я. — Маркел не промахнулся бы.

— Я с ним рассчитаюсь... с этой тварью...

— Тогда тебе крышка.

— Я знаю,— сказал он равнодушно.

— Встань... Посмотри мне в глаза, рыжая сволочь...

Он встал и обернулся.

Спокойное, очень бледное лицо, сильно блестят глаза... Он посмотрел на меня с пристальным, спокойным интересом. Спокоен, слишком спокоен, думал я. Если бы удалось свалить его одним ударом.

Я ударил его и сразу же понял, что удар не достиг цели. Я был напряжен, а он спокоен, и я за этим спокойствием не увидел того, что он тоже начеку.

Я мог ударить его еще раз, но уже знал, что бесполезно. Он слишком опытен... К тому же я чувствовал его сильный захват, а через секунду я был за горло прижат к стволу березы.

— Ну,— сказал он, ровно дыша,— чё дальше, салажонок?

Я видел его глаза совсем рядом. Они смотрели на меня с ненормальным спокойствием.

Я чувствовал себя как на дыбе.

Он слегка ослабил локоть, и от толчка я очутился на земле.

— Живи... Ничего я тебе не сделаю... Только не стань еще раз на дороге... Даже нечаянно... Усек?

Он отошел от палатки быстрыми шагами и оглянулся на бровке.

Я растирал ладонью горло.

— Прошу тебя, Валя, еще раз... не стой под краном.— Он коротко рассмеялся. Взгляд блестящих глаз скользнул по мне, по палатке.— Живи...

Он ушел по тропке на склоне, где вчера подавал мне руку... Шаги затихали на колее, уходили дальше-дальше... Туда, где от устья поднимался ночной туман.

...Похоже на бред, подумал я. Да был ли тут кто-нибудь? Ведь все как прежде. И туман ночной поднялся... Почему же болит горло?

Я попил очень крепкого и сладкого чаю. Полил из чайника тлеющий огонь, повесил чайник на колышек у входа в «нутро».

День кончался, начинался новый...

Из-под кедровой подстилки в палатке я вытащил свою «мелкашку», стряхнул желтую пыльцу с ложа. На стволе еще кое-где сохранилась смазка. Справа в прикладе был выпилен паз, который закрывался пластинкой. В пазе вмещалось ровно семнадцать патрончиков, и все они были там. Я выбрал один, с меткой. Охотники делают сами специальные заряды на крупную дичь и зверя. Патрончик с меткой имел усиленный пороховой заряд и самодельную оловянную пулю в свинцовой рубашке с головкой, рассеченной крест-накрест. Я вогнал патрончик в ствол и задвинул затвор.

Все это напомнило мне движения Маркела... Неужели он и вправду мог выстрелить?

Ночь тепла, да и мне придется идти очень быстро, поэтому телогрейка будет не нужна. Охотничий нож пригодится. Табак, спички... Не знаю, нужен ли бинокль?.. Оставляю. Я убрал в палатку все вещи.

Что-то говорила Березовая...

Я спустился вниз, на заводь. Послушал. Холод и чистота текущей воды... Как все видно этой серой летней ночью!..

Глупец, подумал я. Глупец, барашек...

В серой ночи тусклым зеркалом отсвечивала вода. Я склонился над заводью, и на фоне бледного, с едва заметными точками неба появилось лицо. Я провел рукой по лбу, и человек в зеркале воды сделал то же самое. У него угрюмые глаза и серая кожа...

До Ягодного по полному отливу час-два ходу, и через час-два начнется утро. Нужно идти.

Я задрапировал вход в «нутро», чтобы не налетело комаров. Снизу привалил полешко.

На секунду показалось, что Зоя еще спит в палатке и спят темные спутанные волосы на ее лице. И что она улыбается во сне...

Пора.

Из кустов к дому Маркела можно подойти незамеченным. Деревянная пристройка не имела окон, но меж досок виднелось что-то типа застекленной изнутри амбразуры. Я постоял минут пять у самого порога, прислонившись к потемневшим доскам. Дверь в пристройку открывалась простой шеколдой, ручка от которой торчала снаружи. Вторая дверь, из пристройки в собственно дом, не запиралась, как я знал.

Все было тихо.

Я легко повернул ручки и толкнул дверь. Она оказалась незапертой. Ступая осторожно, чтоб не скрипнуть половицей, я подошел ко второй двери и резко распахнул ее.

Никого.

Две небольшие комнатухи, разгороженные кладкой печи, были пусты.

Вот тут и жил Маркел. Готовил на этой печке, спал на грязном темно-фиолетовом одеяле и укрывался либо вторым матрасом, либо телогрейкой. Спал он, конечно, не раздеваясь.

Койка смята, одеяло засыпано сигаретным пеплом. Везде окурки — на полу, на подоконнике, даже в раскрытом литературном альманахе за сорок шестой год. В углу у окна свалены полупустые ящики с чаем, сахаром, махоркой. Мешок муки, сумка с сушеной корюшкой. В другом углу, у двери, стояла широкая, короткая скамейка, на которой лежали запчасти и детали лодочного мотора. Сам мотор лежал под окном. От него остались только блок цилиндров с поддоном и дейвуд. Куча пустых гильз шестнадцатого калибра, чашки, тарелки, ложка. Следов беспорядка нет, если условно принять все, что я видел в доме, за порядок. В подполе ничего не заметно. Кадка с рыбой, какие-то кастрюли. Зола в печке холодная.

Наверное, Маркел исчез в тот день, когда вернулся от меня с Жорой. Надо посидеть и спокойно все обдумать. Еще раз посмотреть.

Он может находиться: у геологов на базе или у геологов в доме напротив школы, где обычно они останавливаются; в Островном у Вити-пастуха; на лагуне, в землянках; и наконец, самое вероятное — у оленеводов на восточном берегу.

Геологи отпадают, потому что Маркел к ним не вернется, — там Жора. Витя-пастух, с которым Маркел часто пил бражку, может приютить Маркела на время. Маркел может прятаться в постройках на отмелях лагуны или в землянках, которые он все здесь знал. А самое верное, самое вероятное все-таки оленеводы-коряки. К ним он мог и уйти с самого вечера того дня. Если это так, то он уже там.

Но все это догадки.

Что нужно делать тебе, Фалеев?

Идти в лагерь далеко, а ведь время не терпит, ты это знаешь. Туда километров шесть-семь тяжелой дороги вдоль Гнунваям: броды, завалы, кустарник. Можно пройти более легкой дорогой вверху, по плато, но это еще длиннее.

Значит, к геологам в доме напротив школы.

Я вышел на улицу, прикрыл дверь и огляделся. До бывшей школы по дороге было метров двести. Дорога шла сначала между домов, потом по мостику через неглубокий ручей, мимо школы — к зданию бывшей метеостанции.

Везде эта трава, подумал я. Все в траве, от нее свободен только укатанный грунт дороги да отдельные места у завалинок.

Я двинулся по тропинке от дома к дороге, и тут меня словно ударило...

Метрах в семи от тропинки, в этой же густой траве лежал труп собаки. Я бы его и не заметил, если бы не густой рой мух над этим местом. Голова была разможжена сильным ударом и только чудом еще оставалась похожа на собачью голову. Раскрытая беззубая пасть и лужа засохшей крови. Убит он недавно. Убит, может быть, на тропинке, а потом сброшен в траву.

— Так вот где нашла тебя твоя смертынька... Как это ты нарвался, а?..

Коряк с желтыми недоверчивыми глазами, Маркел, который боялся «начальников» и никому не приносил зла, стрелял в человека... Хотя бы и в Жору... Мне кажется, я понял немного... Маркелу нужны свобода и одиночество. С людьми его связывает очень тонкая ниточка. Маркелу бывает нужно и общение, ведь не зверь же он... Приходит и ко мне, и к женщинам. А Жора его угнетал, страшил. Маркел, видно, сделал попытку освободиться.

— Ну что ж, прощай, старик. Таков твой конец.

Солнце уже било из-за хребта в пролив. Но часть поселка была еще в тени обрыва плато. Я перепрыгнул через пролом в сгнившем настиле деревянного мостика и поднялся мимо кузни к дому напротив школы. Здесь все бывшее, подумал я. Бывшая школа, бывшая кузня, бывший семейный очаг и бывшая уборная. Трава только не бывшая.

У дома не было видно людей, печка на улице не топилась. Если там никого нет, Фалеев, дело дрянь.

Наверное, они спят, ведь еще рано.

Дверь заперта изнутри. Я встал на завалинку и толкнул полуоткрытую форточку.

В комнате свалены рюкзаки, ящики, инструменты. На козлах лодочный мотор. Запах жженой сырой травы — от мошки и комаров. Геологов было двое, и они, конечно, еще спали.

Один был укрыт с головой одеялом, второй едва умещался на койке, на его руке я разглядел татуировку.

— Подъем,— сказал я.— Тревога.

Оба геолога сели и уставились на меня.

— Доброе утро. Меня зовут Валя. Открывайте, нужно поговорить.

— А,— сказал первый геолог,— ты с маяка. Это к тебе, что ли, ездили Зоя и Карина Александровна?

— Да.

Он встал, прогрохотал в сенях засовом и открыл дверь.

— Входи. Будем знакомы,— И улыбнулся: — Меня Васей, а его,— он кивнул на верзилу,— Коленькой зовут.

— Надо спешить, ребята,— сказал я.

— С чего б это? — спросил Коленька и упал на подушку.

— Жора и Маркел,— сказал я.

— Мы знаем,— сказал Вася.— Карина Александровна послала радиogramму в Оссору властям и всех предупредила.

— О чем?

— Что Жора ушел и нужно быть настороже, если он появится. Мы вот наблюдаем на своем участке. Сегодня должен быть либо катер, либо вертолет. С милицией.

— Мерзавец,— сказал Коленька.— Побил всех мужиков на базе. Зойку отлупил и смылся. Позавчера было дело.

— А Маркел?

— С позавчера нетути, никто не видел. Тоже смылся... Жору не достанешь, он пташка стреляная. Мы его все боимся. Преступник. Два раза судился, и все за разбой и насилие над мирной человеческой личностью. Он и меня мог ограбить или даже просто обидеть.

— Тебя обидишь,— сказал Вася.— Тот долго не проживет, кто тебя обидит... У них сначала все ладно было,— продолжал Вася.— А потом что-то они не поделили. Маркел шарахаться начал от Жоры. Как я понял, дело в лисьих шкурах и бочонке икры. И еще в чем-то, я не знаю... Жора обещал Маркелу наш лодочный мотор, когда будем отсюда сниматься. Вот уж не знаю, как бы он это сделал.

— Сделал бы,— сказал Коленька.— Преступник. Спер в лагере бинокль. Не спер, а так... замылил — взял вроде игрушки поносить и сказал, что потерялся. Тоже для Маркела.

— Коленька, а где твой охотничий нож из крупповской стали? Тоже бизнес?

— Все-то ты знаешь, а?

— Слушайте,— сказал я,— Маркела нужно найти.

Как можно быстрее, чтобы не опоздать... если уже не опоздали.

— Что ты предлагаешь, Валя?

— Я бегу в Островное...

— Ты же хромаешь, Валя, как ты побежишь? — посоветовал Коленька.

— У нас в ручье лодка, и мотор на ходу, — предложил Вася. — Раз такое дело, то можно использовать. Справишься?

— Поможете столкнуть, а в Островном я как-нибудь причалю.

— Добро. Тогда один из нас пойдет в лагерь?

— Да. И один останется здесь. Если по пути я замечу катер, то заверну его, а с вертолетом пусть решает Карина. Но вы сами знаете, катер через пролив идет около четырех часов, поэтому даже если он уже вышел, все равно раньше десяти его не будет.

...Втроем мы столкнули тяжелую дюралевую лодку в воду и укрепили на транце «Вихрь».

— Оба бака я вчера заправил, — сказал Коленька. — Хватит до Оссора.

— Мотор проверенный, — добавил Вася. — Только ты ручку газа не ставь на максимальные обороты, на полных оборотах мотор глохнет. Не забывай про это, а все остальное нормально.

Чтобы запустить мотор, нужно отвести лодку подальше от берега, на глубину, Коленька зашел в воду, насколько позволили голенища охотничьих сапог, потом с силой оттолкнул лодку за транец в море.

Я прогнал грушей пузырьки воздуха в прозрачном топливопроводе, отрегулировал заслонку карбюратора. Искра при легком проворачивании маховика была. Я дернул шнур стартера, и мотор сразу взревел. Я не вылетел из лодки и даже не упал на транец, как это у меня случалось, потому что забывал поставить реверс в контрольное положение.

Я прогрел мотор и плавно включил реверс переднего хода. Лодка присела, дернулась и начала быстро разгоняться.

Геологи махали руками и что-то кричали. Я поднял большой палец и жестами еще раз попытался внушить им: «Быстрее».

Все бы хорошо, только иногда забрызгивает корму. И телогрейку я зря не взял...

Вода здесь спокойная. Тут и в шторм незаметно волнения: бухта отгорожена длинной косой.

Будь внимательнее к берегу, Фалеев. Ты ведь один... Когда-то у меня был друг, опять подумал я. Постой, как это все было? Черт знает, если бы он не пошел за мной на корму... Судно только что отошло от причалов Владивостока и начало пробираться в холодном ночном море на северо-восток. В декабре в Японском море еще не было льдов, но холод уже чувствовался.

В открытый иллюминатор, если взглянуть немного наискось, еще был заметен огонь Владивостокского маяка. Я стоял около иллюминатора и дышал свежим морозным воздухом, но помогало это или нет, я не чувствовал.

Я помню, что вышел из надстройки и стал пробираться по прыгающей палубе к корме, за которой на горизонте еще светилось зарево огней большого портового города.

Я стал на корме у кнехта, там, где вибрация от вращения гребного винта ощущалась особенно сильно. Я не чувствовал мороза, хотя был в легкой рубашке. Штормило все заметнее. Фосфоресцирующая вода обтекала корпус судна и светящимися змейками разбегалась прочь.

Ярче всего свечение воды наблюдалось вокруг винта и за кормой. И я видел в этой воде дивное лицо с царственными губами, темными глазами под тенью длинных загнутых ресниц. Равнодушное лицо и такое же холодное, как эта декабрьская вода. Мне же мерещилось, что оно живет, улыбается, что шевелятся губы и вздрагивают пепельные волнистые волосы.

— Что ты там плаваешь, Люда? — сказал я. — Вода же холодная, как лед.

Я перегнулся через планшир...

Кто-то подошел и стал сзади меня. Когда корма метнулась вниз, я удержался...

— Нельзя в такой воде, цыганочка, — сказал я. — Дай руку, я тебя вытащу... Холодно...

И тогда тот, кто стоял сзади, положил мне на плечо руку.

— А я тебя везде искал.

— Это ты, Миша? Скажи ей хоть ты, что она холодная...

— Пройдем отсюда, — сказал Миша. — Видишь, как бросает. Чего тебя понесло на корму?

— Я пьяный, — сказал я. — А она холодная.

— Все проходит, — сказал Миша. — У тебя будет девушка получше, Валя. Я же знаю.

— Ничегошеньки ты не знаешь, Миха. Бесчувственный ты судовой электрик, нечуткий и бесчувственный и ни черта не понимаешь.

— Пуская я нечуткий и бесчувственный,— сказал Миша,— только у тебя должна быть девушка получше. А пока пойдем.

И он крепко взял меня за локоть и повел по шатающейся палубе. Мы еще что-то говорили, я оборачивался назад, и смотрел на далекий огонек маяка и на зарево, и тянулся туда, и не хотел идти. Мне казалось, не может все это кончиться вот так: уходит судно, а в большом портовом городе, который оно покидает, остается женщина, свет в окошке, единственная и любимая. И она уже не помнит обо мне.

Конечно, было бы проще, если бы у нее не было мужа, флотского офицера, а кроме мужа, не было бы и двух ее «очень хороших знакомых». Да и на что я мог рассчитывать, когда судно приходило во Владивосток после долгого рейса на трое суток и опять снималось в долгий рейс?

Но кто мне скажет, что такое сердце? Почему после этих пяти лет я не могу сдержать его биение, когда вспоминаю о Владивостоке?

Мне помог друг. Где он сейчас?

Тогда Миша вел меня, оберегал от лееров и фальшборта. Я чувствовал его плечо и подчинялся.

Только у трапа я сказал ему:

— Осторожнее, Миха. Тут ступеньки.

— Спасибо. Ты сам не споткнись. Давай держаться вместе и одолеем этот трап.

— Иди вперед, я тебе помогу.

— Вот моя рука.

...Почему все это вспоминается: море, друг, корабль? Может быть, все началось с того, что я ушел с моря? И стал клятвопреступником?

11

Когда подходишь к Островному со стороны пролива, то на косе под высоким берегом сначала различаешь большие коробки хранилищ и рыбообрабатывающих цехов, потом становятся видны коробки поменьше — жилые дома, сарай. Я подходил к поселку с юга и с моря, поэтому первым рассмотрел кладбище, которое вползало с косы высоко на обрыв, и сараюшки. Дальше был клуб, в который когда-то ходили в кино и на танцы; вот школа, вот магазин, где покупали сахар, рубашки и батарейки к карманному фонарю. Огороды, на которых под травяным ковром еще заметны грядки. Лотки рыбопровода на высоких столбах сломаны и

обвисли, большие кадки для рыбы рассохлись и рассыпались. Покривившиеся столбы, дырявые крыши, ветхие изгороди.

Мертвое дерево, подумал я, одно мертвое дерево.

Жили на острове с тысячу людей, работали на рыбокомбинате в Островном, ловили рыбу в поселке Ягодное, сплавливали лес по речкам в пролив — на дрова зимой. Летом приходили суда, катера с продовольствием, техникой, почтой. Зимой прилетали «аннушки» и вертолеты и садились на полосу, расчищенную прямо на льду пролива, у лагуны.

Те времена минули. Рыбокомбинат стал нерентабельным, людей сняли с острова и расселили по Камчатке. А почта, адресованная в эти поселки, и по сей день продолжает приходить по ошибке к нам на маяк. На острове же остались всего несколько коряков-оленьеводов, Витя-пастух и маячники.

Ну и место, где ты живешь, Фалеев. Этот берег покинут людьми, как перед волной цунами. Люди так и забыли вернуться...

Я подогнал лодку к устью ручья, заглушил мотор. Пришвартоваться можно вон к тому столбику, но сейчас идет отлив, и киль скоро окажется на песке, поэтому поторопись...

А вот и дом Вити-пастуха. Он недурно здесь устроился вместе с женой Машей. Он имел даже свой транспорт: по суше ездил на лошади, а по воде на дюралевой лодке с новым мотором. В пристройке позади бывшей ремонтной мастерской у него стоял дизелек с генератором для освещения дома и для бритья — Витя иногда брился электробритвой.

Вот он стоит на крылечке и машет мне рукой, а сзади в пристройке тарахтит дизелек. Маша, конечно, уже встала и готовит завтрак.

— Валька, — еще издали закричал Витя, — здорово, гад!

— Привет.

— Чья у тебя лодка?

— Моя, конечно. Нашел на берегу под маяком. Видно, выбросило.

— Бреешь. Это геологов.

— Тогда чего спрашиваешь?

— Ты зачем примчался? Эх, опоздал ты... Мы только вчера с Маркелом всю брагу выглушили.

— Значит, он тут?

— Ночью помчался на тот берег, к корякам.

— Когда ночью?

— Да часа четыре назад. Что стоишь, давай вваливайся. Сейчас есть будем.

— Маркел ушел один?

— Да что вы все как ополоумели! Маркела пытал, а он, точно чумной, — ни бэ ни мэ. Что там в Ягодном — рушится?

Я вошел в дом и поздоровался с Машей, которая хлопотала у плиты. В комнате сильно пахло щами из свежих овощей, мясом, молоком.

— Садись, Валя, — сказала Маша.

— Мать, бухни ему щец со сметаной двойную пайку! — закричал Витя.

— Спасибо. Мне некогда, а то бы я с удовольствием.

— Да ты что? — закричал Витя. — Не отказывайся. Послушай, г-э-э-х, как пахнет.

— Глушишь, как пароход, — сказала Маша. — Я с тобой туга на ухо стала. Людей хоть не пугай.

— Да Валька меня знает.

— Витя, — сказал я. — А Маркел один ушел?

— Тут еще перед тобой часа за два геолог был, друг Маркелов, — сказала Маша. — Жора, что ли?

— Ага, — поддержал Витя. — За Маркелом помчался. Говорит, догоню, спрошу про места охотничьи за лагуной. Хотел там на пару дней осесть, гусей, уток набить.

— Какой дорогой ушел Маркел?

— По берегу собирался, — сказала Маша. — А потом вверх, по землянкам — до перевала.

— И чего он ночью оборвался? Вроде отлив не начинался еще.

— Темный человек этот Жора, — уронила Маша. — Глаза нехорошие...

— Не дури, мать. Нормальный мужик, я с ним не раз пил...

— Поменьше бы васькался с такими. Валя, а почему он за Маркелом пошел, не знаешь?

— Маркела догоняет, чтобы счета свести.

— Да ты что? — закричал Витя.

— Вот, — сказала Маша и тихо села на табурет. — Я ж тебе говорила, тюремщик он. А Маркел от него прятался, от кого еще.

— Сделаем так, Витя. Заводи свою «казанку» и гони в Ягодное. Где геологи, ты знаешь. Нужно сказать Карине, что я догоняю Жору и Маркела и искать нас нужно на участке лагуны. Из Оссоры должен подойти либо катер, либо вертолет с милицией. Скажи, чтоб не медлили. Карина все знает. Скажи точно, когда ушел Маркел и когда — Жора.

— Жора... часа два назад. Как раз он нас с Машей и раз-

будил. А Маркел ушел еще ночью, часа четыре назад, я слышал, как он уходил...

— За четыре часа он успеет уйти за лагуну?

— Куда-а там. Он же с похмельюги. Каждые полчаса будет сидеть, перекуривать. Наверное, еще и до устья не доплелся. Это точно.

— Жора уже догнал его.

— Ох,— сказала Маша.

...Мы столкнули в воду «казанку» и навесили мотор. Потом стащили мою лодку и разошлись в противоположные стороны.

Я шел как можно ближе к берегу, пытаюсь заметить то, чего не заметишь издали. В некоторых местах были видны следы сапог на песке отлива. Я попытался приблизиться к берегу вплотную, и стало ясно, что это шел Жора. Маркеловых следов не было видно, потому что он вышел раньше и двигался выше теперешнего уровня воды.

Звук работающего мотора слышен в тишине очень далеко, подумал я. Да еще тучи этих чаек и крачек. В воздухе стоял оглушительный гвалт. Они трепыхались надо мной, истошно вскрикивая, и разлетались прочь.

Я причалил у большого дома с маленькими строениями вокруг. Раньше здесь была флотская метеослужба.

Я заглянул внутрь большого здания, походил вокруг него, поискал в сараюшках.

Ничего.

Крачки еще хуже чаек, подумал я. Они тихо летят над тобой, потом, как только ты зазеваешься, по очереди пикируют на твою голову, в метре от твоих ушей пронзительно взвизгивают и улетают. Я попробовал отогнать их голышами. Они улетели, потом вернулись и опять начали выжидать, когда я зазеваюсь.

Я отчалил, завел мотор, пошел вдоль берега.

Вот опять следы. На этот раз идут двое.

Неужели опоздал?

Нужно было сразу пройти на лодке за здание метеослужбы и посмотреть, есть ли следы. Тогда я не потерял бы десять минут на осмотр, а сразу двинулся дальше.

У самого горла лагуны на выступе берега показались сараи.

Стоп.

Следы с отлива выходят наверх, к сараям.

Я причалил, вытащил насколько смог лодку на песок. Швартовый конец придавил булыжником.

Винтовка лежала на полке вдоль борта. Я вытащил ее, повесил на плечо. Закурил.

Вход в первый сарай не имел двери. Окна были высажены, крыша в дырах.

Я перешагнул порог. Сразу же за полусгнившей перегородкой увидел их обоих.

Я остановился метрах в пяти от них, у трухлявого столба опоры. На столб одним концом опиралась потолочная балка и лежала на его торце только краешком.

Жора спокойно сидел на ящике и смотрел сквозь выбитое окно наружу, а Маркел, понурившись, стоял в простенке между тем окном, в которое смотрел Жора, и другим, рядом. Винтовка стояла между его ног.

— Да у тебя пушка...— сказал Жора.— И ты пришел кого-то убивать, Валя.

— Маркел,— сказал я,— отойди от него и стань сзади меня.

— Хо,— сказал Жора,— опять ты спешишь куда-нибудь?

Жора встал. Руки в карманах, взгляд где-то снаружи, за окном.

— Я же тебя просил, Валя. Почему ты не хочешь слушаться старших?

Он повернулся и сделал ко мне несколько шагов. Я сдернул с плеча ремень мелкашки и взял ее двумя руками.

— А ты даже умеешь ее держать, салага.

Жора остановился на расстоянии полутора метров от меня и с любопытством посмотрел на винтовку, не вынимая рук из карманов штормовки.

— Чё балуешься,— сказал он строго.— Это ведь огнестрельное оружие.

Мне оставалось только сдернуть предохранитель и оттянуть боек затвора. Я поднял винтовку.

— Стой, где стоишь, Жора.

— А ты будешь стрелять? — спросил он.— И убьешь меня?

— Я не шучу, Жора.

— Или, может, ты не меня, а моего друга Маркела хочешь убить? Я прошу тебя, Валя... не надо.

Что здесь происходит, подумал я. Почему Маркел никак не отзывается на происходящее и почему у Жоры усталое и равнодушное лицо? О чем это Жора сейчас думает, склонив

голову к плечу и рассматривая меня спокойными, безразличными глазами?

— Я не люблю тебя, Валя. За чё ты хочешь меня убить?

Жора склонил голову на другое плечо, как это делает петух, высматривая в земле зернышко. Он даже сделал шаг в сторону, так он старался. Когда он сделал этот шаг, я увидел Маркела, которого до этого загораживал. Тот стоял в простенке темной тенью, лицо неразлично, только контур туловища между двух ярких окон.

Я сдернул предохранитель и оттянул щелкнувший боек.

— Жора...

Тогда Жора сделал еще один шаг в сторону и сказал через плечо:

— Ты все усек, Маркел, а? Знаешь, чё делать. Только ты тоже не шути, ладно?

Я увидел, как Маркел отделился от стены и поднял свою винтовку. Его фигура попала в столб света из окна, и остальное я видел очень четко. Темная рука скользнула по ложу, сняла предохранитель. Ствол поднялся на уровень лица, и я ясно различил дырочку на торце и медный отполированный болтик вместо мушки... Желтые, дикие глаза смотрели поверх ствола на меня...

— Атувье,— крикнул я,— ты с ума сошел!..

— Не-е,— сказал Жора,— он просто исправляется. Второй раз он не промахнется, Валя.

Жора спокойно и пристально следил за мной, будто запоминая. Склоненная на плечо голова, блестящие глаза, серое лицо...

— Помнишь, я тебе сказал: бойся меня?

И тут я почувствовал, как сильно устал. Мне захотелось сесть и прислониться спиной к трухлявому столбу... Так и не успел поесть горячего, подумал я. А как сильно и хорошо пахло дома у Вити-пастуха... Маша сварила щи из свежих овощей... Со сметаной. О чем только думают люди, Фалеев... О щах из свежих овощей со сметаной.

Где сейчас мой друг?

Что, Зоя еще спит в палатке и волосы рассыпаны по телогрейке?

Жора вытащил руки из карманов и одним сильным движением выхватил у меня винтовку.

Не спи... Еще не поздно.

Жора открыл затвор. Если его открыть резко, то патрончик остается в стволе, такая особенность у этой мелкашки. Жора ковырнул ногтем шляпку патрончика.

— Ты поглянь-ка,— сказал он.— Она и вправду заряжена... Серьезный ты человек, Валя...

— Атувье,— сказал я тихо,— ты Маркел номер два. Номер первый подох честно и жил честнее тебя, хоть и был просто бродячим псом.

Краешком глаза я видел, как опустился ствол Маркеловой винтовки.

Это было мгновение, которое не повторяется. Я резко ударил Жору в локоть той руки, в которой он держал мелкашку.

Дальнейшее произошло в течение секунды. Я успел еще заметить, как упала выбитая из рук Жоры винтовка... Я знал, что нужно как можно сильнее двинуть плечом гнилой столб-опору, и понимал, что следует упасть в сторону от рухнувшей балки и успеть вскочить снова.

Только бы Маркел...

Жора ничего не успел сделать. Столб хрустнул, балка слетела с него прямо на Жору...

Когда в следующую секунду я встал на ноги, Жора корчился на полу, прижимая левую руку правой. Маркел был неподвижен. Да, Маркел стоял с опущенной стволом книзу винтовкой и не шевелился... В длинных ярких кинжалах солнца, которое било в дыры и щели в потолке, плясала пыль и сеялась труха.

Я шагнул к лежащей винтовке с раскрытым затвором, и в это время Жора сильно ударил меня снизу ногой. Я успел увернуться, но все равно удар скользнул по внутренней стороне бедра, и нога онемела.

Жора оперся на руку и встал. Теперь он был бледен так, что даже серые оттенки на его лице исчезли... Крови не было видно.

Сломана рука, подумал я. Адская боль... Внутренний перелом, наверное.

Но на ногах он держался твердо. Быстрый взгляд через мое плечо на Маркела.

— А ты молоток, Валя,— сказал он хрипло.— Толково сработал... Я от тебя не ожидал.

Мы близко стояли друг против друга. Винтовка лежала сбоку, и патрончик еще был в стволе. Я чувствовал спиной Маркелово присутствие, а Жора смотрел на него. Почему-то мне казалось: если я буду стоять между Жорой и Маркелом, то Маркел... Неужели он стрелял тогда и может выстрелить сейчас?

Жора сделал ко мне быстрый шаг и сильно ударил ладонью по лицу. Хлесткий и неожиданный удар. Меня нельзя

бить в лицо или в голову. В детстве я перенес сотрясение мозга, и, если меня так ударить, я мог на короткое время потерять сознание, если не бывало хуже. Наверное, это и произошло сейчас, потому что, когда я поднимался с земли, Жора уже держал винтовку между колен и одной рукой закрывал затвор.

Маркел не шевелился... а мог уже десять раз «исправиться».

Жора вскинул мелкашку в руке, как револьвер, но ремень зацепился за отворот сапога... И смотрел он на Маркела.

А Маркел не шевелился.

Левая рука у Жоры висела, будто вместо живой конечности там был протез.

Я ударил его по этой руке, потом развернулся и ударил кулаком сбоку в челюсть.

Жора покачулся и скрипнул зубами. Винтовка опять упала, когда он здоровой рукой перехватил сломанную.

— Не дешеви, Валя,— сказал он сквозь зубы.— Нечестно...

— Один — один, Жора,— сказал я.— Ведь у меня череп с трещиной...

— Я этого не знал.

Он опять ударил меня ногой с близкого расстояния, а я просчитался, когда прыгнул в сторону. Это хороший удар, когда он достигает цели — носком сапога ниже колена. Я почувствовал, что ноги, одной ноги у меня нет. Была тяжесть в этом месте и боль, но не было ощущения здоровой, повинующейся ноги.

Бедная нога, подумал я. Все-то тебе достается...

Одноногий и однорукий — вот это бокс. Что нужно делать, Фалеев?

Я прыгнул к Жоре и обнял его за талию, прижал его руки к телу. Хорошо, что он не ждал от меня такой «любви» и не успел ударить еще раз.

— Это называется клинч,— сказал Жора и ударил меня головой в лицо.

Я сильнее сжал его руки. Жора корчился и скрипел зубами. Он опять ударил меня головой в скулу, но сам слабел на глазах. В голове у меня шумело,плыли куда-то розовые звездочки в фиолетовых и желтых облаках. Я чувствовал, в каком месте сломана Жорина рука: между кистью и локтем, ближе к локтю. Крови по-прежнему не было; значит перелом внутренний.

Мы топтались на одном месте, обнявшись, как хорошие

друзья. Жора бил меня головой в лицо, а я сжимал кольцо своих рук. После каждого его удара, который, звонко дребезжа, отзывался в моем мозгу, я пытался сильнее сжать руки. Но каждый раз я сжимал их все слабее, а Жора бил меня головой все реже... По скуле текла кровь, кровь из рассеченной брови заливала глаз.

Маркел стоял, как истуканище... Или это не Маркел там стоит, в столбе солнечного света из окон, а его тень?.. Я не очень резко видел все предметы... Они уже начинали плавать, двоиться в розовом тумане. Еще один удар в голову — и я упаду.

В ушах у меня появилось какое-то переливчатое стрекотанье, частые громкие хлопки.

Где сейчас мой друг, подумал я. А Зоя... мы бы сейчас вместе послушали все эти переливчатые музыкальные трели и посмотрели бы нарядные звездочки в розовом тумане... Маркел, Маркел, ты...

— Маркел, — сказал я, — ат-тар¹...

Мне показалось, что Маркел (или его тень) приблизился ко мне и Жоре...

Это не у меня в голове стрекочет так переливчато, подумал я, это же вертолет...

Жора опять ударил.

Последнее, что я запомнил, было движение Маркеловой тени. Приклад его винтовки беззвучно опустился на Жорину голову.

Бледно-голубое полуденное небо, а в нем медленно танцевало одно-разъединственное ватное облачко. Прямо над моей головой, так что не надо ее и поворачивать. К трюм же она тоже как ватная и, наверное, не очень-то послушается... Бровь и скула у меня чем-то залеплены.

О чем там разговаривают эти противные чайки? Врешь, это не чайки, это люди разговаривают, где-то тут, совсем рядом.

Я скосил глаза и увидел Зою. Она сидела на траве.

Я лежал недалеко от того самого сарая... А разговаривают Карина и кто-то незнакомый.

Я протянул руку и положил ее на Зоины колени. Она вздрогнула, придвинулась ближе и склонилась надо мной. Вот очень близко милые синие глаза, подумал я. Это Зоя.

— Потерпи... Все уже позади, милый... А тебя вертолетом отправят в больницу, в Оссору.

¹ Собака (коряжское).

— К черту,— сказал я.— Я сейчас вот полежу немножко, потом встану и побегу. Тоже мне, нашли больного: на скуле шишка.

— У тебя было сотрясение мозга...

— В первый раз, что ли?..

— Не волнуйся, Фалеев,— сказала Зоя мне в ухо.— Подумаешь, полечат тебя немножко.

— Все равно не хочу,— сказал я.

Зоя еще ниже склонилась к моему лицу.

— У тебя, наверное, из шишки на скуле выросла агрессивность,— сказала Зоя и улыбнулась.

Я притих. Черт возьми, а если я и вправду немножко того... Хорошо же я должен выглядеть...

— Ладно,— тихо сказал я в Зоино ухо.— Я пока подожду вставать. Осмотрюсь, освоюсь... тогда уж.

Нужно подождать, осмотреться. Если мне кажется, что чайки разговаривают, то нужно, конечно, подождать. Что там было, в сарае?.. Кажется, меня били по голове треснувшей бензиновой бочкой. Вот такие дела.

О чем это говорят Карина и человек с незнакомым голосом? Я повернул ватную голову и поверх травы увидел поникшие лопасти МИ-8, каких-то людей в милицейской форме и в зеленых штормовках. Из сарая вышли Коленька и Вася. Карина разговаривала с милиционером в погонах старшего лейтенанта, который писал в блокноте. Тут же, рядом с ними, стоял и Витя-пастух, и вел он себя довольно прилично: не кричал, не махал руками и никого не называл гадом. Сколько людей, подумал я, и все ведут себя прилично. А уж на Витю-то это совсем не похоже.

— Что за чушь,— сказала Карина.— Почему он сумел держать коряка в кулаке?

— Мы Маркела Атувье знаем,— сказал старший лейтенант.— За ним есть грехи, а один очень серьезный.

— И Жора об этом знал и шантажировал Маркела и вынуждал его идти на поводу, так надо понимать?

— Только откуда бы он мог узнать? Вы же сами говорили, Карина Александровна, что они знакомы едва ли две недели, да и познакомились уже здесь, на острове.

— Кое-что он мог случайно узнать еще в прошлом году. А этим летом, перед самым отлетом сюда, он все водился в Оссоре с каким-то коряком из госпромхоза. Конечно, пили, и, конечно, тот тоже кое-что знал и мог сболтнуть.

— Все может быть. За Атувье нам, конечно, придется взяться. Найти его нужно в первую очередь, а потом... При-

дется ему отвечать и за икру, и за пушнину, которую он сплавлял налево. А главное, золото... Кто-то научил его мыть золото, или сам научился у геологов. Самодельный старатель... Нашел тут еще самородочек с ноготь величиной: дошли слухи до Оссоры.

Я повернул голову. Кажется, я все отлично понимаю. Да и голова уже не такая мягкая...

— Где Маркел, Зоя? — спросил я.

— Его здесь не было, милый. Когда мы сели и нашли вас в сарае, у Жоры была разбита голова, и вы оба были без сознания. И больше там никого не было. Правда, когда вертолет садился, Васе показалось, что за сараем кто-то прячется. Может, это и был Маркел. После искали в других сараях, вокруг них, но никого не нашли.

Он сумеет уйти, подумал я. Ему тут каждый куст знаком, каждый овражек. Мог спрятаться, затаиться; потом, когда внимание было чем-нибудь отвлечено, просто взял да канул. Никто его, конечно, особенно искать не будет. Попробуй его найди... А он станет жить в землянках и прятаться, когда мимо пролетит вертолет или покажутся незнакомые люди, что в тех местах довольно редкое явление, особенно зимой.

Маркел мог десять раз всадить в меня пулю, когда я дрался с Жорой, еще подумал я. Как он его ни боялся, а все-таки в последнюю секунду выручил меня... Значит, я не ошибся в своем ощущении тогда, когда стоял спиной к нему.

— Нужно еще расспросить этого молодого человека, — сказал старший лейтенант. — Судя по всему, он много знает и расскажет, что именно произошло здесь, в сарае, и прежде. Ваш Жора — интересная птица, Карина Александровна. Хорошо, что этот парень вовремя поставил последнюю точку...

— Где Жора? — спросил я.

— Он лежит в вертолете и еще не приходил в себя. Шок...

Зоя прикрыла ладонью глаза и вздохнула.

— Ничего, Зоенька, — сказал я. — Ты сама сказала, что все уже позади.

Она обняла мою голову и прижалась лицом. Сильно пахли ее волосы.

— Да, милый...

— Карина Александровна... — сказал я. — Имя какое-то итальянское.

— Она очень переживала за тебя, все торопила летчика и этого старшего лейтенанта.

— Все правильно, раз торопила... Это шумит вода, Зоя, или мне только кажется?

— Это шумит вода,— ответила Зоя.— Начался прилив, и вода из пролива идет в узкое горло лагуны. Как ты себя чувствуешь, милый?

— Лучше. Но вскакивать, наверное, еще рано.

— Не надо. Конечно, тебе еще рано вскакивать.

— Жаль, так хотелось бы посмотреть на воду, которая идет узким горлом из пролива в лагуну.

Ноябрь 1974 — апрель 1975, остров Карагинский



ТРЕТИЙ



— Ты действительно считаешь, что Третий остался на судне? — свистящим шепотом осведомился у Левы Семен, предварительно осмотревшись по сторонам.

Они пылили по главной улице Поселка в сопровождении Студента и лениво поплевывали на фонарные столбы.

— Да вот же он,— шепнул в ответ Лева и ткнул пальцем в какого-то прохожего.

Семен взвизгнул и опрометью кинулся в ближайшую подворотню. С необычайной быстротой он протолкнул свое огромное тело в узенькую щель между калиткой и земляной дорожкой и спрятался за деревянный забор. Из-за широкой штакетины выглядывал его панически смятенный глаз, похожий на блестящее стеклышко.

Лева захохотал, похлопывая себя по бокам, а Студент нерешительно поддержал его. Семен обиженно засопел и лягнул забор:

— У тебя дикие шуточки, если хочешь знать! Смотри, я с тобой больше не буду играть,— пригрозил он Леве.

Они снова двинулись по улице в поисках приключений и опять лениво начали поплевывать на фонарные столбы. Семен затаил в душе нехорошее чувство против Левы и искал только подходящего случая, чтобы сквитаться с ним. Его большое тело вздрагивало от сдерживаемого до поры до времени гнева и глубокой, затаенной на самом донышке его души обиды.

Сделав вид, будто он украдкой оглянулся, Семен немного отбежал в сторону и закричал:

— Он нас догоняет!

Не раздумывая, Лева упал в дорожную пыль, словно слышав вой приближающейся авиабомбы, и элегантно спрятал лысину в чахлые кустики, росшие сбоку дороги. Студент заметался, не зная, что должен делать он сам, и на всякий случай просто встал в сторонке.

— Ага, получил! — Семен чуть не треснул от удовольствия, что его затея удалась. — Так тебе и надо, правда, Студент?

В небе среди пустых летних облачков порхало несколько пташек, пригревало июльское солнышко и тянуло горячим ветром с плато. Над бухтой горланили чайки и пикировали на воду, усеянную мусором, который выбрасывали с кораблей, стоящих на рейде.

Лева отряхнулся и с достоинством снял листок с поредевшей шевелюры, нимбом стоящей вокруг лысого, покрытого розовым загаром затылка. Порывшись в кармане, он достал записную книжку, исчерканную адресами былых побед и сентенциями типа: «Опоздавшему — кость», «Так проходит слава мира», «Кроме того, я думаю, что Карфаген необходимо разрушить».

— О! — сказал он, рассматривая пожелтевшие странички. — Здесь живут две бабки, с которыми мне в свое время пришлось повозиться. Та-а-к... бабке Тамаре сейчас, дай посчитаю... тридцать семь лет, а бабке Татьяне повезло больше — ей всего двадцать четыре. Ты даже не представляешь, Студент, до чего Тамара строптива: ломалась целых два дня. Теперь я уже далеко не тот, что был раньше, но все-таки нужно попробовать постучаться к ней. А тебе, Студент, я уступаю Татьяну, — обратился он к неподвижно стоящему молодому человеку. — Держи, вот адрес и телефон. Хочу тебя сразу предупредить — Татьяна вовсе не сахар, в пару ей годится разве что камнедробилка, но я тебе посоветую действовать решительно. Ты молод, полон сил, да и сметки у тебя больше.

Лева осмотрел Студента с ног до головы и саркастически усмехнулся:

— Вот опять покраснел. Когда только ты справишься? Я не могу доверить тебе даже такое простое дело, черт тебя побери! Ты же ничего не сумеешь, а я окажусь в дураках, вон чего.

Мучительно покрасневший Студент не знал, куда и деваться от стыда за свое ничтожество: он всегда чувствовал свою неловкость в обращении с женщинами. Но ведь когда-то нужно было становиться человеком, черт подери, нужно становиться мужчиной, черт подери! И, покраснев еще минуты две, Студент взял у Левы листок с адресом и телефоном.

— Не бойся, — Лева похлопал Студента по плечу. — Ничего страшного нет, можешь мне поверить: а вот хорошего много и прежде всего тебе. Знаешь, — ударился он в фило-

софию,— ты меня, конечно, извини, Студент, но я давно не верю в басни, будто земля круглая и что вода состоит из водорода и кислорода. Никакой любви на белом свете не существует. Эти душеспасительные штучки про любовь выдуманы людьми, которые задались целью отвлечь нас от истинных ценностей и которые заключают в себе свободные половые отношения и космополитизм. Да-да, именно космополитизм и свободные половые отношения придают духовному миру человека необходимую свободу самовыражения. Поэтому иди и ничего не бойся, а я исчез.

С этими словами Лева убежал, рассекая воздух.

Студент понурился, как побитая собака и, медленно передвигая ноги, поплелся на поиски места жительства строптивой Татьяны. В его душе, будто во взбаламученном омуте, утонули все его представления о светлой бескорыстной любви, все его наивные мечтания о вечном чувстве.

Но не успел Лева убежать, а Студент привести в порядок рассеянную мысль, как сзади раздался оглушительный вопль, в котором сквозило откровенное ликование и скрытое торжество, и тотчас же Студент почувствовал на своем локте чью-то цепкую руку:

— Наконец-то я тебя нашла!

Ему не нужно было даже оборачиваться, чтобы посмотреть, из чьих уст исходит вопль и кто схватил его мертвой хваткой за локоть. Это была кокша с судна, на котором плавал Студент, а иначе — Повариха.

— Теперь ты никудашеньки от меня не уйдешь,— клекотала она,— теперь ты мой, дорогой Студентик! Разве ж можно так тиранить и так терзать бедную женщину, как это делаешь ты? Но уж теперь ты мой, клянусь крепдешином!

И она повлекла Студента за околицу, будто буксирный катер-толкач мощностью в три тысячи лошадиных сил на валу. Иногда она оглядывалась на ходу и впивалась сияющими глазками в лицо Студента, отчего тот чувствовал, как обрывается у него сердце и заплетаются ноги.

Студент отдал бы половину своей небольшой жизни за то, чтобы испытать счастье в безводной пустыне, расстилающейся на десять тысяч километров вокруг, зная, что шанс спастись у него будет равен одному из миллиона, но и зная так же, что Поварихой в этой пустыне и не пахнет. Он согласился бы спать, зарывшись в песок и околевав от холода ночью, и живьем поджариваться на беспощадном солнце днем; он согласился бы питаться саксаулом и варанами, мучиться от жажды, пережить солнечный удар и десятикратно позволил

бы обмануть себя миражом; дал себя укусить гремучей змее или гюрзе — но лишь бы в этой мертвой песчаной бесконечности не было Поварихи. Судьба распорядилась иначе: Студент и Повариха не только не находились на различных полюсах планеты, а жили и работали едва ли не в десятке метров друг от друга, испытывая от этого одна — дрожь нетерпения, а другой — панический ужас.

Повариха целеустремленно тащила на буксире Студента, развевая неестественно окрашенные волосы и впиваясь время от времени маленькими глазками в лицо своей жертвы, а тот едва успевал перебирать ногами. Повариха уже миновала аптеку, школу, хлебный магазин, как вдруг взор ее случайно остановился на оживленной толпе напротив универмага. Она встала, как вкопанная, так, что Студент, пролетев по инерции, чуть не сбил ее наземь, хотя, зная Повариху, в такую возможность трудно было поверить.

— О, боже! — вскричала Повариха. — Я не могу пропустить это интересное место, иначе у меня потом будут колики в животе и меня замучит совесть!

Она секунду поколебалась, оглянувшись на покорно замершего Студента, потом со скоростью ядра кинулась в самую гущу, волоча по-прежнему свою безропотную жертву. Она пронеслась по очереди, сшибая слабосильных, растапывая зазевавшихся и издавая пронзительные крики, когда ей попадался противник покрепче. Остановил ее только прилавок. Повариха перевела дух и выдернула из толпы помятого Студента.

— Я контролер за качеством продаваемых изделий, — гаркнула она перепуганной продавщице. — У вас сегодня пуховые кофточки? Я давно мечтала иметь пуховую кофточку. Дайте мне сразу двенадцать штук.

Очередь возмущенно зароптала. Там и сям стали раздаваться негодующие возгласы. Повариха и ухом бы не повела, но тут одна обнаглевшая очередница попыталась оттереть ее от прилавка под предлогом, что в очереди Повариху до сего столетия еще никто не видел. Тут уж Повариха показала ей, где раки зимуют. Она набрала в грудь воздуха, схватила зарвавшуюся нахапку под микитки и закричала, широко открывая рот:

— Ах ты, пенек горелый, свинячий потрох, ах ты черессидельница! Я тебе покажу очередь, уж я тебе зубы выровняю, уж я-то тебе всыплю по первое число. Разве ты не знаешь, что кофточек мало и мне может не хватить?!

Студент несколько секунд постоял, привыкая к необычной мысли, от которой внутри у него сладко заныло, а снаружи по спине продернуло морозцем: с в о б о д е н.

Студент нырнул вниз головой, шурупом ввинтился в твердь испуганной очереди и вынесся на улицу, образовав сзади себя воздушный водоворот, в который попало несколько одиночных зевак-любителей.

Заметив краем глаза, что Студент скрылся, Повариха ахнула, собралась было припустить следом, пока еще Студент не успел убежать на другой край Вселенной, но тут вспомнила про кофточки и остановилась. Сердце ее раздиралось надвое, и даже глаза разъехались в разные стороны, но, после мгновенной и мучительной внутренней борьбы Повариха решила пока приобрести свои кофточки и именно на них сфокусировала заблестевший взор.

Студент бежал так быстро, будто хотел за те, такие маленькие, десять минут, которые ему были отпущены Поварихой, убежать на другой край Вселенной. Ветер свистел в его ушах, приплюснутых воздушным потоком к черепу, проносящиеся мимо предметы слились в бесконечную мельтешащую ленту, а собственное сердце несло где-то впереди на сотню метров. Студент не чувствовал запаха дымящейся на брюках бахромы, потому что нос у него был тоже приплюснут мощным воздушным потоком.

С самого первого дня, когда Студент поступил на судно учеником моториста, Повариха увидела его и вспыхнула жаркой страстью. Она стала сопровождать его на палубу, куда Студент выходил подышать после работы свежим воздухом, во время обеда тянулась к нему из раздаточного окошка, забывая налить ему первого и наложить второго. Потом страсть ее стала разгораться все сильнее и все неотвратимее день ото дня, и, наконец, тайное стало явным. Наступил тот день, когда Студент неторопливой походкой шествовал после работы мимо каюты, где жила Повариха, и ни о чем хорошем и не думал.

В эту секунду дверь каюты скрипнула, и на пути Студента встала Повариха. Она схватила его под микитки и втащила в каюту, защелкнув дверь на запор, чтобы никто не посмел ей помешать. Она твердила: «Наконец-то ты мой, ах, какое счастье!»

Смущенный Студент не знал, что и думать; ему, по правде, не улыбалось, когда его втаскивает под микитки в каюту женщина. Студенту стало до жути ясно, что нужно бежать. Воспользовавшись заминкой Поварихи, он выскользнул из

ее рук, крикнув, высадил плечом дверь и опрометью бросился в коридор.

И с этой минуты жизнь его превратилась в дьявольский и днем и ночью кошмар. Часто по ночам он испуганно вскакивал, увидев во сне, как пожарный багор не выдерживает напора истосковавшейся Поварихи, вскакивал и стучался головой, набивая шишку на одном и том же месте. Он почернел, глаза и щеки у него ввалились, а месяц не мытые волосы спеклись в твердый ком. На работе в машинном отделении он двигался, будто зимняя муха, задевал все выступающие детали и с ног до головы покрывался синяками и шишками. Скоро на нем не осталось бы и живого места, как вдруг его перевели на палубу, в ученики матроса.

Теперь жизнь стала еще ужаснее, потому что Поварихе оказалось удобнее выслеживать его именно на палубе. Она забиралась на верхний мостик, тихонечко высовывалась из-за щитка и, приложив руку козырьком ко лбу, будто вахтенный в непроглядном тумане, начинала пядь за пядью исследовать поверхность палубы. Обнаружив местонахождение Студента, Повариха вспыхивала радостным румянцем, без шороха слезала по трапу вниз и на цыпочках начинала подкрадываться к своей жертве, чтобы, остановившись в пяти сантиметрах от зазевавшегося Студента, всхлипнуть от едва сдерживаемой страсти и наброситься на него. Студенту оставалось только, извернувшись, как резиновое круглое кольцо, бросаться навзничь, потом, перекатившись на бок, вскакивать и пускаться наутек.

Студент так изошрился слух, что мог слышать не только шаги Поварихи, но и тиканье вахтенных часов в машинном отделении.

В те часы, когда Поварихе приходилось, скрепя сердце, варить обед и кормить экипаж, Студенту удавалось побыть в одиночестве. В столовую он уже не ходил, а питался сухарями и тем, что добудет Семен, волею судеб тоже лишенный роскоши открыто и не спеша пообедать в столовой. Они садились с Семеном на кнехт, каждый на свою сторону, и принимались жевать сухари и думать каждый о своем.

Семен думал о той неуловимой, но постоянно присутствующей на судне угрозе, которая струилась из открытого иллюминатора каюты Третьего вместе с классической музыкой, которую Семен не воспринимал, а еще о том, сколько еще взысканий и наказаний, изощренных и страшных в своей неизвестности, придумает для него Кэп.

Студент же думал о своей однокласснице, с которой он

встретился на единственном и наверняка последнем свидании. Он вспоминал, как неумело они поцеловались один-единственный раз и как потом одноклассница дулась на него неизвестно за что. Потом она уехала в другой город, а в душе Студента поселилась щемящая грусть. Вот об этой своей щемящей грусти Студент чаще всего и думал. Ему щемяще грустно было думать о своей щемяще грустной грусти.

Когда Повариха сшила себе мягкие бесшумные чужаки, Студент понял, что ему крышка, и решил пожаловаться Чифу.

— А это я перевел тебя на палубу,— сказал Чиф.— Попросил тебя у Деда и перевел в ученики матроса. И знаешь почему? Ты только посмотри на Повариху: на что она стала похожа? Кожа да кости. А ведь наша Повариха до того, как мы вышли в этот рейс, была самой упитанной поварихой во всем бассейне. Да у меня, брат, сердце разрывается от жалости к ней, вон чего. Теперь ты понял?

— Но я не люблю Повариху,— пролепетал Студент, и на глазах у него навернулись слезы.— Я люблю свою невесту, она меня ждет.

Чиф оглушительно расхохотался. Он чуть не выпрыгнул в иллюминатор от смеха. Успокоившись немного, он смахнул слезу и потер руки.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты еще салага и только и умеешь, что целоваться? Будь спок, я об этом знаю. Да об этом весь экипаж знает, кроме Поварихи. Но я попросил всех пока помалкивать, а сам вот выберу момент да и шепну Поварихе, что ты еще салага. Тут уж тебе несдобровать, будь я проклят!

— Спишите меня тогда в первом же порту,— сказал Студент, сглотнув повисший в горле булыжник.— Спишите меня, дяденька! Можете меня посадить даже на Берегу, в любом, какое вам понравится, месте.

— Ну уж нет,— запротестовал Чиф.— Что это ты придумал, брат? Что станется тогда с Поварихой? Нет, лучше ты оставайся здесь и продолжай изучать матросское дело. Я не собираюсь тебя никуда списывать.

Студент всхлипнул. Все было кончено.

— Боюсь только, что мне помешает Третий,— сказал Чиф.— Уж он обязательно влезет туда, куда его не просят влезать. О, это омерзительный человек,— признался он Студенту.— Да это какой-то сумасшедший. Представляешь, он заявил мне такую штуку: я, мол, ни разу не изменил собственной жене. Я, мол, этим горжусь. Хотя я не представляю, чем тут можно гордиться: ну, не изменял бы, если не может,

а то не хочет. Я занялся наведением справок, еще когда мы стояли у стенки, и узнал, что он все деньги переводит жене! Ты представляешь?! Уже тогда я попытался избавиться от него, больно много подозрений он стал мне внушать. Но в кадрах мне сказали, чтобы я не валял дурака и что наш Третий, мол, человек во многих отношениях просто незаменимый. Утром, едва появившись на судне, Третий случайно забрел в каюту к Лева, который показывал Семену слайды с голыми бабами. Как ты знаешь, Лева просит баб позировать ему. Третий включил свет и заявил, чтобы он такую «гадость» больше не видел. Лева сказал, что голая баба не такая уж гадость. Третий плюнул, схватил диапроектор и ка-а-к шваркнул его о переборку! После этого он повернулся к Лева, и заявил, что будет жаловаться капитану и что такие порядки на судне ни к чему хорошему не приведут. Хорош гусь, а?! И что сделал Кэп, как ты думаешь? — Чиф понизил голос. — Он вызвал при Третьем Лева, покопался в рундуке и достал свой новенький японский диапроектор. Принеси-ка мне хотя бы полмешка, если тебе не жалко, сказал он Лева, мне страсть как интересно, что там у тебя получается. Так Третий чуть на переборку не полез.

Чиф захохотал и передвинул лежащий на столе компас. Но потом посерьезнел и нахмурился.

— Я понял, что наше дело гиблое, и двинул к прокурору. Но коль скоро ваш Третий так себя ведет, заявил прокурор, то он ни в чем не виноват. Он действовал в пределах необходимой самообороны. Списать его за такие действия нет никакой возможности. Пусть, мол, Лева взыскивает с Третьего стоимость разбитого проектора, суд разберется, но сам Третий не так уж и виноват, как это может показаться, закончил прокурор, глубоко вздохнув, и покрутил большими пальцами рук один вокруг другого. Вот если бы Третий насыпал в воздухозаборник металлических стружек или вывалил в расходную топливную емкость куль сахарного песку, и от этого поломалась бы машина, — тогда пожалуйста: мы можем его привлечь к ответственности за вредительство.

Чиф сокрушенно вздохнул и покачал головой.

— Дело в том, что Третий до сих пор не догадался высыпать в емкость сахарного песку, а уж о том, чтобы он сунул в воздухозаборник металлических стружек, и мечтать не приходится! Я попытался недавно сам намекнуть ему на то, что он должен сделать. Так Третий вытаращил на меня глаза и сказал, как можно думать, что поршень будет исправно

двигаться в цилиндре, если там полно металлической стружки? Да ведь от этого ломается машина, добавил он. Ну, не дурак ли?! Кто бы мне подсказал, как от него избавиться?

Чиф застонал и схватился за голову. Он также с надеждой посмотрел на Студента, но Студент был в таком состоянии, что не мог придумать даже, как избавиться от Поварихи. Чиф отвел глаза и посмотрел на свои руки.

— Единственная надежда остается на Инженера, хоть он и не проходит по нашему ведомству. Инженер великий человек: сам Вася не брезгает здороваться с ним за руку. У него большие связи, и он обещал что-либо сделать, когда высаживался на Точку. Рейс вдоль Берега такой длинный, — пожаловался Чиф. — Кажется, мы идем уже целую жизнь, а ведь прошло немногим больше месяца, как мы вышли из родной бухты. Скоро пойдет красная рыба, она уже вот-вот должна пойти, со дня на день; нужно будет стрелять нерпу и моржа, заготавливать балыки и шкуры, солить икру, а куда я дену Третьего, скажите, пожалуйста? Ведь он, пока остается на нашем судне, наверняка сунет свой отвратительный длинный нос куда не следует и тогда сорвет нам все наши махинации. Да, тогда пиши пропало!

Чиф скрестил на груди руки и на минуту попытался представить себе то, что произойдет, когда пойдет красная рыба и когда Третий сунет свой нос куда не следует. По коже у него продернуло морозцем, он тряхнул головой, словно отказываясь верить в картину, которая представилась его внутреннему зору.

Рядом с компасом из темного пространства времени, обрамленного металлическим багетиком, светились и мерцали выпуклые сумрачные глаза Командира. Чиф собственноручно срисовал портрет Командира со старой гравюры, помещенной в каком-то учебнике по истории, и, хотя он рисовал будто курица лапой, портрет получился на славу. Непонятно было только то, что все остальные на судне, зная о Командире, не интересовались им ничуть, а Чиф, которому, казалось, это дело тоже должно было быть до лампочки, почему-то воспыал любовью к старому мореплавателю, которого постигла такая странная судьба.

Иногда только Лева заходил к Чифу и по своей неутомимой привычке впитывать все новое и все старое вне зависимости от того, пригодится ли ему это или не пригодится, смотрел на портрет Командира в великой задумчивости. Он понимал, что то, что совершил Командир в свое время, от-

нюдь не является поводом для пламенной к нему благодарности, но есть подлая каверза истории. Если бы такие люди, как Командир, были бы простыми мелководными каботажниками и не ходили бы на плоскодонных корытах дальше баров за устьем Невы, то человечество никогда бы не узнало тот факт, что Земля круглая, и никогда бы не доперло до мысли расщепить ядро, а работы по бионике и кибернетике заглохли бы в самом начале. Да зачем они нужны, эти командиры, павловы, куки, резерфорды, эти так называемые пионеры и авантюристы? Чтобы в тщеславии своем приблизить нас к некоей цели, о которой никто до сих пор ничего не может сказать толком? Сидели бы в своих теплых лужах да плескали бы в воде ногами, а еще лучше — пасли бы овец, те на мясо идут. Но. С другой стороны, если бы не куки и резерфорды, то Семену пришлось бы пить брагу и медовуху? При расцвете технологии он имеет возможность пить чистый спирт, а также различные сорта водок и чач. Повариха предпочитает мохер и мадепалам? Так на же и тебе, Повариха! Инженеру нравятся виды с горы? Получай вертолет. Вот тебе же отличная оптика на карабин, а в придачу вам этот отличный теплоход. Но мне перестали нравиться все эти кокетничающие людишки. Они кричат: «Назад, в тундру! Опростимся, попрощаем, приблизимся к природе». Но в тундру согласны вернуться только на вездеходе и с пушкой на прицепе. Мне же мало радости. Этот Командир был молод и глуп, иначе мог бы представить, чем все это кончится. Естественно, он был тщеславен, конечно, он был самоуверен, наверняка, он был еще и силен — попробуй прорвись на другой край земли! И, самое важное, — был суетлив в своих желаниях! Где сейчас он? То-то же. А я хожу по земле, которую он открыл, и плюю на его следы: вот тебе. Да, остается только посмеяться над людской суетой и глупостью, вот что я хочу сказать в ответ на то, что все называют разумной деятельностью и прогрессом! Ха-ха-ха! И еще раз — ха!

Чиф немного помолчал, осмысливая безвыходность ситуации, и перевел тяжелое дыхание.

— Видишь, я не могу справиться с Третьим, — сказал он Студенту. — Куда там твои никчемные переживания! Я тебе, брат, ничем помочь не смогу: тебе самому придется поломать голову. Тут уж кто кого — или она тебя, или ты ее, другого выхода не вижу. Такова жизнь. А за собой я оставляю право или хранить при себе свой секрет, или выболтать его Поварихе.

Странные часы. Их брак я заметил на третий после покупки день. Сам по себе этот брак не представлял особого интереса, разве что мог быть доказательством нелюбви к делу или неточности в деле. Станным было влияние, которое этот брак на меня оказывал. Чтобы часы не останавливались, мне приходилось постоянно д в и г а т ь с я. Когда я шевелился, работал, был чем-нибудь занят или ходил, часы исправно отмеряли время. Стоило мне забыть про них, задремать у костра, как они останавливались. Но теперь я научился с ними обращаться: ночью подвешивал за нитку на ветку или травинку; чуть заметный ветерок раскачивал их и вращал.

Злости на этот экспонат у меня уже не было, я к нему привык; привык к размеренной работе рук во время ходьбы, привык сидя потряхивать кистью левой руки и все реже всматривался в секундную стрелку; знал, что, пока я двигаюсь, этот хитрый механизм не станет меня подводить и будет добросовестно отсчитывать мгновения.

В этих местах не было возможности приобрести другие часы, да я и не знаю, зачем здесь вообще нужно знать точное время? Здесь, где время испокон веков определяется по положению солнца над горизонтом, по высоте приливов и отливов, по изменению направления ветра, по свежей прохладе утренней тундры, часы не нужны. Да и время, кажется, здесь остановилось. Но подсознательно мне не хотелось отрываться от примет Большой жизни: я отсутствовал здесь, но еще не присутствовал там, вот в чем было дело. Поэтому и тянуло меня взглянуть на циферблат и заметить ни к селу ни к городу положение стрелок то в одном случае, то в другом. Сказывалась еще и привычка привязывать ко времени снимаемые в машинном отделении, где я работал механиком незадолго до того, как уйти с судна, показания приборов, ведь в вахтенный судовой журнал каждая запись вносится строго по часам. На вахте я чувствовал точно не только час, но и минуту.

Так и сроднился я с этим приспособлением, предназначенным для того, чтобы перемалывать в себе мгновения нашей жизни и отбрасывать их туда, откуда еще ничего не возвращалось, кроме воспоминаний, в которые мне и оставалось погружаться во время ходьбы — клиц-кляц, клиц-кляц... О, черт!..

За два месяца я втянулся в мерный ритм ходьбы, сбросил лишний вес, не уставал даже на переходах на большие расстояния, когда ни разу не присаживался отдохнуть.

«На этой дороге тебе вряд ли встретятся непреодолимые

препятствия, дикие звери и лихие люди, — сказал Николай, — но на всякий случай возьми вот это». И он дал мне не то палаш, не то секиру, не то рубило, не знаю, как это называется. А было это выточенное на шлифовальном станке лезвие, скошенное клином к острой стороне, с удобной надежной рукояткой. Весу в нем не меньше трех килограммов, и в походе он давал о себе знать, но в остальном это была удобная вещь. Им не только можно было нарубить хвороста или наколоть дров, но и одним взмахом отсечь от буханки ломоть хлеба, даже вскрыть консервную банку им тоже можно было без особого труда. Кончик лезвия заточен таким образом, что им можно разделать рыбу. Сей меч оставил один молодой человек из тех, кто нигде долго не задерживается, в том числе и на заводе, где можно такое лезвие выточить.

Впрочем, груза у меня было немного: в рюкзаке, спутнике воинствующего племени, кроме белья, верхней одежды да нескольких книг, ничего не было. Это все осталось после пятилетней семейной жизни, после того, как разом был разрублен узел. Слипшийся воедино ком из начинающих подозрений, ненужных, навязанных неведомо кем связей, мелочных настроений и мыслей, которые неизбежно приводят к потере ощущения остроты и неординарности человеческой жизни, наконец, распался.

Теперь — я знаю это! — меня всегда удержит на рискованной грани, на переломе, за которым начнется вольная или невольная сдача выверенных тридцатилетней жизнью позиций, не только образ Капитана Уильямса, но теперь и твой опыт, Огольцов Игорь Ефимович.

Я понимаю свою жену: ей все труднее и труднее стало отказываться от накопления того барахла и недвижимости, в ненужности которых я был уверен. Но, если судить честно, то приучил ее к вещам не кто иной, как я. Когда меня не было в этой загроможденной мебелью квартире, которая звалась человеческим домом, по три-четыре-пять, а то и по шесть месяцев, я должен был быть уверен, что моей жене тепло и уютно, что она не испытывает никакого дискомфорта. Я спохватился поздно, когда эта чуждая поэзии душа уже стала находить в вещах необъяснимую прелесть и потеряла всякое чувство меры. Ей стали нужны еще более ненужные вещи и безделушки, которые, в свою очередь, тащили за собой целый хоровод других ненужных нужных вещей. Кажется, кто-то решил подшутить над людьми и, в качестве приза за обладание ненужными вещами, вручает им уважение друзей и зависть соседей. Как я догадывался, в рассужде-

ниях такого рода не было ничего нового, но мне пришлось это понять на собственном опыте.

Моя семейная жизнь и семейная жизнь моей жены состояла из: прощания на пирсе, длительного рейса, возвращения, короткого, на несколько дней, свидания дома, прощания на пирсе. И отпуска я ухитрялся проводить в море.

«Я до сих пор не могу понять, дорогой, чем ты занят. Можно понять, если бы ты работал и зарабатывал деньги, ибо и то и другое есть часть нашей жизни, но мне неизвестно, чем занята твоя голова. Я не знаю, что еще, кроме моря, в ней есть, хотя ты женился на живой земной женщине. Ты прешь неизвестно куда, выпучив глаза, а ведь ты уже далеко не в романтическом возрасте. Ну, помотаешься ты по морям еще три года, ну, еще пять, десять лет, сначала поседеешь, потом облысеешь, но жизнь-то одна. Опомнись! Я хочу спокойной семейной — вдвоем — жизни, хочу, наконец, родить малыша и думать о его будущем. Но ведь у него не будет отца, подумай об этом, бестолковый!»

С каждым моим возвращением из рейса она становилась все замкнутее, все озлобленнее, дело шло к худшему, но и остановиться я уже не мог. Иногда она просила меня не садиться на этот коврик, без слов забирала из моих рук какую-нибудь безделушку или выдергивала из-под меня нарядный чехол. В своем сознании она уже отделяла меня от всего этого барахла, я становился здесь попросту чужим, становился предметом, цена и ценность которого несопоставима с ценой и ценностью стереофонического магнитофона, купленного на деньги, которые сам же и заработал. Она завела себе отдельную кровать, целый будуар с бахромой и кисточками по краям, и при входе в него я обязательно должен был стучать, все чаще, а в последнее время всегда, не получая никакого отклика. Как выражалась моя Офелия, ты виновен, но в том, что ты виновен, я не виновна. Она пристрастилась к прослушиванию оперетт, старых, как трава, и увлеклась в последнее время чтением. Но читала Офелия не детективы и не современные романы, полные безоглядного оптимизма, непримиримости и веры, а — Флобера! Наморщив лоб, она пыталась проникнуть за линии черных типографских значков куда-то туда, вовнутрь, в тайну, которую они скрывали. Появились у нее и сборники стихов. Однажды я заметил, как она плакала. Это было так неожиданно для меня, привыкшего видеть ее всегда спокойной, даже в те минуты, когда обрушивала на мою голову водопад обвинений, перемежающийся камнями откровенной

грубости. Да ничего, что ты пристал?! Она останавливалась на площадке ночного балкона и не уходила оттуда по часу, замирала над пропастью девятого этажа и — молилась, что ли?

Была моя вина и в том, что не помог ей в то время, не задержался на берегу, не замедлил ритма бесконечной гонки. Красота и острота жизни, которую чувствовал я, от нее ускользала, вернее, не сумела она с чем-то справиться, найти маленькую зацепочку и вытащить себя немного над собой — не нашла свою красоту. Красота больших сумм на сберегательной книжке, которую я иногда открывал, чтобы определить, много ли ее еще осталось до полного признания в среде уважаемых и приличных людей, ее уже не удовлетворяла.

Те милые безделушки, которые я ей привозил из-за тридцати земель — раковины, кораллы, огромную, с ногу, клешню королевского краба, панцирь настоящей галапагосской черепахи, она рассматривала с интересом и... ставила под стекло. Историю приобретения обыкновенного, вкось заточенного карандаша, который я тихо снял с бечевки в маленькой, залитой водой и смертельно пустой каютке яхты, которая принадлежала Капитану Уильямсу, она тоже выслушала со вниманием, как и историю об этом голубоглазом человеке, и вздохнула:

«Но я не понимаю, зачем это все нужно: одиночные плавания, гонки вокруг белого света по океану,— ради чего, каковы результаты, если опустить все эти рекорды? Ведь бессмысленно, не правда ли, бесполезно?»

Я смешался тогда, хотя знал, что ответить, побоялся, что она не поймет. А теперь думаю, что ответить нужно было.

Как мне стало известно, пустоты в природе не существует, и тот молодой нахал с черной бородкой и при галстукке, который мне попадался неподалеку от нашего дома, а один раз даже в подъезде нашего дома, имел более веские основания поглядывать на меня с иронической улыбкой. Что ж, я сам допустил, чтобы пустота эта заполнилась не мной. Отвратительна была сама мысль сводить с Офелией счеты, подкарауливать ее и ловить с поличным. Может быть, это не легкий флирт от нечего делать, а более серьезное чувство, и я тут не к месту?

В тот последний день она встретила меня как никогда настороженно и отчужденно. Я заметил ее собранность и внутреннюю напряженность и понял, что и ей уже невыно-

сима та атмосфера неопределенности, которая над нами повисла: выбор казался неизбежным. В общем-то я постарался взять на себя самую тяжелую часть необходимого решения.

«Я все понимаю, Офелия, не стоит лишний раз выплескивать всю горечь недоразумений. Подожди несколько минут, я схожу за бутылочкой коньяка и мы с тобой кое-что повспоминаем, правда?»

...Я рассказал ей, как мы познакомились, как молоденькая студентка сбегала на свидания с лекций и как ее ожидал в скверике напротив выхода в порт, там, где стоят в самом начале аллеи два огромных якоря,— памятник первооткрывателям,— морячок дальнего плавания. Она слушала с непониманием, явно написанным на ее лице, перебивала сначала мой рассказ саркастическими замечаниями и поправками, из чего я заключил, что ту, давнюю историю, она помнит во многом лучше меня и, как ни странно, с более тонкими и полузабытыми мной подробностями. Но остановить меня она не сумела, и когда я рассказал, как много хорошего было в начале нашей совместной жизни, она растерянно замолчала. Потом покорила этой истории, похожей на сказку, которая произошла неизвестно с кем и неизвестно когда. Да и коньяк сделал свое дело: она расплакалась, захлюпала носом, стало жаль этой красивой сказки.

Процедура развода требовала некоторого времени, и, вернувшись из очередного рейса, я дал отпускную теперь уже не моей Офелии,— да теперь уже, наверное, и не Офелии,— отпускную вместе с вещами и квартирой. Она казалась настороженной, даже ожесточенной, будто собиралась отомстить мне за те байки, которыми я накормил ее в последнюю нашу встречу. Но, к ее чести, а может, она уже стала меняться,— удержалась, оставшись на холодной высоте, и не испортила последнего свидания визгливыми обвинениями и упреками.

С этим периодом моей жизни было покончено. И что же изменилось? Ничего, пожалуй,— все те же рейсы, все то же море, которое никогда не надоедает и которое никогда не бывает одинаковым, только вот на берегу меня никто не ждал, я не имею в виду Николая. Продолжалось это все до того дня, когда я вынужден был покинуть судно и оставить море.

«У тебя здоровые, жизнерадостные дети, веселая и неунывающая жена. Тебе повезло, Коля, факт. Не со всеми случается то, что случилось у нас с Офелией. Рифов в семейной

жизни хоть отбавляй, их нужно суметь обойти. Вот ты умеешь, да и Наталка твоя тоже, и вам еще раз повезло, если умеете». — «Да ничего, старина, ничего. На самом деле, посмотри: мы живем, питаюсь, так сказать, друг другом и той работой, которую мы здесь проводим. У нас есть самое необходимое, не больше, ведь мы договорились с Наталкой избегать этой ловушки — накопления. Живем мобильно, в любую минуту можем собраться и уехать, а времени на то, чтобы читать, слушать музыку, — а она еще и певунья такая, ты же слышал! — хватает с избытком. Да и место, откровенно, для души. Нравится здесь. Никуда не хотим уезжать ни я, ни мои три частицы. Посмотри сам. Это случилось, когда господь бог, высунув от усердия язык и лоб наморщив, лепил из остывающей тверди мощные рельефы материков. Шмат тверди выскользнул у него между пальцев и упал в уже сотворенный океан. Когда работяга отвлекся и хотел водрузить этот упавший кусок на место, то у него ничего не получилось — тот намертво спаялся с дном океана. А что, подумал господь, вовсе неплохо получилось. Ну, с богом — пусть так и остается...»

...Так и топал я неустомимо по песчаной косе вдоль линии воды, посматривал наверх, чтобы бакланы, сидящие в гнездах на уступах близко подступивших к морю скал, не свалили мне на голову камень или даже целую лавину, что у них иногда неплохо получается. Страдал от них я пока не очень: стряхивал с куртки и капюшона белые брызги так называемого гуано, да успевал уворачиваться от выстрелов с таким зарядом. Метрах в двухстах от берега среди выступающих из воды камней торчали головы нерп, так же, как и камни, поблескивающие на солнце. Некоторые нерпы лежали на камнях побольше и, завидев меня, неохотно плюхались в воду и отплывали.

Расстояния уже не обманывали меня, как прежде, я знал, что от речки, к которой я сейчас подходил, и до следующей, которая виднелась вдалеке, подернутая голубоватой маревой дымкой, было не меньше пятнадцати километров. На схемке, которую мне набросал Николай, значилась еще и третья, которую нужно будет переходить в верховьях, по броду, а там и заброшенный поселок, куда и держал я путь, на том самом низком плато, зубом выдающемся в море, и до которого уж всего километров тридцать.

Торопиться мне было некуда. Это последнее путешествие я затеял с целью неторопливо пройти по западному берегу и попрощаться с полюбившейся землей, в последний раз

посмотреть на горы с их подножия, посидеть на берегу ручья у костра, подумать. Николай предлагал домчать меня на моторке, с комфортом доставить на тракторной тележке или еще более неторопливо — на яхте. Но, спасибо, товарищ, напоследок дай мне насладиться одиночеством.

Еще шел прилив, устье ручья захлестывалось прибоем, волна прибоя двигалась вверх по течению, до самых камней на перекате, за култуком. Я поднялся немного выше в долину, нашел старое кострище в невысоком леске, у самой воды. Кострище было прошлогоднее, сквозь него проросла яркая желто-зеленая трава, я разгреб его и соорудил свой костерок, на котором скоро закипел в жестянке крепкий чай по специальному рецепту Николая. Мимо меня против течения валила рыба — начался, насколько я понял, ход лосося. Между деревьями, в култуке, видно было, как выпрыгивала над водой рыба, убегая от атаковавшей култук нерпы. Волны в заводи ходили во все стороны, казалось, култук дышал. Приладив блесну, я вытащил на подсек пару рыбин, разделал и бросил в жестянку с водой — на уху.

Тихое это место, дым костра, стелющийся над поймой, плеск воды незаметно покорили меня. Опять появилось знакомое и драгоценное чувство, которое я определил бы как «чувство текущей воды», и которое настраивает на размышление, на несуетный и откровенный разговор с самим собой.

Мне снова пришлось задуматься о тебе, Огольцов Игорь Ефимович, чью могилу неподалеку от морского берега на краю низенького и пологого обрыва тундровой плоскости, могилу с простым конусообразным памятником из бетона, я долго еще мог видеть, удаляясь по береговой косе все дальше и дальше на север. Эта могила и этот памятник расположены рядом с другой могилой и другим памятником, точно таким же, как и на твоей могиле, и где похоронен своим же братом строителем один из участников строительной экспедиции, погибший под опрокинувшимся в котлован трактором. На цоколе этого памятника выдавлены в бетоне имя, годы рождения и смерти, а на твоём нет никакой надписи. Адреса на том письме, которое лежит у Николая в папке с особыми бумагами, не было и поэтому твоей матери не смогли послать извещения о смерти. Сам ты никому и никогда не писал писем и ни от кого и никогда писем не получал, кроме того, единственного, которое нашло тебя на шестой год после твоего приезда сюда. Я знаю содержание этого единственного письма, знаю, почему ты похоронен не в том месте, где ты нашел смерть и где тебя, до

того как успели найти, тронули зверье и тление, а здесь, на берегу, куда впервые высаживаются новые обитатели дома на тундре. И с горечью и болью принимаю ту закономерность, которая привела тебя под этот конус из бетона. Удаляясь по береговой косе на север, я оглядывался до тех пор, пока острые пики памятников не исчезли, не растворились в наползающем тумане, **НО СМУТНАЯ УГРОЗА КОТОРАЯ ПОСЕЛИЛАСЬ В ДУШЕ ПОДСОЗНАТЕЛЬНАЯ ТРЕВОГА ЗА ПЕСОК ПО КОТОРОМУ СТУПАЛ ЗА МОРЕ ГОРЫ И ЗА СВОЮ НЕПРОЧНУЮ ОБОЛОЧКУ ЗА СВОЮ НЕВЕЧНУЮ ДУШУ НАЧАЛИ МУЧИТЬ МЕНЯ ВСЕ СИЛЬНЕЕ** ИСТОЧНИК ЭТОЙ УГРОЗЫ ЭТОЙ ТРЕВОГИ Я НЕ МОГ ОПРЕДЕЛИТЬ ДАЖЕ ПРИВЫКНУВ ОТДАВАТЬ СЕБЕ ОТЧЕТ В ЛЮБОМ ДЕЙСТВИИ И ЛЮБОЙ МЫСЛИ УГРОЗА ЭТА МОГЛА ИСХОДИТЬ И ОТ МЕНЯ САМОГО И ОТ ЛЮДЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ ОТ МЕНЯ НА СОТНИ И ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ОТ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ ОНА ТАИЛАСЬ В НОЧИ УГРОЗА ОНА ВИСЕЛА НАД ГОЛОВОЙ НЕВИДИМЫМ ЦВЕТКОМ КАКОЕ ЖЕ ИМЯ У ЭТОЙ УГРОЗЫ КОГДА О НЕЙ ВСПОМИНАЕШЬ СЛАБЕЮТ РУКИ **НО НЕЛЬЗЯ НЕЛЬЗЯ** и продолжал думать о тебе.

Известны были и твои имя и фамилия, и даты рождения и смерти, и эти данные сначала хотели выбить зубилом на медной пластинке, чтобы прикрепить ее сразу же на цоколь памятника. По преданиям, сказал Николай, в ту минуту не подвернулось под руку подходящего зубила, исполнение задуманного отложили на потом, а потом привыкли к виду памятника безо всякой таблички. Смешно ли, грустно ли, но человек исчезает из памяти без следа по той простой и житейски объяснимой причине, что не нашлось в нужную минуту хорошо заточенного зубила. Может быть, кого-нибудь и посещало чувство недоделанного хорошо дела, но и это прошло, старина. После того как я узнал об этой истории, я сам собрался сделать такую пластинку и прибить ее к памятнику, но остановился. Черт знает почему, но мне пришла в голову мысль, что смерть Огольцова Игоря Ефимовича есть естественное продолжение его жизни, итог, оправданный и закономерный. Ты понимаешь, о чем я, старик? Памятник

А мне теперь странно иногда делается, когда я произношу или вслух или про себя: моя жизнь теперь будет продолжаться под знаком твоей смерти, твоею смертью я буду настораживать свои мысли и поступки. А имя твое я отныне произношу полностью — Огольцов Игорь Ефимович, —

будто таблица та, ненаписанная, висит перед глазами. Я буду произносить твое имя полностью, будто у меня болит за тебя сердце и я сам, по своей воле, хочу сохранить кроме памятника на берегу и рассказа еще и размытый временем твой облик.

Оба дружка, конечно, уже сидели в скверике и наслаждались закусью и кое-чем по-мелочи, что лежало перед ними на расстеленной прямо на траве газете.

— Ага,— приветствовали они появившегося Студента.— Наконец и ты!

— Ребята! — Студент перевел дух.— Если здесь появится Повариха, вы меня не отдавайте...

— С какой стати.— Лева пожал плечами.— Когда кончим, можешь опять убегать, рассекая воздух, если это тебе так нравится. Но мне сдается, все это может продолжаться до бесконечности: какая-то детская игра в убегайки-догоняйки. Прямо зла на тебя не хватает, Студент.

— Смотреть на него тошно,— подтвердил Семен.— Из мыльного пузыря делает проблему.

Для самого Семена, в общем, проблем, кроме Кэпа, не существовало. С того периода жизни, который называется розовым, Семен уже отличал по цвету и рисунку водочные этикетки от винных. Отец, сам доживающий последние дни после операции на желудке, на две трети сожженном алко-голем, смог ему посоветовать только следующее: никогда, сын мой Сеня, не пей на голодный желудок, а во-вторых, не запивай водку ничем, кроме водки же. В-третьих, не пей сразу две бутылки подряд — дай сначала улечься в желудке первой, но, в-четвертых, пятых и остальных — никогда не чувствуй себя обделенным, и ты, до того как окочуриться, сумеешь выпить на несколько тонн водки больше своего незадачливого предка.

С той поры Семен и никогда не чувствовал себя обделенным: зарплаты хватало.

Так вот о Кэпе. Однажды Кэп ни за что ни про что обидел Дневальную, не пустив ту на берег в увольнение в то время, когда ей это позарез было нужно. Дневальная подговорила Семена съесть знаменитый кэпов графин с вензелями, который был приобретен в Гонконге по сходной цене, и дело было сделано: Семен в присутствии большей части экипажа сжевал графин в столовой во время обеда и даже почмокал от удовольствия, тогда как у остальных кусок не лез в горло. Узнав

об этом, Кэп лишился чувств, и Повариха ввела ему лошадиную дозу противогриппозной сыворотки, отчего очнувшийся Кэп опять упал и лежал до тех пор, пока не придумал, как избавиться от Семена. Мстить он придумал такую, что страшнее ее ничего, кроме ВЕТРА, до сих пор придумано не было. Мысль о ней подсказал ему Амбарщик. Кэп искал Семена по всем закоулкам, а найдя, предлагал сыграть в очко на высадку. Если бы Семен выигрывал, Кэп, по его словам, прощал бы Семену сон на работе или любые другие шалости, но не нашелся еще ни один человек, который бы мог обыграть Кэпа в очко, даже мухлюя на каждой сдаче, потому что лучше Кэпа в очко никто не мухлевал, и тогда Кэп объявлял Семену выговор или два, в зависимости от настроения. Потом прятал карты и вроде бы собирался уходить, но возвращался и снова делал вид, что раздумывает, садился напротив приунывшего Семена, доставал снова колоду и, сделав вид, будто сжалился над Семеном, предлагал ему реванш и обыгрывал еще и еще. Потом, подбив бабки, объявлял Семену, что сегодня до обеда тот заработал столько-то замечаний и столько-то выговоров, и предлагал зайти после обеда — доиграть, на каковую уловку Семен уже старался не попадаться. Он начинал прятаться еще более старательно, не хуже Студента, но, в отличие от Студента, которому в тундре сделать это было много легче, на судне становилось все меньше и меньше укромных уголков, неизвестных Кэпу.

...Произошло это после того, как Амбарщик шепнул Кэпу, что ВЕТЕР уже собирается, что он уже набирает силу и разгоняется для главного своего удара. Кэп прибежал в рубку, включил трансляцию и, заикаясь от страха, рассказал всем, что Амбарщик вычитал — или где-то услышал, — что в природе есть такой ВЕТЕР, против которого бессильны не только десятиметровые стены из бетона, но и даже сам Амбарщик бессилен, вон чего. Этот ВЕТЕР таится до поры до времени в складках местности, спит на высоких холодных горах, зреет в пучине морской, а когда созреет, то нет от него спасу. Он выкорчевывает и забрасывает в тридцатое царство исполинские секвойи, он поднимает человека к самым облакам и бросает его оттуда оземь, он заглаживает ямы на месте унесенных неведомо куда городов, а то, что будет находиться вблизи эпицентра ВЕТРА, вообще может превратиться в легкий, невидимый невооруженным глазом эфир. Что будет с нашим судном? — заикался Кэп. Да оно будет заброшено на какую-нибудь безжизненную планету, где и моря как такового нет, так, одни кратеры и пыль.

Услышав это, Лева вздрогнул и сел на палубу, ведь записку с бреднями насчет ВЕТРА, написанную на английском языке, чтобы Амбарщик смог ее прочитать, подбросил ему не кто иной, как Лева. Шутка обернулась большими неприятностями для Левы: ведь на той планете, куда их забросит ВЕТЕР, ничего нет. Когда в топливных емкостях иссякнет горючее для костров, а в кондейке опустеют все полки, им попросту придется подыхать с голоду и холоду. Чего доброго, Амбарщик придумает, что они должны питаться с Кэпом самим экипажем, и первым в кастрюлю пойдет Лева. Лева передернулся от отвращения, вспомнив Кэпову рожу, и решил не идти к нему и не объяснять, что Амбарщикова болтовня есть не что иное, как его, Левы, шутка. Уж я как-нибудь не пропаду, прикинул он, меня голыми руками не возьмешь, дудки! Я и на пустой планете приспособлюсь.

Так вот, после речи Кэпа все стали ожидать ВЕТРА, и частенько посматривали на горизонт, не собираются ли тучи, и наверх, не скрыли ли облака луну и звезды. Ожидание это было томительным — ВЕТРА все не было и не было, а людей обступили куда более важные заботы, например, Третий.

Когда судно неторопливо отмеряло мили в ночном океане неподалеку от Берега, неожиданно умолк главный двигатель, и судно плавно закачалось на волне, замедляя ход, пока не остановилось совсем. Плеск воды о борт, который доселе не был слышен в каютах из-за шума механизмов, ворвался в иллюминаторы, будто вода плескалась у самых ушей. Чиф распахнул дверь каюты и столкнулся со смертельно перепуганным Дедом.

— Что случилось? — с надеждой вскрикнул Чиф. — Кто-то насыпал в топливную емкость сахарного песка?!

В оглушающей тишине его крик показался Деду предвестником пожара, зияющей ниже ватерлинии пробоины, взрыва в машинном отделении, столкновения с газовозом, моретряса, начала вулканической деятельности под самым килем судна.

— Что?! — прошептал он побелевшими губами и схватился за сердце. — Неужели ВЕТЕР?! Мы уже на другой планете?! Или ВЕТЕР только к нам подбирается? — Он прислушался к плеску воды за бортом. — О, море! Мы тонем, нужно спускать шлюпки?

— Разве мы тонем? — Чиф обессиленно оперся о переборку. — Тогда я объявляю общесудовую тревогу, нужно спасать людей.

— Общесудовая тревога! — заревел пробегающий мимо Лева, который услышал негромкие слова Чифа. — Обще-

судовая тревога!!! Бросайся к шлюпкам, кого еще не унесло к чертовой бабушке!!!! ВЕТЕР!!!!!!

Паника темным шквалом пронеслась по судну. Люди выскакивали полуголыми, сталкивались в неосвещенных переходах, отталкивали друг друга от ступенек трапа, ведущего к шлюпкам.

На них шел, ошетилившийся колючими штыками, со всплеском знамен, обрушивающий вниз и влекущий в своем туловище целые скалы, поднимающий волну до облаков, изрыгающий молнии и потрясающий воображение грохот, ВЕТЕР!

Кэп спросонья отпихнул прядающую ушами Дырку, рванул на себя дверцу сейфа, выгреб оттуда десятка два колод карт и рассовал их по карманам. Он схватил было приготовленный заранее рюкзак с продуктами и спиртным, но тут взгляд его упал на освещенную звездами копошащуюся под ногами Дырку. После короткого замешательства, когда разбуженная Дырка бестолково прыгала вокруг него, будто бы заранее радуясь новой игре, которую затеял ее хозяин, Кэп издал ужасное проклятие и попытался подхватить Дырку под другую руку, но ему стало неудобно, и тогда он с еще более ужасным проклятием отшвырнул рюкзак и подхватил Дырку. Дверь за ним сначала закрылась, потом открылась.

Амбарщик, позевывая, вышел из спальни Кэпа и прислушался к воплям Левы. Рука его инстинктивно метнулась к заднему карману, но, нащупав то, что нужно, безмятежно повисла вдоль бедра.

Прекратил панику вопрос Семена, которого сбила баулами и саквояжами, набитыми тряпьем, несущаяся во весь опор по коридору в поисках забившегося под трап Студента Повариха.

— Студентик! — верещала она. — Студентик!!!

— Семен, Семен!!! — эхом отозвался ей Лева, уже занявший место в спасательной шлюпке. — Где ты, Семен, беги сюда, я припас тебе место. Опоздавшему — кость!

Семен поднялся в кромешной темноте с палубы и задал удаляющейся Поварихиной спине вопрос:

— Нет ли у тебя, Повариха, огурцов? — Он недовольно поморщился и пробормотал: — О! Какой шум! Это отчего?

Ответила ему вихрем промчавшаяся мимо Дневальная.

— ВЕТЕР! Мы тонем, потому что у нас остановился главный двигатель!

Семен почесал в затылке и решил, что он-то, во всяком

случае, не тонет и что ему виднее, почему остановился главный двигатель, раз вахтенным в машинном отделении был он сам.

Оказалось, что измотанный бессонницей Семен, которого преследовал Кэп в надежде сжить с белого света за графин, не имея возможности вздремнуть и пары минут, упал и уснул прямо на вахте, положив, по обычаю, большую судовую наковальню под голову. Он спал некоторое время безмятежным сном младенца, потом в мозг его стал проникать некий посторонний звук, нудливый и дребезжащий, и это оказался звук работающей машины. Не долго думая, Семен встал и врубил аварийный стоп, а для верности еще и перекрыл вентиль на трубопроводе, чтоб не поступала горючка. Уснуть снова ему не удалось из-за жажды и ломоты в костях, а тут еще сверху стали проникать какие-то шумы и визги.

За эту непредвиденную остановку Кэп пообещал выхлопотать Чифу строгий выговор с занесением в личное дело, а обескураженному Чифу ничего не оставалось, как вызвать Повариху и попросить ее не кормить Семена до тех пор, пока он не исправится.

Сам же Семен, поразмыслив, пришел к зрелому выводу, что во всем этом виноват Третий, но побоялся выпалить это ему прямо в лицо. Кормился он подачками Левы, да тем, что бросала ему тайком Дневальная, которую грыз стыд за то, что она не сумела отпроситься у Кэпа на Берег во второй раз.

Семен полюбил сидение на кнехте в то время, когда остальной экипаж, кроме Студента, трапезничает. Так они и сидели рядышком, погруженные каждый в свои индивидуальные мысли. Семен стал замечать, что от этих мыслей у него ощутимо пухнет голова, чего с ним отроду не бывало, и начал опасаться, как бы у него не появилось ненароком в результате такой непривычной деятельности пары совершенно ненужных извилин в мозгу. Не приходилось сомневаться, что во всем этом была видна рука Третьего, достаточно было вспомнить, как Третий заявился к Кэпу и выпалил тому прямо в лицо, что те методы, которые насаждаются в отношениях с экипажем, в частности, с Семеном, ни к чему хорошему не приведут и что пора, мол, начинать жить по-новому. Кэп расхохотался, а потом позвал Чифа для того, чтобы посмеяться над Третьим вместе.

— Ты, Третий, прикидываешься дурачком. Скажи лучше, чего ты добиваешься, и я обещаю тебя внимательно выслу-

шать. Мы могли бы неплохо поладить. Ты говоришь «нет»? Ты мухлюешь, берегись!

...Тут сердце у Студента оборвалось. К ним, петляя между жиденькими стволами деревьев, неслась на мотоцикле с коляской торжествующая Повариха. Птицей слетев с сиденья, она схватила в объятия Студента и впилась страстным взором в его лицо.

— Только не здесь,— категорически запротестовал Лева.— Только не здесь!

— А я вот вчера не испугался вашего Третьего,— похвастал он, разлегшись на траве.— Вернее, я его почти не испугался. То есть я хочу сказать, что немного струхнул. Ну, да,— он кивнул головой, припоминая обстоятельства встречи,— я испугался, как заяц. Да я был просто в ужасе. У меня, если вспомнить хорошенько, затряслись и руки и ноги. Да меня чуть кондрат не хватил. Я иду. Вдруг навстречу — Третий! Он шел, задержав на мне свой идиотский, паршивый, никудышный взгляд, и на лице его будто даже застыло недоумение: с какой это стати я попался ему на дороге? У меня отнялись и руки и ноги, и я готов был уже потерять сознание, но тут вспомнил, что еще могу спастись, если придумаю одну штуку. Я схватил с земли какую-то палочку и мигом очертил вокруг себя немного неправильную — волновался! — окружность. «Стой! — крикнул я.— Если ты ступишь за черту этого круга, ты попадешь в антимир, в антивселенную, набитую отрицательными зарядами и античастицами!» Он затормозил и сдал немного назад. «Если ты ступишь за эту черту,— уже более спокойно предупредил его я,— то ты попросту аннигилируешься, превратишься в эфир или зефир или черт тебя знает во что. Тут тебе не климат, можешь мне поверить. И катись-ка ты куда катился, а меня не трогай, свинячий потрох!» Он посмотрел на меня с каким-то интересом и — как оно называется — забыл! — состраданием, что ли? Он на меня посмотрел, измерил взглядом, будто с невесть какой тварью приходится иметь дело, будто за мной много всякого, тьма грехов вроде нечистой совести, кривых зубов, бегающих глаз и убийства невинного человека. Он остороженько обошел мое сочинение и удалился. Бррр! Я до сих пор, с самого вчерашнего дня помню его улыбочку...

— А что дальше? — у Поварихи вместе с париком стояли волосы.

— Я бы торчал за этой чертой до скончания века, как какой-нибудь пенек горелый, потому что мне уж никак нель-

зя было выйти наружу: я бы аннигилировался, точно так же, как мог аннигилироваться Третий, взбреди ему в голову ступить ко мне в круг.

Семен, разинув рот, смотрел во все глаза на Лева, будто только сейчас сумел разглядеть за этим морщинистым лбом и глазами, как бы сжеванными в стиральной машинке, величайший мозг современности, мозг ученого и аналитика.

— Но я нашел выход,— успокоил присутствующих Лева,— не такой уж я лопух, как вам может показаться. Прикинув и так и этак, я решил, что помочь мне может только переходной тамбур, вроде декомпрессионной камеры, где должно было уравниваться давление и антидавление, немного подождал, открыл калиточку и понесся мелкими скачками прочь.

— Сумасшедший! — взвизгнула Повариха.— Третий сумасшедший. Вот увидите, он еще даст копоты, уж он-то нам устроит Варфоломеевскую ночь. Еще до того, как придет ВЕТЕР, он сведет нас всех в могилу!!!

— Я все думаю,— задумчиво произнес Лева,— что во всем том, что случилось вчера, таится глубокий смысл. Жизнь есть хитрая и подлая штука: она нас помещает не в те миры, в которых мы бы хотели существовать с самого дня рождения, она меняет нас местами в этих мирах и тасует, как колоду Кэповых карт. Теперь же, когда я, например, захотел поменяться с Третьим местами, то получается, что мы можем исчезнуть, едва только вступив ногой в мир другого, мы превращаемся в Ничто. Эрго: мы должны оставаться в своих мирах и не рыпаться в чужие.

Жгли книги. Наташа, напевая про себя, писала названия их на отдельный листок. Горели книги, старые, зачитанные до последней ветхости, без обложек, начал и концов, и не читанные, вероятно, ни разу — в тяжелых обложках коричневого цвета. Брошюры издания чуть ли не сорокалетней давности, старые, скрученные и потускневшие журналы. Николай складывал кучки у костра и подбрасывал в огонь то одну книгу, то другую.

«Стоят, мозолят глаза,— сказал он.— Никто их и в руки не берет. Будто инкунабулы какие, хотя они еще не заработали ни ветхости, ни ценности инкунабул. Вот Наталья накопила на них зло и решила списать. Библиотека у нас невелика, ее можно прочитать за год. Пополняется она и из конторы, и с судов, а чаще всего оставляют уезжающие

отсюда люди. За те годы, что они здесь проводили, было прочитано много книг, и, естественно, из тех библиотек, которые у них были, осталось несколько книг. Так бывает, когда в пути не выбрасываешь котелок из рюкзака, хотя он и ощутимо весит, тем не менее — нужен, а та часть библиотеки, которая осталась, на весах бытия стала тянуть весьма ощутимо».

Я читал названия: «О болях в сердце», «О вреде курения», «Правильный русский литературный язык», биографии великих людей. Растрепанные, без названий, книги сгорали быстро, а толстые обложки нечитанных коробились, выгибались, неохотно обгорали по краям.

Николай сосредоточенно подгрёбал палочкой, продолжал говорить:

— Когда мне предложили принять эту должность, я загорелся. Наше начальство склонялось к тому, что нужны решительные меры, чтобы изменить здесь обстановку. А эксцессы случались тут чаще, чем на других объектах, уж такой он был невезучий. Кадры менялись часто, командный состав тоже не закреплялся. Вот вам инструкции и директивы, сказали мне, езжайте и начинайте. Сверх того, мы даем вам возможность действовать и решительно, намекнули, не по инструкциям. В частности, вам предоставляется право по своему усмотрению производить отсев личного состава из тех, кто будет мутить воду; мы поддержим. Разговор был начистоту, мне доверяли и на меня рассчитывали. Сперва мы начали с самого объекта, ибо в условиях отдаленного от всего мира общего жилища нужно было подготовиться к длинной зимовке, исключить возможность выхода из строя аппаратуры и механизмов. В течение трех напряженных месяцев были приведены в порядок захламленная территория, даже высажены деревья, и отремонтированы, насколько это оказалось возможным, все механизмы. Присматривались ко мне, присматривался и я, не все нравилось им и не все нравилось мне. Знаем, знаем, как бы говорили мне, новая метла по-новому метет, вот посмотрим, что будет дальше. Тут перебивало до тебя знаешь сколько? Старики из тех, кто знал только работу, откровенно усмехались: жили они всегда по принципу: «свое дело сделал, а остальное мне до лампочки» — и не собирались отступать и передо мной. Выход я видел в закреплении традиций, настоящих традиций взаимовыручки и общности людей, могущей противостоять случайным противотечениям и воспитывать во всех членах маленького нашего коллектива чувство стойкости.

Я имею в виду стойкость не только перед одиночеством, непогодой — перед жизнью! Перед жизнью, которая может сломать человека слабого и без царя в голове. Теперь, когда основные работы были сделаны, предстояло вплотную заняться организацией этого разобщенного братства. Публика сюда попадает разная, есть люди, которые вырабатывают в спокойной обстановке пенсию, есть молодые романтики, есть и поклонники Маммоны. Нельзя было лишать их той цели, ради которой каждый здесь оказался, но нужно было слепить из них одно целое. Такое противоречие требовало разрешения, которое могло устроить всех, не нарушая, естественно, общих интересов, и интересов нашего начальства, то бишь обеспечить бесперебойную работу аппаратуры. Введен был четкий график вахт и работ, на деле стал проводиться в жизнь также и распорядок дня. По качеству и количеству работы ставились оценки в баллах. Когда набирался известный ценз, специалист имел право провести несколько дней, а то и недель по своему усмотрению: то на речке, то на охоте или рыбалке или просто провести с ночевкой время где-нибудь в тундре, занимаясь фото- или киносъемкой, есть у нас и такие! Теперь каждый знал свое дело и был заинтересован, чтобы получить наибольшую оценку, а она, кроме всего прочего, удваивалась, если человек, сделав свою работу, в личное время помогал и другому. Завели мы и традицию проводить время вместе: обсуждали фильм или прочитанную книгу, оборудовали кают-компанию, где в свободные зимние вечера происходили бильярдные турниры и шахматные баталии. Скоро такие вечера стали необходимостью, люди стали чаще бывать вместе, научились сдерживаться в то время, когда месяц метет изматывающая нервы пурга или насаждает мороз. Так как никто не состоял в обществе трезвенников, приходилось организовывать и праздники, дни рождения, отмечать юбилейные даты. Все решения, заранее обговоренные техническим и бытовым советом, принимались сообща: каждый имел веское слово в обсуждении и каждый мог повлиять на решение. Обсуждались также и каждый проступок, или халатность, или ошибка; а это дисциплинировало людей, заставляло их относиться к работе и к соседу с тщательностью и вниманием. Так прошла первая зимовка. Мне самому пришлось много работать со всеми наравне, ибо авторитет от того, что я делал ту же работу, что и все, в этих местах не падает, скорее наоборот; нужно только знать и свое дело так же, как знают свое дело остальные, и при этом еще и обладать качествами и талантами админист-

ратора, если так можно сказать о себе. Летом приехало несколько новых человек, а несколько «старичков» уехало. Кажется бы, можно было и их, новых, привлечь к себе, тем более что сделать это можно было ненавязчиво — сама атмосфера предполагала уважение к новичкам, соблюдение их интересов и гостеприимство. Но с ними и получилась осечка. Они не присутствовали в то время, когда строился наш коллектив, для них такие отношения, какие сложились у нас в течение года, оказались удобными для своих целей. Один из новичков устроился в Госпромхоз добывать морского зверя и пушнину зимой, у него была своя моторная лодка и моторта. Все свободное время он должен был проводить на охоте и, естественно, выпал из союза. Так как ему не светило работать в свободное время и по роду деятельности приходилось все время оставлять дом на тундре и так как ему трудно было управляться одному, он сманил одного из молодых. По правилам, он пользовался всеми правами нашего общества, но обязанностей сторонился. Чтобы закрепиться, он стал использовать свое положение моторизованного добытчика, приобрел вес различными мелкими услугами, которые оказывал то одному, то другому, и постепенно начал расшатывать сложившийся порядок, менять его в свою пользу. У него появилось несколько товарищей: автоматически образовалось две группы, одна из них придерживалась, так сказать, начального курса, помнила традиции, другая группа блюла собственный интерес. Однажды я потолковал с глазу на глаз с этим товарищем, объяснил ему обстановку и спросил, возможны ли с его стороны какие-либо уступки.

«Отчего же, — сказал он, — возможны. При условии, если уступки последуют и от тебя. Я приехал сюда, чтобы заработать. Если ты перестанешь обращать внимание на то, что я делаю после работы, то мы можем сговориться».

«Ни в коем случае, — ответил я. — Почему я должен ставить тебя в привилегированное положение, когда все мы живем общим делом».

«Вот видишь, начальник, как у всех у меня не получается: дай мне возможность после работы делать свое дело со всей отдачей. Я хочу иметь в жизни собственный интерес, хобби, если хочешь. Я уважаю проделанную работу, и мне не хотелось мешать тебе, но как в этом коллективе: отнесутся ли с уважением к моим потребностям, к моим желаниям? Ты сам знаешь, что мое хозяйство в порядке. Мне достаточно и десяти минут, чтобы проверить его и произвести небольшую

профилактику, остальное время я должен быть, по теории, свободным».

«Нет, твой пример действует заразительно. Нельзя, чтобы опять начался разброд. Ты должен уехать, в других местах тебе больше повезет».

«А я не хочу, — с силой произнес он, — я не хочу уезжать. Попробуй меня отсюда выживи! Я уже не малыш, чтобы меня воспитывали в детском саду и разучивали со мной простенькие тексты. Ты не задумывался над тем, что мне хорошо и здесь, и никуда я не собираюсь уезжать. Ответь мне на один вопрос, начальник: имею ли я простое человеческое право добиваться собственными руками своей собственной цели, не затрагивая при этом интересов других и не преступая законов?»

Мне пришлось признать, что да.

«Тогда что ты съешься ко мне со своей коммуной? У вас готовят обеды по очереди, вы вместе заготавливаете грибы и рыбу и, кажется, вполне этим довольны. Ну, и с богом! Но я-то хочу жить не так! Значит, уважьте и меня».

И в заключение он мне сказал одну вещь. Сказал тихим, остывшим от ярости голосом, за которым мне увиделась трудная судьба, но и закаленная убеждением стойкость.

«Слушай, Коля, раз вы собрались до кучи и наладили такой распрекрасный образ жизни, то вам и нужно думать, как дальше кучей жить, это я все понимаю. Я также понимаю, что ты на этом разговоре не остановишься, в тебе есть упрямство и сила воли, а я такие качества уважаю. И вот что у нас получается: ты постараешься избавиться от меня из соображений, как тебе кажется, высшего порядка, ибо есть, должна быть в природе Цель, которой нужно подчинить разобщающуюся Вселенную. А я со своим желанием построить счастье окажусь, так сказать, за бортом. Но я не из тех, кто легко сдастся. У меня отца убили на фронте, и мне одному пришлось поднимать семью из двух сестер и больной матери. Понимаешь, мы станем воевать, другого выхода не остается».

«Значит, драться?»

«Значит, драться».

Оказалось, его действительно не так легко было списать. В конторе у него были знакомства, были люди, которые пользовались его услугами, и большими и малыми, не зря же он добывал столько пушнины. Только через год мне удалось проводить его на рабочий берег. Он не косился на меня и попрощался запросто.

«Ну, что ж, твоя взяла, Николай, да только это на время».

После его отъезда мне уже откровенно сказали, что я выжил его из-за того, что он мне не нравился, из ненависти-де. Конфронтация стала ожесточенной. Теперь уже никто не скрывал своих целей и намерений, явно не совпадающих с общими, прежде почитаемыми. Но и меня не так легко было сбить с пути истинного. По-прежнему мне приходилось работать наравне со всеми, и по-прежнему я возвращал людей к тем традициям. Прошло уже три года, как я сюда приехал, ситуация, как мне казалось, менялась немного к лучшему. Появились единомышленники и у меня, люди, в которых я был уверен и которые меня поддерживали сознательно. Меня иногда мучает один вопрос: не бессмысленно ли это? Да, искусственно созданная атмосфера, призванная изменить человека хотя бы чуть, атмосфера, в которой еще нет признаков естественного воздуха. Ведь капэдэ ее невелик, несколько процентов.

Николай выгреб из костра не успевшую обуглиться книгу, показалось — что-то интересное: это был пушкинский «Медный всадник».

Но эту работу проводить нужно. Ведь видна возможность успеха, заметна и целесообразность. Только вот в последнее время я уже не так стоек: устал. Да и начал подозревать, ЧТО виной этой вроде бы гладкой податливости — приспособляемость. Раз ТАК нужно, мы станем с виду такими. А то, что у нас внутри, никого не касается. Сколько же нужно времени и сил, чтобы результаты оправдали эту работу?

...Мы сидели на каменистом выступе берега, у ног плескался прибой, с шуршанием гальки откатывался прочь и опять наваливался на низкую косу.

— Расскажу тебе и об Огольцове Игоре Ефимовиче, слушай, старина Афанасий. Это был, которую донесли легенды, а памятник на берегу ты и сам видел.

Предания доносят, что приехал он налегке, у него не было самого необходимого, даже постельных принадлежностей и посуды, кроме грязновато-зеленого цвета кружки с отбитой ручкой. Чтобы пить из нее чай, хозяин держал горячую кружку за ободок всеми пальцами, не знаю уж что за удовольствие? Наверное, привык или она ему была чем-то дорога. Ему отдали матрас, одеяло и посуду из того запаса, который пополняет уезжающий отсюда люд. Квартирu он выбрал себе на втором этаже, обставлена она была по-спартански,

то есть ничего, кроме штатной мебели, там не было. Знакомство с местом жительства и работой он произвел без лишних слов, как человек, принявший необходимость или неизбежность жизни в таких условиях. Планами он не делился, предположить, на сколько лет он сюда приехал, трудно. Приехал, да и все. Может, он собрался жить здесь пять, десять лет, а может, и до конца жизни, как оно в данном случае и произошло. Жил рядом со всеми, работал, ходил на вахты наравне с другими, но в то же время ему удавалось оставаться одному. Дело не в том, что молчаливая замкнутость не позволяла другим проникнуть за порог этой его тайной жизни, а в его, по всей вероятности, неинтересе к другим людям, который исключал праздное любопытство. Работал так, как необходимо было работать, и относился ко всему без лишних слов. Работал, и все. Люди сначала не могли простить ему того упорства, с каким он старался держаться на расстоянии ото всех остальных. Но к нему тоже нужно было притерпеться и притереться, и к нему притерпелись и притерлись. Как я тебе уже рассказывал, публика сюда попадает разная, сезонная, на год-два-три, а потом прости-прощай. Тут ходили куплеты такого рода: «Как бы мне, рябине, с острова сорваться, я б тогда не стала больше вербоваться». Огольцов Игорь Ефимович пережил всех! Он встретил на рабочем берегу несколько поколений итээровцев, инженеров и начальников и проводил столько же. Ко всем тем глубоким внутренним процессам, которые здесь происходили, к семейным катаклизмам, жизненным драмам, маленьким и большим торжествам он относился со спокойствием сфинкса.

— Э, да ты начал приукрашивать, Коля! Мне хочется спросить, это что, твоя обработка легенды или уже пошла чистая беллетристика?

— Ничуть! Ты не иронизируй, Афанасий. Я провел, насколько это оказалось возможным, расследование судьбы этого человека. Я вызнал у старожилов даже те полузабытые детали и штрихи легенды, которые под наслоением времени, чужих слов и благодаря свойству памяти забывать казались уже штрихами другой легенды, а их нужно было очистить и поставить на место. Я изучил единственное письмо, найденное после его смерти, я прочитал вахтенные дневники за те годы, что он здесь жил, я проследил его последний путь, восстанавливая в воображении логическую цепочку в тех местах, где она обрывалась. Результаты нельзя назвать строго научно обоснованными, в сущности, большей частью

вся воссозданная история отдает эмпирикой, но остальное ты сам можешь додумать или исправить.

— Добро, только давай проще, без позолоты.

— Постараюсь. Страсти, иногда здесь кипевшие, его не трогали: он не реагировал. Словом, чучело. Единственное его занятие, которое можно определить как слабость, была рыбная ловля. Не знаю, называлось ли слабостью то, что он находил и приручал куликов. Только тоскливое понимание сидело в его глубоко посаженных непрозрачных глазах.

Письмо, которое он получил на шестой год пребывания здесь, течения его жизни не изменило. На следующий день он принес начальнику для отправки доверенность на перевод всех своих заработанных за шесть лет денег, сумма которых составляла около пятнадцати тысяч, по такому-то адресу и на такую-то фамилию. Как я потом узнал, это была фамилия его бывшей жены. Я был поражен, с какой легкостью он отказался от денег, заработанных в нелегких условиях, ради человека, ставшего ему совершенно чужим. Я вертел эту историю и так и этак, прикидывал, чем бы она меня могла подкупить, сделать ближе и понятнее этого Огольцова. В том, что он отказался от денег в пользу человека чужого, не было ни грана расчета или благородства, не было ничего, что на первый взгляд могло по-человечески объяснить его поступок. Но смысл, тот потаенный смысл, который сопутствует непонятым поступкам, все-таки был. Он не был душевнобольным, никаким влиянием другой болезни тоже нельзя было объяснить его действий. Он был здоров, и он отказался от того, что ему самому не было нужно.

Можно предположить, что в силу особенностей своего замкнутого положения он должен был бы тянуться к чему-то живому, ну хотя бы к собаке или кошке. Да, у него было живое существо, но не собака и не кошка, а длинноклювый дикий нескладеха кулик-ягодник. Сначала он поймал птенца неподалеку от гнезда, когда тот еще не умел летать. Сделал ему клетку на подоконнике, и первые дни кулик танцевал перед стеклом непрерывный, утомительный и бессмысленный танец. Из окон технического здания, где находилось место вахтенного, было видно, как за двойными рамами этой квартиры, обращенной в противоположную от солнца сторону и куда оно заглядывало только летом и в короткие вечерние часы, металась эта глупая птица, успокаиваясь разве что ночью. Иногда к ней подходил хозяин, давал корма и воды, и кулик уже не пугался его и принимал из его рук еду. При редких гостях он пугался и начинал бегать по клетке и

бросаться на прутья. К концу весны кулик зачах и умер, и на короткое время клетка опустела. Летом там опять поселился кулик с перебитым крылом, подранок. И этот тоже первое время колготился за стеклом, но потом успокоился, хотя был он постарше первого и успел узнать цену свободы. Только иногда, будто что-то вспомнив, он начинал топтаться на одном месте и подпрыгивать: исполнял танец инстинктивного разбега для взлета. Когда хозяин отлучался надолго, кулик беспокоился, пока кто-нибудь не приносил ему поесть и не наливал в баночку воды, благо квартира эта никогда и ни при каких обстоятельствах не запиралась. Был у Огольцова и третий и четвертый и пятый кулик, и все они кончались рано или поздно. Когда после последнего отсутствия хозяина в его квартиру вошли, кулик засуетился, заскакал на одном месте, просовывая длинный клюв между прутьев клетки, но того, к кому он привык и который стал ему необходим, более или менее понятен тем, что поддерживал его существование едой, томил в неволе, — не было среди вторгшегося к нему многолюдства и молчания. Он косил на них глазом, обеспокоенный и встревоженный, и вызывал чувство стыда: летать разучился, дикие вольные инстинкты его заглохли, срок жизни в клетке был ограничен, а путь на волю заказан, слишком легкой добычей он становился. Но ведь это же была птица! Зажарить его ни у кого не поднималась рука, и к концу зимы и этот кулик тихо зачах, уже у другого хозяина.

Можно пройти и тем путем, которым шло и следствие по делу о смерти, восстанавливая события в их последовательности, наиболее вероятной для трагической гибели Огольцова. Из вывода расследования явствовало, что смерть Огольцова Игоря Ефимовича наступила в результате его собственной ошибки, что нельзя было находиться в одиночестве в таком месте и в такой удаленности от людей. Инженер, временно исполнявший обязанности начальника в то время, когда произошел этот несчастный случай, подтвердил нелестную характеристику своей прежней деятельности и подал заявление об уходе по собственному желанию, я и был направлен на его место. История трехмесячной давности была свежа в памяти, и мне оставалось только выслушать, как новоприбывшему, все подробности и задуматься над тем, что есть жизнь и каким смыслом мы собираемся ее наполнить.

Погиб он во время своего очередного отпуска, который проводил, как обычно, на рыбалке примерно на расстоянии сорока километров отсюда по морскому берегу, в одной из бухточек. Кстати, мы были неподалеку от этого места, пом-

нишь тот непропуск, за которым виделся ручей и поросший кустарником склон пологой сопки? Вот там все и произошло. Очень уединенное место даже для наших краев.

Студент вспомнил свою беседу с Инженером, который сошел на одной из Точек, куда вызвал его хороший друг, он находился там в должности начальника и время от времени устраивал Инженеру вылазки на Точку, жизненно необходимые тому. На сей раз поводом для вызова Инженера на Точку послужила история с якобы забредшим туда медведем, который по克罗шил в капусту дизель-агрегат и сорвал выхлопную трубу. В вызове слышался растерянный вопль, скрытый страх перед стихийной мощью и несуразницами природы, крик беспомощной совы, попавшей на мушку охотнику. Нужна квалифицированная помощь специалиста для устранения последствий аварии на месте! И Инженер мчался туда, где стряслась беда, не доверяя другим инженерам, а может, просто не решаясь перекладывать на них тяжкое бремя ответственности.

Это был старый, очень старый и опытный Инженер. Он начинал еще в то время, когда у Чифа и у Кэпа только раскрылись бессмысленные голубоватенькие буркала и от удивления перед этим новым миром инстинктивно были испачканы пеленки. Он уже в это время стал главным Инженером, да так и остался им и по-сю пору, хотя ему пора было уходить на пенсию еще в тот момент, когда и у Чифа и у Кэпа в бессмысленных буркалах появился осмысленный интерес к выбираемой профессии. По скромным подсчетам, которыми никому еще не хотелось увлекаться, ибо тогда открылась бы ужасающая человека тайна Дряхлости, Инженеру было лет сто. Именно в эту пору, как говорят знающие люди, у стариков начинает сыпаться песок из одного места, а он у Инженера сыпался еще и десять лет назад. Взамен ему уже подыскивали молодого дипломированного и подающего надежды дебютанта. Дело застряло за Инженером, который, как оказалось, не стремится к тому, чтобы его теплое место занял какой-нибудь скороспелый пшют, который и пороку, то настоящего, бездымного, не нюхивал. Когда стали поговаривать, что произвести замену Инженера окажется возможным только переступив через его труп, дебютант понял, что все кончено, и пал духом, ибо Инженер представлял собою воплощение оптимизма и желания жить еще лет пятьдесят. Да и как его можно было ранить в самое сердце предложе-

нием уйти на пенсию, когда он так любил свою работу, так ей когда-то отдавался и не жалел вкладывать в нее все силы и знания? А умел, мог и знал он очень многое.

Он умел:

- а) заводить с горки трактор любой марки;
- б) глушить на ходу трактор любой марки;
- в) рулить на тракторах любой марки, управлять мопедом, велосипедом и автомобилем редкой в этих краях заграничной марки, который принадлежал ему.

С первого взгляда он мог отличить:

- а) поршень от цилиндра;
- б) дробовик от карабина;
- в) лисью шкурку от медвежьей;
- г) свечу зажигания от простой стеариновой;
- д) кипарис от мачты-антенны;
- е) радиолампу от керосиновой лампы.

Он знал:

- а) как вынуть вкладыш;
- б) как вложить патрон;
- в) как вывинтить форсунку;
- г) как ввинтить ехидной молодежи, такой, например, как Лева, ехидный вопросец, где находится у двигателя вентилятор, спереди или сзади.

Тягаться с ним никто не мог. Однако самому Инженеру все эти поршни, вентиляторы, форсунки и радиолампы были до лампочки. Лично ему они нужны были как собаке пятая нога. Не для этого он когда-то учился на инженера и дожил, неплохо сохранившись, до того счастливого времени, когда вся эта дребедень перестала слишком забивать ему голову.

Больше всего он любил, когда этот вентилятор, или поршень, или мачту-антенну, или ту же выхлопную трубу покрошит в капусту какой-нибудь шалый медведь с маленькими пьяными глазками, в результате чего возникнет неотложная необходимость в его, Инженера, присутствии на Точке. К великой скорби и сожалению, такие умные медведи забредали на Точку раз в столетие. Во всяком случае, о выхлопных трубах, искрошенных в капусту медведями, в этом столетии слышать не приходилось. Но Инженер умел ждать и надеяться. Добросердечный владыка Точки вызывал Инженера, тот заказывал вертолет и мчался, как на крыльях, в место прорыва. В этот раз ему вертолет не обломился, потому что его забрал Вася, чтобы слетать на горячие ключи попарить кости,

и Инженеру осталось плыть на судне, чем он был вполне доволен, ибо на судне, в долгом рейсе вдоль Берега, как нигде кстати оказался его семизарядный карабин с оптическим прицелом, автомат с инкрустированным ложем и прикладистым наплечником. Выкарабкавшись из каюты на палубу подышать соленым морским воздухом, Инженер отирал старческую слезу и впивался взглядом в сиреневую глубину океана. Его сильно интересовало, плавают ли еще в воде за бортом нерпы или сивучи (или как там они еще называются?) или в этом столетии они уже не плавают?

В перерывах между полетами на тряских вертолетах, где нужно было испытывать нагрузки дискомфорта, Инженер сидел у себя в управленческом кабинете и вырастил на своем морщинистом лице, покрытом большими пигментными пятнами старости. Но это занятие оказалось едва ли не самым трудным во всей его инженерской практике, так как выражение величавости никак нельзя было закрепить на своем лице, не держалось, черт побери! Зато незаметно для глаза приобрело величавость его поместительное брюшко. Оно выросло как-то само собой, топорщилось на его сухоньком тщедушном тельце, но весу Инженеру оно не прибавило ни на грамм, потому что веса у Инженера и так хватало. Секрет его веса не составлял, мягко выражаясь, никакого секрета: Инженер был вхож в дом Васи, который по документам числился работающим в том же Управлении, что и Инженер, но которого тем не менее еще не удавалось увидеть никому даже краем глаза. Точно так же, как Инженер был стар, Вася был невидим. Даже Тень его не осчастливила своим падением пол кабинета, где он, по документам, должен был находиться. Если копать глубже, то секрет Инженерского веса был не в том, что он был вхож в дом Васи, а в том, что Инженер, благодаря тому, что он был вхож в дом Васи, мог прикладываться к ручке Олимпиады Робертовны, которая приходилась Васе родной тетей. А уж кто такая Олимпиада Робертовна, нужно было объяснять только абсолютно глухому и слепому выродку вроде Третьего, который в таких вещах не разбирается и знать их не желает. На Олимпиаде Робертовне держалось снабжение обширной области вплоть до Полярного круга.

...Так вот, Инженер в беседе со Студентом, которого заметил спрятавшимся от Поварихи за кнехтом и ради которого он отказался от очередного тура стрельб по живым мишеням, сказал ему такую вещь, от которой Студенту захо-

телось плакать в голос. Он сказал всего одну фразу, в которой была заключена тем не менее великая истина.

Когда Студент вспоминал об этой истине, жизнь начинала представляться ему туманным призрачным покрывалом, за которым пустота, и ничего больше. Он чувствовал, что погружается в сомнамбулический сон, в бред, то ли наяву, то ли во сне в воображении развертывающем перед Студентом кошмарные картины. Он задумывался тогда, а стоит ли учиться всем премудростям жизни, а стоит ли ходить по земле ногами и плавать по морю на кораблях, а стоит ли осваивать специальность матроса и познавать, где находится вентилятор у двигателя, спереди или сзади? Перед мыслью об этой истине бледнел страх Студента перед Поварихой.

Инженер разговорился со Студентом, когда Студент в обеденный перерыв забрался за кнехт отдохнуть несколько минут душой и послушать журчание водички за бортом. Он сидел и тосковал о невозвратимых школьных временах, когда воздух еще не был отравлен дыханием Поварихи и когда не нужно было думать, что произойдет завтра или послезавтра. Инженер заметил Студента и, вытерев старческую слезу, обратил внимание, что Студент очень молод, ну, вчерашний школьник. Разговор продолжался потом в каюте Инженера, при свете хрустального ночника, бросающего острые нервные блики света на лица и на переборки каюты.

— Ах! — сказал Инженер. — Если бы мне было сейчас столько лет, сколько вам, хлопчик! Если бы мне было столько лет, сколько сейчас вам, хлопчик, то я бы выпрыгнул из собственной шкуры, взорвал бы к чертям собачьим Везувий, пережил бы несколько революций, но, сжав зубы, начал бы пробираться к цели. Знай я, на чем держится мир, я бы научился ползать уже на третий после рождения день, я бы выскользнул из детской кроватки и пополз бы к некоей девочке, которой бы смотрел влюбленными глазами в лицо и ел бы и спал бы рядом с нею до тех пор, пока она бы не выросла из коротких платьиц, не вышла замуж и не родила всем известного Васю. Я бы стал товарищем детских игр его, я бы вошел к нему в сердце, но познакомился бы через него с его замечательной тетей. Вот что я бы сделал на вашем, хлопчик, месте. Ах, вы себе даже не представляете, дорогой Студент, как жаль мне тех бесплодных пустых дней, растрченных на учебу, романтику, выращивание детей! Да что я тогда понимал?!

Инженер призадумался на минуту, потом вытер стариковскую слезу и промокнул платочком слюну с губ.

— Что знаете вы о жизни, хлопчик? Вы ничего не знаете о жизни. Вы еще, что называется, белая бумага, хлопчик. А я вот знаю о жизни все! Посмотрите,— он ткнул пальцем в иллюминатор, за которым расстилалась безбрежная гладь океана, светило солнце, поблескивали вдали горы, кричали чайки и мерцал и переливался красками светлый день,— все это тлен и суета: умрет жена, рано или поздно умрут дети, если удастся их пережить, забудутся глупые студенческие песенки, терзания и заблуждения молодости. Все это ненадежно и не должно забивать нам голову. Мы должны искать те ценности, которым не страшны время и тлен. И я нашел! Бессмертна и вечна — вещь! Вещь! Ни тлен, ни время не берет золото, или капитанский графин, или вот этот хрустальный ночник. Мой любимый карабин тоже не берет время, если бы только из него не стрелять. Чего вот наш Третий на меня вчера прыгнул? Ведь мы с Амбарщиком упражнялись в стрельбах по живым мишеням, и мне даже удалось опередить соперника на две нерпы. Больше мы никого не трогали. А что сделал Третий? Он выхватил у меня из рук карабин, побледнел и закричал, чтобы я прекратил эту, как он назвал, бойню. При чем здесь бойня, спокойно ответил я ему, оружие-то мое, и раз я из него стреляю, то убытки на этом несу я — оружие изнашивается. А разве в тех зверюшек какой-нибудь капитал вкладывался? Нет, конечно; они сами рождаются и развиваются, не требуя от меня никаких затрат.

Инженер посмотрел на Студента слезящимися глазами и вытер платочком слюни.

— Зачем вы пришли сюда учиться, хлопчик? Ведь нам не хватает времени на самое необходимое, а вы позволили себе щедрость не обратить на это внимания. Такая расточительность свойственна людям молодым и неопытным и поэтому вдвойне непростительна. Дам вам бесплатно совет: не теряйте времени, не тратьте ни секунды на безрезультатное в вашем возрасте обдумывание давно известных мне истин, а начинайте сразу же искать собственные ценности. Списывайтесь с судна сегодня же, берите билет домой и начинайте новую жизнь, пока еще не поздно.

Инженер всхлипнул.

— Ах, как дорого бы я дал, чтобы начать все сначала! Он обернулся на дверь и близко наклонился к Студенту.

— Вы знаете, еще в прошлом веке у меня было собствен-

ное дело. Много хитростей и сноровки я потратил на то, чтобы сжить со света хозяина дела, моего отца. Но когда я прибрал производство к своим рукам, то повел его с удвоенной энергией и скоро сколотил недурной капиталец; я был молод, холост, полон сил, мне опасались попадаться на дороге мои конкуренты — я их кушал! — и дело мое пухло и крепло. Но кто мог предполагать, как все повернется?! В несколько дней я сгорел и остался на бобах. Да еще несколько лет мне пришлось трубить на нарах, что мне было не по нутру. Но нужно было опять как-то начинать, и я начал.

Он еще раз оглянулся на дверь и придвинулся поближе к барабанной перепонке Студента:

— Сказать вам, сколько у меня шмоток? Да вы не поверите, хлопчик. У меня два дома, две машины, несколько сервантов ручной работы в каком-то баварском стиле, наборы мебели для гостиной, столовой, кухни и спальни. Стены обшиты никелированными панелями, ванная выложена старинными изразцами, а толчок представляет собой теплое мягкое кресло.

Он так долго перечислял свои приобретения, что Студенту захотелось спать, а в заключение добавил:

— Нет, я живу отнюдь не в казарме. У меня почти полный Ренессанс. Чего мне не хватает? О, очень многого! Я сделаю себя счастливым с помощью Васиной тети. Как вы молоды, хлопчик! — застонал он. — Ведь все мы прохожие, тени, пролетающие по земле.

Он зарыдал.

— Ведь все мы командированные в этом мире! Бегите же, иначе у вас все будет как в словах одного человека, который называется поэтом:

а мы дураки радуемся детям
а мы дураки радуемся жизни
а мы дураки радуемся
а мы дураки
дураки¹.

Вот, что из тебя получится, если сейчас же не вскочишь и не побежишь начинать новую жизнь.

...— Откуда же взялся Третий? — задал небесам мучительный вопрос приунывший Семен, на что Повариха откликнулась эхом:

¹ Люсеберт (Нидерланды). Сатирические стихи.

— Взятся-то он откуда?

— Я не знаю, откуда он взялся,— после недолгого размышления сказал Лева,— но я знаю, кто он такой.

Три головы повернулись к нему.

Лева понизил голос и осмотрелся:

— Третий — аспид.

Присутствующие были сражены. Тайна, открытая Левой, была острой, как яд.

— А мы можем его выпереть на Берег? — спросил с придыханием Семен.

— О, нет-нет! — Лева мудро и печально покивал головой и остановил на них свой пронзительный взгляд. — Дело в том, что от Третьего избавиться нельзя.

Повариха вскрикнула и потеряла сознание.

Студент выскользнул из ее рук и убежал. Ему захотелось взмыть в стратосферу на каком-нибудь скоростном суперсамолете. Там он летал бы в эмпиреях и ни о чем хорошем бы не думал, созерцая облака, небо и сжавшуюся внизу землю. Но ведь в эмпиреях ему быстро бы наскучило: там не было ни Поварихи, ни Инженера с его паршивой истинной, ни Чифа с его нехорошими замашками. Что и говорить: вот хороший случай избавиться от всех своих невзгод — попасть в эмпирей.

Но, как ни верти, ведь зачем-то нужно было, чтобы Студент появился на белый свет и попал на судно с грузами, следующее вдоль линии Берега. В этом нужно разобраться. Есть ли в этом целесообразность — и в присутствии Студента, и Чифа, и Инженера или это так — козни рока. Студенту с недавнего времени не чужда стала молитва, и он прочел ее, обращенную к чистому и безгрешному образу того самого видения, которое посетило Студента в одной из многочисленных бухт на побережье. Образ этот засиял в полную силу, замерцал, властно притягивая внутренний Студентов взор: в груди его потеплело, и на глаза навернулись чистые слезы.

...Повариха очнулась и зарыдала, не обнаружив Студента в своих объятиях.

— Ну, чего ты, — принялся неумело утешать ее Семен. — Подумаешь, Третий! Да мы его... Да он у нас...

Лева потер морщинистый лоб и очнулся от глубокой задумчивости.

— Кажется, я придумал, как избавиться от Третьего, но спешу заверить, что это нам не поможет. Так как все человеческие желания и поступки вращаются на некоей не-

видимой оси, то после того, как мы избавимся от Третьего, нужно будет ждать, когда он к нам же и вернется. Вопрос в том, как долго он будет отсутствовать здесь и присутствовать там.

И Лева повел рукой перед потрясенными слушателями.

— Можно ли тебе довериться? — вытирая слезы, спросила Повариха. — Как мы можем от него избавиться? Разве ты предлагаешь вытащить из слесарки большую наковальню и с бульканьем утопить ее в морской пучине, предварительно привязав к ней Третьего? Или ты хочешь развести его с женой и женить его на мне? Должна сказать, что я не против. Расскажи, а то у меня колики в животе начались от любопытства.

— Наклонитесь ко мне, и я поведаю вам о том, как избавиться от Третьего.

Семен и Повариха наклонились к Леве, и тот свистящим шепотом поведал им о том, как избавиться от Третьего.

Десять минут Повариха не могла перевести дыхания, а Семен услышал, как треснула у него черепная коробка.

Лева наблюдал за ними сквозь полусомкнутые веки и пускал колечками сигаретный дым. Поза его выражала состояние глубокого атараксического спокойствия и снисходительности к присутствующим. Она так же выражала легкую иронию и презрение к присутствующим. Она выражала легкую иронию и презрение к присутствующим за то, что они не доперли до такой простой мысли без него. Лева откинулся на траву и принял ничего не выражающую позу.

— Но! — сказал он. — Вы не забыли, что о том, что я вам только что сказал, не должна знать ни одна живая душа? Поклянитесь мне самым дорогим; что у вас есть, или еще будет самым дорогим, что не проболтаетесь.

Повариха кивнула, не имея сил сказать хоть одно слово от жгучего желания побежать и рассказать обо всем, что она только что услышала, первому же встречному столбу.

— Вот ты, Семен, чем клянешься? — с любопытством спросил Лева у задумавшегося Семена. Семен вздрогнул от неожиданности, но Лева понял его с полувздвига. — Ну, конечно! — саркастически улыбнулся он. — Чем же иным ты можешь клясться, как не двадцатью бутылками коньяку! Разве нет?

Не имея сил отвлечься от забивающих его голову мыслей, Семен молча кивнул.

— А ты чем клянешься, Повариха?

— Э-э-э... Я клянусь господом богом Мадо Поламо, потому что он чистейшего французского происхождения.

Лева, успокоившись, кивнул. Он знал совершенно точно, что Повариха изнывает от жгучего желания побегать и рассказать обо всем первому же встречному столбу. Но именно это и нужно было, чтобы избавиться от Третьего, в чем был заинтересован также и Лева. Ведь только тогда, если о том, что было сказано только что, станет известно и на судне, то остальное пойдет своим чередом, и Лева останется, как всегда, ни при чем, а в этом он был заинтересован не меньше того, чтобы избавиться от Третьего.

— Полдела сделано, — сказал он...

...— Черт бы вас всех побрал, бездельники, дармоеды, шакалы, свинячьи потроха! — вдруг раздался громовой голос, отзванивающий металлом. Эхо испуганно метнулось между сопками, отразилось десятикратно от поверхности воды и угасло в бескрайних просторах океана и тундры. — Собирайтесь до хаты, вас ждет настоящее дело! Выкарабкивайтесь из всех закутков, полянок, гастрономов, сквериков, оврагов, речных долин и бережков! Кто не может выкарабкаться сам, уцепись за того, кто может! Живее! Вы что, думаете, мне это сахар, что вы там заливаете шары и таскаетесь за юбками, в то время как я остался на судне?!

Казалось, одиноко стоящее на рейде судно дрожало от Чифовых проклятий, угроз и грубостей. Усиленный транзисторами голос его разрывал воздух на миллион кусочков, дробился о волны, исчезал в межпланетном пространстве.

— Кровопийцы вы мои! — плакался он. — Гробокопатели, псюганы, каналы, шакалы, немытые рожи, гамнюки, жуки навозные, свинячьи потроха!!! Даю вам час на сборы! Тот, кто не явится вовремя, автоматически будет считаться дезертиром, а впоследствии расстрелян на корме соленым огурцом! Есть у вас еще один шанс, торопитесь, торопитесь! Вас ждет настоящее дело!!!

Со всех сторон на Берегу собирались напротив стоящего на рейде судна немытые рожи, псюганы, шакалы и свинячьи потроха. Кто на катере, кто на шлюпке, кто на украденном в портнадзоре спасательном круге, кто на дощечке, как Семен, а кто и просто вплавь стремились они к своему родному корыту, предчувствуя, чем пахнет на этот раз снятие с якоря.

Вскоре на шканцах собрался весь экипаж, замерев в благоговейном молчании, ожидая все проясняющей речи

Чифа, которая не замедлила раздаться с верхнего мостика уже без помощи усиливающих речь приспособлений.

— Мы отчаливаем! Подошел срок настоящего испытания! До сего дня ваша жизнь была не жизнью, а бесконечным бесплодным ожиданием момента, когда вам подвалит настоящее счастье! Но вот наконец этот день настал! Рассыпайтесь по рабочим местам, переодевайтесь и набивайте побыстрее желудки. Вытаскивайте наверх рассыпчатую соль, выкатывайте и замачивайте дубовые пузатые бочки, точите о камень острые ножи! Пошла красная рыба!!! Лихоманка вас забодает, бездельников и псуганов! Пошла красная рыба! Палубной команде по местам стоять, с якоря сниматься! Все на месте? Эгей, каналы! Пошла красная рыба!

Зачихал продуваемый воздухом главный двигатель, заскрежетала выбираемая якорь-цепь, завибрировала корма от вращения винта, торжествующий рык тифона разломил пополам вселенную, и, распустив усики по воде, судно стронулось с места и начало быстро набирать ход.

В тот день я закончил шить стаксель, белая эмаль на корпусе яхты подсыхала, внутренность кокпита была хорошо проолифлена: завтра можно было начинать оплачивание яхты и испытание ее на ходовые и маневренные качества. Я приготовил заранее вырезанный трафарет и макнул тампон в ярко-красную краску. Ближе к корме по обоим бортам яхты «набил» по всем правилам «фамилию» — «Уильямс».

Яхту я начал строить через неделю после приезда к Николаю и за месяц сколотил вполне приличную лодочку — двухместный парусный швертбот. Зная основы постройки маломерных судов и владея столярным ремеслом, нетрудно построить даже первую яхту, а остальные с опытом будут получаться все лучше. Строить их я научился еще в мореходном училище, после того как уже поплавал на рыбацких судах в Атлантике. Для того чтобы осваивать, а потом и полюбить море, нет ничего лучше небольшого парусного судна, без запаха бензина, без гроыхающего мотора и вечной возни с карбюратором и зажиганием.

Нашелся неплохой столярный инструмент, нашлись эмали, дерево, брезент на парус, двадцатиметровый хлыст бамбука, который море выбрасывает во множестве и который пошел на стоячий такелаж. Правда, дерева на корпус не хватило, пришлось содрать несколько досок с временного сарая, оставленного строителями. Снасти сплели из капро-

новых кончиков, а вот дельные вещи, блоки с вертлюжками пришлось набирать из обыкновенного железа, ненужного хлама, запчастей к двигателям и котельным агрегатам. Пришлось поработать сверлом и напильником и приобщиться к литейному делу: корпуса блоков и другие детали отливали из алюминия в топке титана.

Николай догадывался, что швертбот я собираюсь подарить ему, но он не знал, что я собираюсь подарить ему нечто большее, чем швертбот, — я хотел подарить ему настоящее море, впечатление о котором навсегда западает в душу, когда видишь его с борта парусной лодки, не то что с ревушей лодки-дюральки. Мне хотелось, чтобы Николай, переступив через борт на мокрый песок берега, обернулся и посмотрел долгим взглядом на море, замечая, как в его душе укрепляется незнакомое чувство удивления и даже светлого испуга перед этой стихией, которая казалась ему до этого неодушевленной, казалась просто большим количеством воды.

Я не хотел, чтобы у Николая возникло чувство той самой «сопричастности» природе, когда зачумленный пылью и жарой горожанин выбирается из месива бетонных стен, асфальта и машин за город, на пикник с ночевкой; и который приберегает самые красивые слова для завтрашних гостей. Море значительнее таких слов и восторгов. Мне кажется, у Николая такого чувства не возникло бы, но не был я уверен и в том, что он испытал что-то похожее на то, что ожидал преподнести ему я. Хотя, черт его знает...

На веслах мы отошли от берега на расстояние метров двести и остановились в неясно очерченной бухте, над которой стоял дом на тундре. Подняли, расправили парус. Главное — поймать ветер, Коля. Когда пойман ветер, он будет держать тебя в своей струе и будет нести тебя туда, куда захочешь ты, управляя всеми нехитрыми приспособлениями. Нельзя выпускать ветер. Мне кажется, он понял. Мне кажется... Кажется, и мне только сейчас стало понятно, что может означать факт потери ветра. Мой парус обмяк и повис, как тряпка. Вот и я хотел научить тебя, как ловить ветер, а сам не знаю, как его поймать, черт подери. Николай улыбается: «Ничего, старик, это бывает».

В сущности, ты эти полтора месяца ждал от меня одного слова — «остаюсь». Ты со мною бережен, не напоминаешь мне о моих несчастьях, неназойливо приветлив и показываешь эти места, как будто они твои угодья. Знаем мы друг друга давно, со школьных лет, редко, но постоянно пере-

писываемся, сообщаем об изменениях в своей судьбе, о женьтебе, о рождении твоих детей, о моих напастях. Мне вот только в последнее время стало что-то не о чем писать — решил приехать сам, погостить, посмотреть, чем и как живешь. Тем более что времени у меня предостаточно: то ли отпуск, то ли временная бичевка. Ушел «на бич», говорят моряки, — значит, без работы и без денег. Встретились. Ни ты, ни я не изменились, но что-то меняется вокруг нас, и эти изменения накладывают свой отпечаток и на нас. Но ты уверен, — как и я, между прочим, — что мечта и реальность не совпадают, но ты так же уверен, — как и я, — что реальность необходимо изменять и приводить в соответствие с мечтой, что, как известно, не самое легкое из всех дел на земле. Но только такая деятельность может иметь настоящий смысл, именно она движет историю. «Здесь место, где я нужен» — ты этой фразы не произносишь, но она подразумевается. Она в тебе сидит. Здесь можно кое-что сделать, сказал ты, пусть масштаб невелик, масштаб мизерен, но мне другой и не по плечу. Здесь много еще нужно сделать, изменить, ты поможешь? «Останься». Тебе еще много нужно сделать, в рамках инструкций и административных положений, ты не сдаешься, ты сколотишь настоящую команду, которой под силу окажется существование в этих условиях и выполнение нужной задачи. Но посмотри на парус! Видишь, он начинает наполняться ветром, он поймал ветер: яхта движется сама. Вот как ею управлять: подверни рулем и обтяни шкотами паруса. Яхта идет точно по курсу благодаря тому, что у нас стоит вот этот выдвижной киль — шверт, он не дает ветру сбивать яхту в сторону. Мы выпилили его из метрового куска шестислойной фанеры, из ящичной сепарации. Подправив рулем направление движения, ослабляем вот эту снасть, шкот, а вот этой подбираем парус грот. Яхта приводится носом к ветру. Затем тихонько перекладываем гик с прикрепленной к нему нижней шкаториной на другой борт и повторяем в обратном порядке операции по вытравливанию и подборке шкотов. Этот поворот называется оверштаг. Меняя галсы, можно подойти практически к любой точке моря, потому что яхта с килем может идти под острыми углами против ветра. Мачта и весь остальной такелаж, все снасти, железочки сделаны, ты сам знаешь, вручную из бечевы, алюминия, дерева. Это сооружение, именуемое яхтой, спущено на воду, поймало ветер и движется. Оно приобретает значение орудия человеческой воли. Понимаешь, Коля, вещь, сбита и склеенная человеческими руками из

совсем прозаических, видимых каждый день элементов, является собой не только предмет, в который вложен труд и посему имеющий большую ценность, но заключает в себе мысль высокого предназначения, можно сказать, символ. Такое разъяснение потребовалось для того, чтобы сказать: мечта составляется из той реальной действительности, которая окружает нас ежеминутно. Никакие облегчения этого обстоятельства, ни уход в малые масштабы, ни разрешение действительных противоречий в рамках инструкций дела исправить не могут.

Мне думается, он был смущен моими выводами о его деятельности. Даже тогда, когда, однажды взглянув в окно, я заметил вслух, что все отпуска рано или поздно кончаются и что лето в самом разгаре, он принял мои слова без суеты и ненужных расспросов, что было, по моему мнению, не совсем полным, но согласием с тем, что я имел основания не задерживаться.

Но! Если откровенно: ты все-таки что-то уже сделал, а я вот осушил днище. Мне тебя попрекать не в чем.

Я расшифрую тебе чуть слышный гул и позванивание. Вот этой снастью, вантом, крепится от заваливания мачта. Снасть эта напряжена; когда парус натягивается ветром, в ней появляется звон и пение. Теперь вот, когда в парусе слышен едва ощутимый гуд, свойственный работе естественных триродных сил; когда за бортом слышится, ничем не заглушаемый, плеск воды, а сверху иногда зависает над нами, вскрикивая, чайка; когда чувствуется свежесть морской воды и упругость ветра; когда поскрипывают крепления корпуса и звенят ванты и фалы; когда перед нами появилась чистая линия смыкания воды и неба, до которой отсюда не менее десяти миль пространства, которая называется горизонтом и которой ты никогда не достигнешь, как ни тщишься; когда на глубине, успев вовремя поднять клин шверта, чтобы не разбить его о появившиеся внизу камни, ты успеешь рассмотреть и висящую медузу, и краба, панически убегающего под валун, в самые заросли донных водорослей; когда увидишь гень стремительно промчавшейся рыбы и расплывчатое пятно туловища нерпы, которая собирается всплыть — она очень любопытна — ага! вот и она, — теперь, когда ты все это неторопливо рассмотришь, услышишь и ощутишь обонянием, чего не успеешь сделать с борта глиссирующей лодки, теперь я тебе расскажу о Капитане Уильямсе.

Ты покачал головой, ты не улыбаешься, ты очень внимателен, но я незря тебя готовлю к своему рассказу, который

требует неспешного внимания и неспешного проникновения в суть его, а второпях мы многое пропустим. Вещи ведь видны в глубину, только когда остановишься, это совершенно естественно.

История одиночных плаваний через океан имеет начало, но пока не имеет конца. Эта история о людях, которые в одиночку пересекают океан, огибают земной шар, движимые кто страстями низкими, кто высокими, но всегда сильными, — оборваться не может. Некоторые терпели крушения, шатаясь, сходили на чужой берег, оборванные, истощенные, обросшие длинными бородами. С ними не все было кончено: они снаряжали еще одну экспедицию. Те же, кто был ввергнут в бездну отчаяния, не сумел преодолеть страх перед природой и страх за себя, сходили с дистанции. Иных спрятал в себе океан. Холодный, одинаково безразличный как к проявлению человеческой воли, так и к проявлению страха перед ним, он продолжал колыхаться в своих берегах, ломал одиночек нравственно и физически, истощал, убивал, а в путь собирались новые одиночки. Они мужали в рейсе, избавлялись от шелухи слабостей, учились жизни. Для примера: в одиночные плавания пускались и моряки, и люди, совершенно к морю не подготовленные, среди них были ученые, шестнадцатилетние юнцы, отчаявшиеся влюбленные, офицеры сухопутных войск, бухгалтеры. Экспедиции были подготовлены с разной степенью надежности, ибо не у всех были равные возможности, но риск по каким-то неизвестным законам делился пополам. Увы, много трагедий сопутствовало этой нескончаемой истории.

Я же расскажу тебе только об одной, и образ героя этой трагедии теперь всегда со мной, с той самой минуты, когда с борта нашего сейнера был замечен в воде незнакомый предмет, который оказался крошечной полузатопленной яхточкой под названием «Крошка». Принадлежала она капитану Уильямсу, человеку, чье имя знакомо всем или почти всем по периодическим публикациям.

Дождались Светлого Мига, наконец-то начиналось Настоящее Дело! В ожидании его писались в Управлении горы ненужных экипажу накладных, спецификаций, сопроводительных документов на грузы, сваленные в трюме, переводились килограммы шариковой пасты и тонны бумаженций, которым грош цена в базарный день, когда пошла красная рыба. В ожидании этого Мига все без исключения члены

экипажа целую неделю терпели погрузку никчемных, не имеющих никакой ценности для них механизмов, продуктов, машин, оборудования и прочей пакости, которую только можно придумать с больной головой, не иначе, и которая якобы самым необходимым образом была нужна на Точках. Как будто тем чувакам, которые засели на Точках и привыкли жить на всем готовеньком, эта пакость может хоть как-нибудь пригодиться! Железяки эти, кули, мешки, ящики и тюки то и дело попадались на дороге; то об них спотыкались на палубе, то они мешали добраться до пузатых дубовых бочек, то загромождали проходы к спасательным шлюпкам. Трактор, предназначенный для одной из Точек, уже давно вызывал спазмы ненависти у Кэпа, который мирился с его присутствием на палубе только из уважения к его весу, ибо для того, чтобы его опрокинуть в море, нужно было рассупонивать большой грузовой кран, а он необходим был для более важных дел. Может быть, ради этого Светлого Мига еще теплилась жизнь в дряхлом теле Инженера, который сошел недавно на одной из Точек; ради этой минуты мучилась Повариха, гоняясь за Студентом; млела Дневальная, просыпаясь в поту после того, как ее посещали крупнозернистые икряные сны; провожал в небытие тоскливые минуты Дед; корпел над прокладкой курса Второй штурман; глох под наушниками Маркони и вперял холодный взор в пространство Амбарщик. Студенту внове были и будущая работа, и ее азарт, и поэтому он присоединялся ко всеобщему нетерпению.

Теперь же, когда под килем судна поплыла, виляя хвостом, серебристая снаружи и красная внутри красная рыба, неся в себе, как некую драгоценность, как сверкающий во мраке ее нутра рубиновый огонь — икру, отчего рыба становилась во сто крат любезней и желанней сердцу, — уж теперь-то люди ожили и засуетились. Парились дубовые пузатые бочки, точились острые ножи и высыпалась в деревянные бадейки крупитчатая соль. Визжали опробуемые лебедки, смазывались ржавые тали, чистились разделочные доски, варился крепкий тузлук, подчищалась и мылась дубела палуба. Мешали опять-таки механизмы и постылый ненужный груз, предназначенный для Точек.

Кэп вышел на крыло мостика, чтобы руководить всеми операциями по громкой связи, и первой его фразой Повариха была остановлена на полпути:

— Шестерку пик вам в задницу! Кто это развесил на мостике трусья? Через три секунды убрать!

Повариха метнулась на мостик и, уперев руки в бока, замерла напротив Кэпа.

Кэп вспомнил, что Повариха может запросто отказаться кормить его, Кэпа, и с нее ничего не возьмешь, потому что на судне могла готовить одна она. Да и если Кэп оскалит сейчас на нее зубы, плакали тогда горькими слезами все мечты о великом дне Обжираловки, когда раз в месяц Повариха и когорта ее добровольных помощников устраивали грандиозную жарёху и готовили самые вкусные блюда — как только умели хорошо и приглашали весь экипаж по-демократически собраться в столовой и отведать то, что они приготовили. Он прикусил язык и потрепал Повариху по плечу:

— Ну, как у тебя дела, уважаемая Повариха? Идут помаленьку?

Повариха открыла широко рот, приготовившись вылить на Кэпа поток проклятий, но прикусила язык. Кэпа опасно было трогать, иначе потом костей не соберешь: что с него взять? Она повернулась спиной и ринулась вниз, рассекая воздух.

Кэп, сразу лишившись своего боевого настроя, подошел к лееру и обнаружил на палубе, прямо посреди прохода между фальшбортом и трюмами, сиротливо приткнувшийся трактор. Ноздри Кэпа раздулись и по спине продернуло морозцем от нетерпеливого желания покончить с этой уродиной.

— Палубной команде! — рявкнул он в микрофон. — Завести стропы под трактор! Лёве на кран! Выбрасывай его к чертовой прапрабабушке за борт! Выбрасывай трактор скорее, выбрасыва-а-а-ай!!!

Удовлетворенный, он закрыл глаза и выключил усилитель. Чтобы не растерять миг блаженства на созерцание обыденной картины выбрасывания ненужного хлама за борт, Кэп, не открывая глаз, ощупью спустился в собственную каюту и прилег там на диванчик, лелея в мыслях ожидаемый всплеск за бортом, но не дождался. Вместо всплеска за бортом на палубе раздался невнятный шум и говор. Через минуту в каюту вбежал потрясенный Дед.

— Он не позволил! — прохрипел Дед. — Он сказал: «Я не позволю»!!!

Словно подброшенный стальной пружиной, Кэп вскочил с диванчика и вытаращился на Деда, будто филин на часы.

— Третий?

— Третий!

— Не позволит?!

— Не позволит!

— Третий?..

— Третий! Он забрался в кабину трактора и крикнул, что не позволит выбрасывать трактор за борт. «Пусть кто-нибудь рискнет выбросить меня в море вместе с трактором! Да я его достану из пучины морской», — то есть того, кто рискнет выбросить его вместе с трактором. Вот что сказал Третий.

Кэп упал лицом в подушку. Дело принимало серьезный оборот. Ведь если каждая сволочь начнет препятствовать Кэпу выбрасывать трактор за борт, то неизвестно, до чего Кэп может докатиться с такой командой. Нужно было кончать с Третьим как можно скорее, нужно кончать с ним, нужно с ним кончать, нужно с ним кончать, нужно с ним кончать...

— Амбарщик! — прошептал Кэп. — Вот кто со своими холодными глазами и повсеместными связями может мне помочь... Только Амбарщик!

...Первая бригада ловцов в составе Амбарщика, Семена, Левы и Студента, взятого до кучи с целью ознакомления с тонкостями первой стадии Настоящего дела — собственно ловли рыбы, — вышла на разведку на судовой шлюпке. Бойко пофыркивая и разводя волну тупым носом, шлюпка вошла в горловину небольшой речки, которую Семен едва не пропустил из-за упавшего на море тумана. За горловиной виднелся обширный кулдук, а за кулдуком, на самом повороте, шумел перекат. Берега речки поросли невысоким лесом и кустарником.

— Тише ход! — скомандовал сам себе Семен и приподнялся, выискивая наиболее удобное для причаливания место.

Амбарщик неторопливо повел рукой и указал Семену на галечную отмель, где валялся во множестве сушняк и вынесенные течением коряги и стволы деревьев. Семен с нескрываемым уважением и благоговением посмотрел на Амбарщика. Уж с Амбарщиком-то не поспоришь: он может так посмотреть на тебя, что захочется не только спрятаться за банку, но превратиться в амёбу и исчезнуть в толще воды.

Амбарщик в свои двадцать пять лет обладал — в глазах не только Семена, Кэпа и многих-многих других — осязательным даже на большом расстоянии весом и не поддающимся никаким сравнениям авторитетом, который в силу неизвестных

многим причин оставался глобальным по своим масштабам и бесспорности. На таких людях, как Амбарщик, и держался белый свет, это было ясно всем без исключения, и также всем без исключения было ясно, что им повезло в жизни дышать одним воздухом с Амбарщиком. Немного неясно было, почему за счастье должно было почитаться присутствие Амбарщика на одной планете с остальными, но с этим еще можно было смириться по той немаловажной причине, что кто-кто, а уж Амбарщик-то ведал, где собака зарыта.

Семен понимал, глядя на Амбарщика, что уж ему-то никогда не стать таким, как Амбарщик и еще двадцать пять лет в двадцатикратной степени, а ведь прошло всего лишь семь лет, когда средняя школа лишилась своего самого интересного ученика, а торговое пароходство приняло нового матроса на хлопотную должность заведующего кладовой на судне, которая в просторечии зовется должностью Амбарщика. Не всякий матрос согласится быть выбранным на эту должность, а вот Амбарщик был попросту для нее рожден, как и для многого чего другого. Немногословный, сдержанный, он был человеком решительным, обходительным, немнительным, внимательным — уж чужого ему в рот не клади! За несколько коротких, пролетевших как одно мгновение, лет работы на судах дальнего плавания Амбарщик, со свойственной ему пронизательностью, неторопливой и холодной расчетливостью, не допускающей ни одного срыва и ни одной ошибки, изучил все ходы, по которым на небогатый внутренний рынок провозились столь же неторопливо и безошибочно заграничный текстиль, австралийские индюшки, японские настольные лампы с музыкой, блоки сигарет, газовые зажигалки с электронной схемой зажигания, легкое до невесомости и прозрачное до призрачности женское белье с воланчиками в тринадцать рядов, портативные магнитофоны, очки с фотохромными стеклами, виски «Блэк энд Уайт», детские колготки, чемоданы, альбомы поп-искусств и многое, многое, многое, многое, многое другое. Такая деятельность не могла не наложить на Амбарщика своей печати: поневоле ему пришлось стать психологом, товароведом, дизайнером, рекламатором, торговым агентом, дипломатом, искусствоведам, специалистом во многих отраслях науки, техники и поп-арта. Плюс ко всему, он еще оставался попросту лавочником, цыганил на складах продукты, что получше, а в последнее время уже не цыганил — ему сами привозили. Естественно, род занятий, избранный Амбарщиком, пробудил у него желание расширить собственный кру-

гозор. У него появился со временем, а потом укрепился подлинный интерес ко всем без исключения сторонам человеческого бытия, как-то:

стекло, фарфор, мебель, бижутерия, галантерея, ковровый ворс, облицовочная плитка, карбюратор, книжный переплет, Вранглер, Ли Вайс, Сальватор Дали, автомобильная крышка, хлопок, магнитная дорожка, гардинная подвеска, косметика, паркет, багет, корсет, антиквариат, высокая и низкая печать, веленевая бумага для просителей, сувениры.

Именно это, переполнявшее Амбарщика знание, и сделало его несколько замкнутым и неразговорчивым: да и что говорить — все и так совершенно ясно. Глядя на него, ничего не ясно было только абсолютно глухому и слепому.

Амбарщик вспомнил свой последний рейс и неприметно вздохнул. Судно, которое почтил своим присутствием Амбарщик, досматривалось в порту всегда одним и тем же нарядом под началом Лейтенанта. Или здесь явно была замешана чья-то рука, или это происходило случайно; Амбарщик не ведал. Лейтенант приходил в каюту Амбарщика, садился напротив невозмутимого хозяина и расстегивал верхнюю пуговицу: он давно чувствовал здесь себя как дома. Он доставал из брюк пачку сигарет отечественного производства и предлагал, глядя в иллюминатор, закурить Амбарщику, от чего тот неизменно отказывался по причине понятного свойства — не курю. Лейтенант знал, что Амбарщик всегда отказывался от сигареты, которую он ему предлагает, но тем не менее никогда не забывал в следующее свое посещение повторить такой жест. Потом он долго молчал, любясь рейдом и далекой горой с меловыми потеками по склонам. Амбарщика такие шуточки абсолютно не трогали; он мог часами смотреться вместе с Лейтенантом в голубое небо и зеленоватую воду, и мог не дрогнуть ни одним мускулом. Задрожав мускулами лица, Лейтенант выбрасывал сигарету в иллюминатор и долгим пронзительным взглядом вперялся в невозмутимую голубизну Амбарщиковых глаз, которые источали внимательное доброжелательство к гостю и искреннее желание помочь ему, чем можно. Судорожно вздохнув, Лейтенант говорил: «Ну, показывай». Амбарщик с готовностью представлял ему перечень всяких мелких безделушек, закупленных в иностранных портах, и вываливал на стол все эти безделушки, стоимость которых вполне укладывалась в пределы выданной по существующим нормам

валюты. Лейтенант, снова судорожно вздохнув, опять отворачивался к иллюминатору, едва удостоив взглядом горку мелочи. Снова в каюте повисали неторопливое молчание и Амбарщикова невозмутимая доброжелательность.

— Я же тебя все равно поймаю, клянусь родной матерью, Амбарщик! — не выдерживал Лейтенант. — Ты у меня узнаешь, каков цвет тюремной камеры!

Амбарщик внимательно вслушивался в звуки незнакомой русской речи.

— Будь я проклят, если не смогу выпросить у начальства отпуск специально для тренировки овчарки, которую мне подарил мой подчиненный, когда уезжал домой. Я назвал щенка Фомой и тренирую его специально на текстиль, сигареты и газовые зажигалки.

Амбарщик с осуждением смотрел на Лейтенанта и качал головой. Его до глубины души возмущала чрезмерная подозрительность Лейтенанта, его неджентльменское недоверие, антипатия к Амбарщику и заносчивость. Но он умел сдерживать свои чувства, когда вспоминал о сотнях увядающих без иностранных пеньюаров женщин, прозябающих в тоске курильщиков, голодных до колик в животе любителей австралийских индюшек. Нет, они не должны страдать по вине Амбарщика, никогда этого не будет!

В предпоследний раз Лейтенант задержал судно почти на сутки, облазил все трюмы, все закоулки, все мало-мальски видимые щели. Он готов был, не переодеваясь, забраться и в выхлопной коллектор. Он осунулся и посерел за эти сутки, в течение которых пароходство несло неисчислимые убытки, но не нашел ни тючков с сигаретами, которые плескались в льялах, ни сотен штук драгоценного текстиля, спрятанных под толстым слоем троса на вьюшках, ни альбомов поп, спрятанных под многопудием цепи в цепном ящике, ни газовых зажигалок, обмазанных солидолом и прилепленных в таких местах, что сам конструктор этих механизмов не мог бы сказать, к месту ли этот подозрительный болт на сепараторе масла или этот рычажок на пульте управления.

Шатаясь, как пьяный, Лейтенант вошел в каюту Амбарщика.

— Я ничего не нашел, Амбарщик, — прохрипел он. — Но я уже учу Фому; тебе от меня не уйти, даже если ты переведешься в теплые моря, потому что я тоже переведусь в теплые моря вместе со своей овчаркой, и мы будем досматривать тебя вместе. Фома научился отличать не только

сигареты от альбомов, но и честного человека от контрабандиста. Он мне шепнул по секрету, что через один-два рейса тебе придет конец.

Отпуска ему не дали, а Амбарщик в следующий свой приход смог убедиться в том, что погоны Лейтенанта осиротели ровно на одну звездочку. Однако его пыла это не убавило, и досмотр он произвел с прежним тщанием, хотя и за более сжатый срок; но, как всегда, с нулевым результатом. На прощание Лейтенант по доброй и крепкой традиции посетил Амбарщика.

— Знаешь,— сказал он Амбарщику,— я почувствовал вкус жизни благодаря твоему присутствию на земле. Ну, кем бы я был, скажи на милость, если бы наши дорожки не пересеклись? Дослужился до майора там или до полковника тихой сапой, не забираясь в бутылку и ни разу не испытыв всепоглощающего чувства опасности от встречи с таким человеком, как ты. Спасибо тебе, дорогой Амбарщик, многим тебе обязан. Следующий твой рейс будет последним, как сказал мне мой верный друг Фома. Уж он-то на тебя зубы наточил, будь спокоен. Примите и прочее.

Амбарщик чихать хотел на его угрозы с самого высокого салинга в бассейне; ему судьба отпустит немало хороших и добрых минут, а бояться таких сопляков, как Лейтенант,— себе дороже. Если оглядываться на каждого подозрительного человека, то дело с места не стронется. Амбарщик проводил холодным взглядом отходящий катер, потрогал задний карман брюк и успокоился. Нет, чего, в самом деле, бояться? Амбарщик ни на какое теплое море не переведется и с судна этого, так хорошо ему знакомого и родного, не спишется, в отпуск тоже не уйдет.

Амбарщик приблизился к зеркалу и долгим взглядом посмотрел на свое отражение. На следующий день он списался с судна и ушел в отпуск. И надо же так случиться! — встретил Кэпа, который сообщил ему, что уходит завтра в длинный рейс вдоль линии Берега. Вопрос был решен...

...Студент проводил взглядом бойко пофыркивающую шлюпку, на буксире которой тащился сколоченный на месте плотик, где шалашиком была свалена только что выловленная рыба; вздохнул. В ушах его звучал негромкий впечатляющий голос Амбарщика, приказавшего ему, Студенту, никуда не отлучаться, а ждать его возвращения, помешивая палочкой уху в ведре и наблюдая за тем, чтобы на горизонте не появилось ни одной подозрительной личности, которая может про себя таить мерзкие мысли и стараться стащить

оставленный на берегу капроновый невод или просто позариться на рыбное место.

Студент был сражен той переменной, которая произошла в людях, вроде неплохо уже Студенту знакомых, когда они работали. Он любовался точными движениями их рук, скупыми одновременно и красивыми. Настрой для высокой производительности труда создавало обилие красного золота. Лица приобрели выражение величественной торжественности, забыты были посторонние эмоции, мешающие работе; ни лишнего движения, ни суеты, ни торопливости, ни пустого слова.

...Студент восхитился и онемел; эти люди предстали перед ним кузнецами собственного блага, кузнецами могучими и неутомимыми.

Рыба мало-помалу пошла в речку широким потоком. Ее стало так много, что она не успевала проходить в горловину устья, выскакивала на берег, чтобы, разогнавшись, как торпеда, застрять в ячее сетки.

Спустя час перегруженная шлюпка вышла из култука в туман, волоча за собою плотик к неподвижно застывшему в миле от берега судну. Трое товарищей неусыпно следили друг за другом, чтобы иметь возможность предусмотреть каждое неосторожное движение сидящего напротив. От любого неосторожного движения сидящего напротив края шлюпки могли наклониться, и за борт скользнут несколько десятков рыбин, что было равносильно тому, по подсчетам Амбарщика, как если бы взять да выбросить в воду несколько десятков купюр, которые во сто крат ценней, в общем-то, поганой рыбы.

Тарахтел мотор,плыли рваные клочья тумана, а трое пассажиров в странном экипаже, качающемся на необозримой поверхности водного пространства, занимающего более половины планеты по имени Земля, завели неторопливый разговор.

— Я ловлю рыбу не затем, что мне нужны деньги,— искренне признался Лева.— Мне не нужны ваши пятаки, пропади они пропадом. Да подавитесь вы своими башлями, кусками, сотнягами, четвертаками, червонцами и трояками. Все это мне ни к чему. Но мне перехватывает горло, когда я подумаю, что рыба эта достанется кому-нибудь другому. Не могу не доставить себе удовольствие посмотреть на перекосенную рожу какого-нибудь чувака, который метнет сеть, а в ней не будет даже захудалого гольчишки. Ему даже на уху не достанется, вы чувствуете?

Лева захохотал, откинувшись на спинку, и потер руки.

Несколько рыбин скользнуло за борт, и на лице Амбарщика появилось такое родное и знакомое до дрожи в коленках выражение брезгливого любопытства. Лева смешался.

Амбарщик же думал о том, сколько ходок за рыбой нужно сделать, чтобы, реализованная по спекулятивным ценам, рыба могла окупить затраты сил и времени. Получалось, что для полнокровного удовлетворения всех потребностей экипажа необходимо сделать не менее десяти рейсов.

Лева попытался понять, почему только одно упоминание имени Третьего сразу же лишает жизнь смысла и очарования, а то прекрасное, к чему всеми силами стремится душа, сразу перестает быть прекрасным. Но не может быть, чтобы Чиф не успел ничего придумать, прикинул он. Хотя что-то не давало ему покоя, какая-то подспудно зреющая мысль, что Чиф не сможет выполнить той миссии, которую возложил на него он, Лева.

...Когда теплоход полным ходом шел к этим местам, до которых было часов семь, Чиф вызвал Леву к себе и пригласил сесть. Старательно пряча взгляд в глубине неосвещенного угла каюты, Чиф сказал:

— Неплохо придумано. Но кто за это возьмется?

Оттого, что взгляд Чифа затерялся в углу, Лева смутился, чего с ним отроду не бывало, и спрятал свой под диванчиком, на котором сидел Чиф и под которым скопилось много пыли и чернела еще более густая тьма, чем в Чифовом углу.

— М-м-м-м-м-м... Я уверен в том, что все сделается само,— сказал Лева, наивно полагая, что все сделается само, но тотчас понял, насколько неубедительно и пошло все это звучит.

Чиф понимал, что все само собой сделаться никогда не сможет и что необходимы какие-то действия, направленные на первоначальное исследование возможностей по отчуждению Третьего. Поэтому он воспринял Левины слова как неубедительную и пошлую шутку.

— Я предполагал, что у вас есть некоторые соображения,— нерешительно сказал он.

— Ведь вы согласны, что Третий анфан-террибль? — в лоб спросил Лева.

Да, Чиф был согласен.

— Ему попросту не место на нашем образцовом судне с такой дружной спянной командой. Ведь он еще даст копо-

ти, он еще устроит нам Варфоломеевскую ночь, вот посмотрите.

— Кто это сказал? — вскрикнул Чиф.

— Это сказала Повариха. И, о! как она права!!!

— Ну, а-а-а?

— Вот-вот...

Чиф еще старательнее спрятал свой взгляд в углу, а Лева еще старательнее спрятал свой под диванчиком, на котором сидел Чиф.

Чифу было ясно, что Лева не сможет, да и не захочет нести миссию, о необходимости нести которую ему и хотел напомнить Чиф, потому что Лева был единственным и истинным автором этой миссии. Тем не менее какая-то подспудно зреющая уверенность, какая-то тревожная мысль подсказывали Чифу, что Лева не захочет иметь никакого отношения к осуществлению намеченного плана. Это мучило Чифа и, чтобы проверить свою догадку, он спросил:

— Э-э-э-э-э-э?..

— О-о-о-о-о-о!.. — Лева улыбнулся и показал большой палец. Зрение у него обострилось до такой степени, что он различал уже не только пыль, но и отдельные пылинки.

— Ясное дело, это сделаете вы, потому что я родился с такой светлой головой только для того, чтобы вылавливать мысли, витающие в воздухе. Вы ведь не только ничего не выловили, но и даже пока и пальцем не шевельнули. Кто же из нас должен браться за это дело? Не я, это не вызывает у меня никаких сомнений. Не я.

И Лева пронизательно улыбнулся.

Чиф не стал напоминать о том, что не кто иной, как он, ходил к прокурору, еще когда они стояли в порту. Ему показались ничтожными мысли о том, что когда-либо кто-либо примет это за заслугу.

— И-и-и-и... — тоскливо пискнул он.

— Угу, — буркнул разочарованный Чифом Лева.

Лева знал, что Чиф, в общем, слабый человек, нерешительный, безвольный и инфантильный. Он был неудачник и грубиян. Лева знал, что после каждого возвращения из рейса Чифа поджидает на пирсе пьяная жена и начинает колотить его, едва он только сойдет на берег. Дети пока молча обливают Чифа презрением за то, что Чиф еще ни разу не перевелся в торговый флот и ни разу не ходил за кордон, откуда ни разу не привозил ни единой тряпки и ни единой безделушки с яркими иностранными ярлыками.

Не обязательно было обладать Левиным знанием людей,

чтобы, глядя на это плохо прорисованное лицо с вялыми губами и ушами, торчащими на десять метров, со взглядом мягких, неопределенного цвета глаз и шишковатым лбом, не понять, что за человек перед тобой. Лицо это отнюдь не блистало приметами сильного ума и незаурядной личности, такой, например, как Лева.

Нет, нет, такой человек не сможет не только придумать пороха, он даже каши не сварит. Да он попросту никуда не годен, вон чего! И очень хорошо, что его колотит пьяная жена и молча презирают дети, — такие люди заслуживают, чтобы к ним так относились. Это хорошо, что дети его думают об отце, что он и Чифом-то стал по недоразумению. И жена и дети считали, что во сто крат выгоднее быть простым матросом на судне, которое ходит за кордон, чем быть Чифом или капитаном флота где-нибудь за Полярным кругом, но за кордон не ходить. Что имеет капитан флота где-нибудь за Полярным кругом? Ничего. А что имеет простой матрос на судах дальнего плавания, если он отличный матрос и добрый семьянин? Все. Что ему книги, которых Чиф прочел уже не один десяток, что ему это бесплодное корпение над какими-то записками, когда он не умеет отстроить ни одного дерзкого умозаключения и не может сообразить, что нужно делать с Третьим!

Чиф обречен оставаться неудачником. По всей вероятности, он, если его не забудет до смерти пьяная жена и окончательно не сравняют с грязью собственные, всегда правые дети, затаит в душе смятение перед этим странным миром и испуг перед возможным в недалеком, очень недалеком будущем одиночестве. Он сбежит из ставшим чужим города, а может, и из этого, не менее чужого и непонятного ему, мира вещей и людей. Друзьями он не обзавелся еще в детстве, а потом стал неинтересен и в юношеском возрасте. Когда Чиф женился, то был абсолютно никчемным человеком, разве что интереснее его самого была его романтическая профессия, которую он, несмотря на личные неудачи, все-таки приобрел и которая привлекла его теперешнюю жену своими большими возможностями, но которые, как показали события, на деле не осуществились. Все Чифовы натужные попытки приблизиться к интересам окружающих его людей, будь то дома, в кругу жениных знакомых, в городе, в пароходстве, на судне, неизменно и самым непонятным образом заканчивались новым и острым разочарованием в нем, Чифе. Как ни лез он из кожи вон, как ни грубиянил, скрывая свою растерянность и обиду, ему не

удалось сдвинуться ни на йоту выше по шкале оценок тех людей, к которым стремился. Окончательно упавши духом, Чиф решил не отрываться от них, чтобы еще больше не упасть духом. Единственными его товарищами стали компас в каюте, который показывал все отклонения, повороты и курс с такой же точностью, как и основной — в нактоузе перед рулевым-матросом, да клеенчатая тетрадь, в которую Чиф частенько заглядывал, уединившись в своей каюте. Однажды Лева заглянул в эту тетрадь, уединившись в каюте Чифа, когда того там не было, и прочел на титульном листе: «Совершенно секретно. В случае опасности уничтожить», а ниже шел перечень опасностей, при возникновении которых необходимо было уничтожить оную тетрадь:

- «Извержение вулкана Попокатепетль (Мексика);
- Великий чумной мор;
- Повышение содержания ртути до смертельной дозы в Мировом океане;
- Порубка лесов и эрозия почвы;
- Необратимые заболевания легких и сердца;
- Всемирный тайфун «Элизабетта»;
- Поломка всех книгопечатающих устройств;
- Размножение микроба, питающегося картинами старых мастеров;
- Исчезновение голоса у баса Петра Сидорова».

Потом шел текст настолько странной истории, что, начав ее читать, Лева выпучил глаза и оторопел. Действие в этой истории происходило в стародавние времена на каком-то парусном корабле, которое неизвестно зачем и неизвестно куда перлось сквозь шторма, непогодь и всякие напасти по осеннему морю. Сам Чиф выступал здесь то под собственным именем, то в облики какого-то там Лейтенанта Его Императорского Величества и выглядел настолько странной и героической личностью, что Лева сразу же ему не поверил. Еще чего, буркнул Лева; что-то мало ругательств и проклятий встречается на этих страницах. Но, если писал не Чиф, то кто? Эрго — писал Чиф. Значит, Чиф не Чиф, раз он это пишет. Нужно будет шепнуть Кэпу, что Чифу доверять ни в коем случае нельзя: пусть об этом узнает Амбарщик.

«А действительность была в том, что измученные матросы стонали в прогорклой тьме кубрика», — начиналась эта история и далее на пятидесяти страницах продолжалась и заканчивалась, отдавая запахами моря, горелой ворвани и нечистот.

Дальше прочитать из этих бредней Лева ничего не удалось: в коридоре послышались шаги Третьего.

Едва заметная дрожь от работающей машины, которая передавалась и в каюту Чифа, да плеск воды за бортом говорили Чифу, что он еще жив, хотя и одинок, и, ориентируясь на невидимые огни, движется куда-то во вселенной. Это движение в никуда странным образом утешало Чифа, давало ему почувствовать иллюзию жизни, так что иногда, посмотрев в иллюминатор, Чиф понимал, что это должно когда-то кончиться, что неизбежно вслед за иллюзией придет нечто, что может перевернуть всю его жизнь. А пока он корпел над своими записочками да глазел на компас, отмечая правильность следования заданному курсу. Еще взгляд Чифа неизменно останавливали сумрачные глаза Командира, которые светились как бы собственным огнем в глубине рисунка. Чифу казалось, что он близок к разгадке его таинственной судьбы, судьбы человека, столь стремительно избежавшего на вершины человеческой деятельности и так трагически оттуда сорвавшегося. Временами Чифу даже мерещилось, что Командир мог понимать одну вещь, от которой зависело многое; что один за всех — это хорошо, но неосмотрительно, а один против всех — неправильно, это находится в противоречии со всем тем, что человек накопил, создал и чем живет. Это — гибель. И может статься, трагедия Командира в том, что он понял это в последние минуты своей жизни? Человек должен жить так, как хочет, и это его право, и право вдесятеро, когда желание жить так, как он хочет, совпадает с желанием остальных. Но в этих рассуждениях Чифа всегда не устраивало нечто, что он и сам бы не мог определить.

...— Так я, может быть, между прочим, пожалуй, кстати, разве что, пойду,— напомнил о себе Лева.

Чиф встрепенулся, потер руки и закивал головой:

— Да-да-да...

Лева осторожно вытащил из-под Чифова диванчика свой взгляд, а из-под кресла — глубоко застрявшие ноги, попятился задом, открыл дверь и исчез.

С этой самой минуты они избегали встречаться и разговаривать с глазу на глаз. Лева, полный искреннего интереса к Чифу, не упускал тем не менее ни одного благоприятного случая, чтобы поинтересоваться его состоянием. Он опускался в слесарку, отодвигал ногой неподвижную тушу Семена, который, по обычаю, спал на наковальне, и снимал трубку телефона. Когда в наушнике появлялось длинное,

как кильватерный след, и тяжелое молчание Чифа, Лева замирал, пытаясь проникнуть в состояние Чифа. Делал он это для того, чтобы выяснить, не замучили ли его еще муки совести из-за того, что тот собирается сотворить с невинным, в сущности, Третьим, который виноват разве только в том, что попал совершенно случайно на судно, где чифом был Чиф. Попади он совершенно случайно на другое судно, логически выводил Лева, то зуб на Третьего имел бы уже другой чиф, но это дело Третьего. Никто ж не виноват, что он такой пенек горелый: не может договориться с экипажем. Послушав длинное и мучительное молчание Чифа, который ломал голову над тем, кто же с ним шутит таким страшным образом, Лева говорил в трубку, не боясь быть опознанным, так как храп Семена и грохот работающих механизмов делали голос его совершенно неузнаваемым:

— Я вам скажу одну вещь, хлопчик, от которой вы будете икать до самого Нового года. Слушайте: «Темпора мутантур, ет нос мутамур ин иллис», что в переводе с латыни означает: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними».

Он удовлетворенно закрывал записную книжку и глаза.

— Кто это сказал?! — вскрикивал Чиф.

— Это сказал я, — посмеивался в трубку довольный Лева.

— Кто «я»?!

— Стратон-Катон-младший с усами.

— Боже мой! — всхлипнул Чиф. — Оставьте меня в покое, пожалуйста!

Этот всхлип был таким неожиданным, что Лева в недоумении положил трубку. Он представил себе на минуту искаженное гримасой лицо Чифа, так непохожее на всегдашнее лицо Чифа-грубияна, и пожал плечами. Продолжая напряженно размышлять, в чем секрет колдовского речитатива «Третий, Третий, Третий», Лева покинул слесарку и увидел, как в каюте Чифа тихонько приоткрылась, а потом приказалась дверь.

Третий вовсе не такой пенек, думал Лева. По всей вероятности, он не ладит с экипажем не потому, что родился таким уродом или аспидом, а потому, что у него попросту нет выхода. Ну, что это за человек?! Он не может делать совершенно естественных вещей. Он не может кинуть на лапу, не может, воровато оглянувшись, ущипнуть Повариху или изменить с ней собственной жене, не умеет подкатиться к Кэпу и проиграть ему несколько партий в дурака, чтобы попроситься на вахту только после того, как судно

покинет порт, не может шепнуть на ушко Чифу, что Дед его заедает, а Деду, что его заедает Чиф, не умеет сказать мне, что у меня самая светлая голова в бассейне. Да он попросту обречен на вымирание, как какой-нибудь допотопный ящер. Его трагедия в том, что он это понимает и старается не обращать на свое понимание никакого внимания. Лева вспомнил, как с ним разговаривал вчера Чиф. Не хотел бы я в эту минуту оказаться на его месте, когда в двух шагах стоит этот свинячий потрох и что-то требует, признал Лева. А Чифу хоть бы что — разговаривает и еще просит. Только как Чиф с его нерешительностью вообще может что-то выдать наедине с Третьим, вот чего я не понимаю. Разве что как заведенный ругается и грозит?

Первое путешествие Он совершил на самодельном плоту. Он отчалил от берегов Южной Америки, имея целью достичь островов Самоа. Это тихоокеанская трасса. В задачу входило накопление опыта и его систематизация для помощи потерпевшим кораблекрушение. Почти через десять лет Он опять отправился на стальном тримаране уже по другому маршруту — от Южной Америки до Австралии — и, претерпев множество невзгод, добрался до конечной цели. Капитану исполнился к моменту возвращения семьдесят один год.

И первое и второе путешествие потребовало от Него отдачи всех сил. Холод, сырость, одиночество. Он падал за борт, сорвавшись с мачты; падал и на палубу, сорвавшись с мачты во второй раз; испытывал страшные боли в истощенном морской водой и мукой желудке; паралич, который Капитан преодолел усилием воли; изнуряющая бессонница; крушение на атолловых рифах вымотали Его окончательно, но Он отправился в третий рейс, на этот раз в маленькой яхте, названной им «Крошкой». Началось плавание в Нью-Йорке, а закончиться должно было в Плимуте.

На полпути Его опять свалила болезнь, и рейс вынужденно прервался. Казалось, Старика перестали щадить болезни, до того обходившие Его стороной, но Он был из тех людей, которые не привыкли обращать внимания на них.

В семьдесят четыре года Он снова отправился на «Крошке» в Атлантику, и снова Его постигла неудача: в шторм Он лишился припасов, а держаться, как прежде, на сырой рыбе и подмоченной муке уже не было сил. Но возвращение не означало капитуляции. Старик решил отпраздновать семидесятипятилетие в море и опять взялся за снаряжение и пере-

делку «Крошки». Он как бы задался целью пересечь океан с наибольшими неудобствами, которые для старого человека были неудобствами втройне: каютка едва вмещала человека в лежащем положении, а чтобы встать в ней в полный рост, не приходилось и думать. Площадь парусов была едва ли не минимальной для того, чтобы яхта могла как-то передвигаться и слушаться управления.

Итак, Он поднял парус в Атлантике в последний раз. Образ капитана Уильямса ассоциировался с мысами, румбами, парусами и штормами. Капитан вызывал уважение не только у моряков: Он был известен всем, у кого при виде куска ткани над судном замирает сердце. А Он оставался приветлив, скромен и прост. Неудачи и лишения, которые выпадали на Его долю, могли сломить кого угодно, но Он устоял и с неистребимой энергией принимался за новое предприятие. Тихая жизнь Его не прельщала, а для путешествий по морю оставалось все меньше и меньше времени. У Него не было тупого и безжалостного к себе желания поставить рекорд на скорость, дальность или риск, нет. Он не был отчаянным авантюристом от моря; такие суетные желания, как доказать кому-то, что Он обладает железной выдержкой и смелостью, Его не обольщали. Хотя так о Нем думаю я. Но, независимо от того, что думаю о Нем я, было так же понятно, что Он вышел один на один с морем не только для того, чтобы потягаться с собственной старостью.

Он был человеком, чье неизменное мужество и бесконечная стойкость, неистощимое жизнелюбие и добрая простота делали Его Человеком с большой буквы. Я нередко представлял себе, сколько раз Он выходил на палубу своего судна, всматриваясь в далекий горизонт — что готовит ему сейчас море? Выцветшие, прищуренные глаза Его всегда встречали только море и появляющуюся на горизонте тучу, которая сулила дождь. Это хорошо, думал Он. Можно теперь будет смыть соль с тела и прополоскать одежду. Да и в канистры не помешает набрать свежей воды, старая вода уже портится. Иногда Его сшибала с ног упавшая на плот волна. Крепка, думал Он, но я-то устоял на палубе. Нужно будет привязаться. Этот шторм не сильный, но он потреплет меня, нужно приготовиться. Океан хорош в своей слепой злости, а мне нельзя поддаваться. Когда выглядывало солнце, Капитан одобрительно кивал появившемуся светилу: молодец, ты появилось вовремя, я так озяб и промок, что мне без тебя не обойтись. Если стихал ветер, Капитан садился на палубу и

начинал плести концы или ремонтировать излохматившийся парус. Только тебя не хватало, штиль, думал Он, мне как раз нужно заняться ремонтом, ведь на следующей неделе опять двинутся шторма — нужно готовиться. На следующей неделе надвигался циклон или длительный изнуряющий шторм, когда не хватало времени на то, чтобы передохнуть несколько минут и поспать. Сегодня у меня смыло мешок с мукой и ящик с галетами. Пора переходить на сырую рыбу, нужно готовиться к рыбной ловле и диете. Он отряхивал с себя соль, расчесывал отросшую седую бороду и опять вглядывался в линию горизонта.

Я немного романтизирую Его, но это неизбежно, если знать, на сколько ступенек Он поднимал человеческий Дух, как укреплял веру в силы человека, укрупнял его личность, не побоюсь громких слов.

В этот день, когда в высоких широтах вахтенным нашего траулера был замечен в воде продолговатый предмет, который при близком рассмотрении оказался микроскопической полузатопленной яхточкой, я уже предчувствовал, что должно было что-то произойти. И, когда яхточку поднимали на борт и укладывали на палубу, я уже знал, что это было.

Я уже знал, кого нет в каюте этого крохотного парусника: того, чья тень ложилась на палубу, когда светило солнце, и чья рука удерживала румпель, когда на яхту падала отвесная стена воды.

Сердце мое инстинктивно выделяло из массы более везучих и более знаменитых соперников именно Его. Меня привлекал образ этого бескорыстного покорителя Океана еще во время Его первого плавания на плоту; следил я и за сообщениями о Его попытках выйти в рейс на «Крошке». В то время, хотя я и не переживал Его неудачи, как свои собственные, образ Его полон был для меня человеческой теплоты.

В каюте была найдена проржавевшая шкатулка, покрытая ракушками и водорослями, в ней обнаружили бумаги, документы и морской паспорт на имя Джонса Уильямса. В неотправленной записке сообщалось жене, что Капитан жив и что Он просит помочь ему продовольствием, так как у Него во время шторма была смыта за борт и испорчена большая часть припасов.

На столе бережно расправлены и разглажены слипшиеся подмокшие бумаги. Каждая запись переводилась на русский язык. Вокруг стола стояло много молчащих людей, а мне, молодому рыбаку, не было стыдно своих слез. Я с трудом

вникал в слова переводимых записей: «Крошка» имеет пробоину сверху... трепещу при мысли... Человек... Истощение может довести до сумасшествия... И немедленно пойти ко дну... Проклятие... солнышко...»

Последняя запись была сделана за два месяца до Его дня рождения и за четыре месяца до того, как яхта была обнаружена. Капитан готовил сообщение о находке и о том, что владельца яхты, подданного Соединенных Штатов, в яхте не обнаружено.

Я еще раз потрогал рукой избитое дерево «Крошки», заглянул в каюту. Я нашел тогда этот карандашик, привязанный тонкой бечевкой к столику.

Некоторые слова начали внушать мне мысли о том, что Капитан сдался Океану, что Он мог принять решение вернуться на берег и больше не делать попыток выйти в море. Неужели Он, всегда находящий в себе силы оправиться от удара и плыть дальше, мог решить не рисковать? Это Он, терпеливый и мужественный мореход? Нет, Капитан сделан из того материала, который идет на вечные постройки.

Он мог поддаться минутной слабости, ведь Он же человек; Он мог дотянуться до карандаша и написать записку, где просил всех, кто это может сделать, доставить Его домой, с тем чтобы больше никогда не ступать на борт судна. Такой записки в Его бумагах не было.

Я попытался представить себе те жестокие минуты, когда измученный Капитан ловил в воде сломанную мачту и засовывал ее в каюту — пригодится. Он забирается туда и сам, перебирает в сумках с мукой и сухарями, но там нет ничего, более или менее пригодного в пищу. Он набирает горсть перемешанной с соленой водой муки и пытается запить эту еду несколькими глотками морской воды. Яхта щепочкой взлетает вверх, проваливается вниз, Капитан загораживает спиной отверстие люка, с которого сорвало крышку, но воды не убывает. Ничего не дает и откачка ее ножной помпой: доски набора разошлись, и в щель не переставая хлещет вода. Утонуть Яхта не может, у нее большой запас непотопляемости, но под тяжестью воды она оседает, становится менее верткой, волны продолжают ее швырять. Тело не согревается промокшей одеждой. Капитана начинает бить озноб. Вернулась и боль в желудке, терзавшая Его в первом плавании. В полубессознательном состоянии Капитан выбирается на палубу, чтобы хоть как-то выровнять суденышко, поставить его носом против ветра; Он осматривается, не видно ли вокруг земли или судна, но ничего, кроме громадных черных волн и тем-

ного неба, разглядеть нельзя. Он уже не помнит, что отсоединил страховочный конец: ударом волны Его отрывает от палубы. Ослабевшие руки не держат потяжелевшее тело. Понимал ли Капитан, что гибнет? Сознание Его уже потухло, тело не повиновалось.

Вот так или примерно так все и произошло.

Студент подбросил в огонь сушняка и помешал в ведре палочкой. Звук удаляющегося мотора гас в тумане, растворялся во мраке вечера. Студент нехотя пожевал рыбы, взобрался на дерево, но оттуда не было ничего видно, и он опять спустился вниз. По звуку было слышно, как шлюпка приблизилась к судну, мотор затих, послышался скрип талей. Через пару часов шлюпка вернется, и снова Студент будет иметь счастье лицезреть одухотворенные лица работяг.

Студент очаровался долиной, по которой протекала река, дикими зарослями вдоль берегов. Это была клевая долина, импрессионистическая и помрачная, таких долин не могла видеть даже Семиглазова из их класса, которая частенько ездила с отцом в разные места, когда поездки совпадали с ее каникулами. Пожалуй, Семиглазова ничего, размышлял Студент, только бантики она все равно носила не так, как носила их его тайная любовь, с которой он был однажды на свидании.

Он лег в высокую траву и стал смотреть снизу на небо, просвечивающее сквозь туман, и на траву, которая казалась вековым лесом, мощно взнесшим свои вершины в поднебесье. Повернув голову, Студент увидел большой валун среди реки, засиженный чайками, через который пыталась перепрыгнуть идущая вверх по течению рыба. Она выскакивала из воды, шлепалась о валун и скатывалась обратно. Трава на противоположной от Студента стороне реки ложилась под дуновениями тихого ветра, будто ее гладила невидимая ладонь. Природа была полна естественными шорохами и шумами. Плескалась в речке еще не выловленная ценная красная рыба с зернистой икрой в брюшке.

Поворочавшись на жесткой земле, Студент пытался отвлечься, начал думать о чудесах и так далее... Но мозг упрямо возвращал ему облик Инженера с его покрытыми пигментными пятнами руками и лицом.

Отвлекло его какое-то движение в кустах на склоне бугра или сопки, вершина которого пряталась в тумане. На кончиках ольховых ветвей стали появляться и исчезать радужные наросты, похожие на большие мыльные пузыри. Они пучи-

лись, росли, потом с треском лопнули, а из них посыпались блестящие искорки, бижутерия какая-то, стекляшки, которые медленно падали на землю, планируя, как тополевые пушинки. Из этих стекляшек вырастали не то младенцы с крылышками, не то крохотные буцефальчики, которые разлетались во все стороны с невнятным щебетом. Может, это были клочки чьей-то шерсти, трудно сказать, стало плохо видно предметы.

Камень тут в речке зашевелился, рыба испуганно вильнула в сторону, а из-под камня вылез странный чувак. Он отряхнул с себя воду и помет и начал осматриваться. Одет он был странновато для этих мест: не то телогрейка, не то армяк, подпоясанный ремнем с самой настоящей саблей, так называемой «рабочей». Русский чуб выбивался у него из-под не то шапки, не то папахи, на лице торчали во все стороны пегая бороденка и усы, а глаза, похожие немного на глаза полярной совки, пронзительно вытаращились на Студента. Сильно смахивал он на казака. Да, на казака.

Казак померял ногой в высоком сапоге глубину воды у камня, но перейти здесь, не замочив ног выше колен, было мудрено, что Казака не остановило. Он, ухнув, прыгнул в воду, поднял веер брызг и в два приема очутился на берегу.

— Чудненько, — молвил он, полез рукой в карман и достал оттуда коротенькую, уже будто разожженную, трубочку, сунул ее в рот и запыхтел, мерзавец. Прошел неторопливо по берегу, пуская теплый дым, остановился у раскуроченной Семеном рощицы и потянул носом воздух. Запах ему чем-то не понравился: Казак покачал головой и сплюнул сквозь зубы. Место, изгвазданное кровью и слизью разделанной рыбы, он тоже посетил и внимательно рассмотрел рыбы потроха, которые в уху не идут, и поблескивающую чешую в траве, где лежал Студент.

— Тэ-э-эк-с, все ясно, — сказал он.

Студент ломал голову, пытаясь рассмотреть за этой маской чью-нибудь знакомую до колик в животе судовую рожу, но ничего похожего не было. Кто это такой? Как он сумел раздобыть себе саблю, да и вообще как он сюда попал?

— Эх, как дал бы булатом за такие дела! — выругался Казачина и загнул такой матерок, что Студента чуть не сдуло с места. — У тебя, Студент, голова на плечах недолго продержится, если это ты тут воду мутишь, — пригрозил он. — У меня это недолго — раз-два, а потом склеивайся как хочешь.

Студент понял, что ему крышка, что дело, по всей вероят-

ности, пахнет кровью. Он резво вскочил на ноги, но Казак схватил его за плечо железной хваткой и сказал:

— Пока не исчезай. Я с тобою перетолкую, малец.

Бедная Студентова душа ушла в пятки: Казак гоняться не любил, это было видно по нему, а привык поступать несколько по-иному.

— Тебя почему Студентом кличут? — потребовал ответа Казак.

— Э-э-э... Я среднестатистический бывший одноклассник десятиклассников, — пролепетал он что-то несусветное. — Теперь вот плаваю на судне не то учеником матроса, не то учеником моториста, и все потому присвоили мне кличку «Студент».

Казак выругался про себя и воззрился на Студента.

— Буровишь хрен тебя зна что! Я, в общем, интересуюсь твоим отношением к предметам, нас окружающим.

На это Студент не мог ответить. Черт знает, как нужно относиться к предметам. Они есть, и этого со Студента достаточно. Он разберется во всем этом позже, когда у него вырастет борода, а то и позже того.

— Суслик ты, больше никто, — обозлился Казак, словно прочитав ответ в Студентовых глазах. — Колода немоговорящая!

Студент в душе запротестовал. Ему не нравилось, когда его оскорбляют в таких выражениях, которые могли подойти к Инженеру, например.

— Ты что ругаешься, дядька! С ума, что ль, спятил?!

— Я вот тебе поперечу, я тебе поперечу, — уже более миролюбиво пригрозил Казак. — Хорошо, что хоть себя в обиду не хочешь дать. За это я прощаю твою невоспитанность.

Студент восхитился такой постановкой дела: надо же, сам клянет Студента на чем свет стоит, ругается и чуть на драку не вызывает, а он, Студент, оказывается и виноват. Откуда он, с луны, что ли, упал? Или все-таки выбрался из-под этого камня, которым его придавили, лет эдак, скажем, триста пятьдесят назад. Теперь вот выкарабкался оттуда и начал задавать свои дурацкие вопросы?

— А как Держава? — нарушил Студентовы размышления Казак.

— Держава? — не понял Студент. — Держава не шелохнется.

— «Не шелохнется», — передразнил Казак. — Как же она не шелохнется, когда за нее стоять некому! Ты, что ль, за нее

стоишь? — И он повел глазами на покареженную рощицу и на рыбы потроха.

— Какую вы, собственно, державу имеете в виду, объясните конкретно-популярно? — попросил Студент, ибо их беседа стала напоминать урок географии.

— Ну, это как на немой карте, — затруднился Казак. — Вроде территория знакомая, все реки есть и горы, названий только нет. А уж на ней все города там и острожки понасажены, вся остальная Держава. Ту, немую Державу нужно стеречь пуще глазу, ибо, не удержи ее, тогда и остальному конец.

Точно, точно, это был урок географии. Может, он учитель? — прикинул Студент, учит по привычке: увидел патлатого и безусого и учит, ясное дело. Только сабля зачем? Чтоб быстрее доходило?

— Ух, гады! — Казак запрыгал на одном месте и принялся яростно хлестать себя ладонями по бокам и лицу. — Опять учуяли. Ну, теперь мне спасу нету.

И правда, со всего Берега, выкарабкиваясь из-под листочков, травинки и снимаясь с болотистых луж, сначала собираясь в небольшие стайки, потом гуртуясь, начали слетаться комары. Они тянулись длинным шлейфом над горами, над лесами, над тундровой пустовертью и над сверкающими ручьями, достигали этого ручья и набрасывались на Казака. Студента они не трогали, потому что он перед этим намазался какой-то антикомариной пакостью и теперь блаженствовал, глядя на покусанного чувака. Казак же все сильнее прыгал и хлопал себя по всем частям тела. Было похоже на то, что они съедят Казака и костей не оставят.

Студент сжалился над ним и протянул ему антикомарин. Казак неумело намазался им, но это ему не помогло: комары еще сильнее набросились на его, на только что намазанные открытые участки тела. Казак вынужден был забиться почти в самый огонь костра и оттуда принялся поносить Студента за то, что он ему посоветовал намазаться такой пакостью.

— Вот видишь, — рычал он из клубов дыма, — что ты мне насоветовал?! Да они меня съедят и костей не оставят!

— А почему тогда они меня не трогают? — недоумевал Студент.

— Ты не ври! — бесновался огонь и дым. — У тебя, сукина сына, иммунитет. У всех вас, сукиных сынов, иммунитет. А меня вот кусают злей год от года. Почему?

От Казака уже валил дым, но Казак терпел-терпел и дотерпелся до того, что комары искусали его уже в кровь, в са-

мом огне, видно, для них это был лакомый кусок. Казак взвыл и вылетел из пламени, таща за собой хвост огня. Он кинулся в лес, причитая и нелепо размахивая руками. Бежал он так быстро, что только сушняк трещал вслед за ним да свистел комариный шлейф, втягиваясь в просеку, образованную им.

Студент хотел бежать вслед за Казаком, чтобы помочь хоть чем-нибудь, но того и след простыл. Студент остановился. Вокруг было так тихо, так пахло болотной сыростью, что Студент с интересом стал всматриваться в чащобу. Над туманом выпрыгнула и повисла луна, будто нарисованная расплывающимся серебром, пронзительно просвечивающий сквозь туманное одеяло появился перекат, и на перекате тенями выскакивала вверх идущая рыба. Студент загляделся, понемногу ему стало казаться нелепым и нереальным происшествие с Казаком. Откуда он мог тут появиться? Студент вздохнул и почесал голову. Похоже на бред сивого мерина. Казак этот вовсе не казак, а какой-то псих, сбежавший в эти края, не иначе, да и этого психа не было. А то — напятил на себя саблю и ходит учит. Нету тебя, драгоценный, приснился. Натравить бы на тебя Амбарщика, тому достаточно только посмотреть на Казака своим ледяным взором, и — готов, скис.

Но вряд ли Казачина скиснет, подумал Студент, этот не из таковских, если он только мне не приснился. Скорее это Амбарщик скиснет, если на него посмотрит Казак.

Студент вспомнил, что подходит время возвращения экспедиции, и его уже ждет на берегу троица работяг. Худо ему придется, если сеть стащили. Нужно поскорее возвращаться, а то Амбарщик его с травой сравняет.

И он помчался назад, перелетая через буераки и стволы поваленных деревьев; он птицей проносился между кустами и прыгал, как хорошая гончая.

При свете дымящегося костерка он увидел лежащую на песке сеть, а в заводи было пусто. Студент почувствовал некоторое беспокойство. Вздравшись опять на дерево, он попытался рассмотреть что-либо за ватным одеялом тумана, но дальше десяти метров ничего не было видно.

Студент вспомнил, что на другом берегу находится высокий бугор. Нужно подняться на него и посмотреть, может быть, с вершины бугра, торчащей над слоем тумана, удастся разглядеть на море огни судна и услышать звуки мотора.

На бугре было еще интереснее, чем внизу. Луна освещала шевелящееся серое, с пятнами, чудище, которое при внимательном рассмотрении оказалось ползущим с гор в море ту-

маном. Из тумана высовывались вершины гор с засыпанными кое-где снегом щелями распадков, из ваты его вырастали высокие деревья, выползали, словно свитки длинных посланий, склоны сопок, обсыпанные буквами-кустами. Местами, там, где одеяло тумана переползало перевал, было видно его пушок, будто подсвеченный ворс верблюжьего пледа, а там, где одеяло скользило вниз по скату, лучи луны падали на него под острым углом, и казалось, в этих местах блеснит тусклое зеркало. В разрывах мелькали иногда повороты ручья, провалы распадков, казавшихся в тени тумана еще чернее, еще глубже, чем были на самом деле. Дальше, за пределами видимости, сияла пустота, серебристая и бесплотная, а море виделось только в десятке километров от берега, где туман словно всасывался в воду, исчезал, сливаясь с водяной гладью. Доносились сюда и шорохи моря, плеск прибоя, крики уток и куликов.

Студент вдруг почувствовал в себе пустоту. Он еще раз обвел взглядом окружающее пространство и — похолодел. Сквозь толщу тумана, который стоял у самого берега на небольшой, метров десять, высоте, должны были быть видны окончания мачт с топовыми огнями, но их видно не было. Даже если бы топовые огни не горели, то должны были быть видны тени от мачт на покрове тумана или зарево от огней, горящих на палубе и в надстройках. Ничего. Тут Студент обратил внимание и на то, что не слышно звука не только шлюпочного мотора, но и тихого глуховатого стука вспомогательного двигателя во чреве судна. Студент осмотрел линию далекого горизонта, но и там не было признаков удаляющихся огней.

Студент схватился за голову. Неужели судно успело уже уйти далеко и скрыться за линией горизонта? Он еще раз ощупал жадным взором поверхность тумана, не соображая, что огней судна не может быть видно на месте расположения вон той горы или внизу, под самым бугром. В его душе возникло тоскливое предчувствие непоправимого несчастья.

Так и есть — судно исчезло! Оно взорвалось в ночи и камнем пало на дно моря, оно наскочило на рифы и лежит теперь на боку с разорванной кормой, безжизненное, как дохлый кит, оно было разбито вдребезги упавшим метеоритом, оно испарилось, оно аннигилировалось!!! Все было кончено — Студент погиб!

Хрупкая пляшущая скорлупка на глади Мирового океана исчезла.

Студента на миг посетило дикое чувство, будто ему при-

виделось это судно, нашептал ему, сонному, про этот рейс отец, когда он дрых в кровати у себя в спальне, привиделась страшная Повариха и истина Инженера.

Он колобком скатился вниз, влетел в речку по самый пупок, споткнулся и упал в воду. Течение едва не сбило его, а какие-то скользкие холодные чудовища начали тереться об него своими туловищами, обжигали его все сильнее, будто хотели утащить в глубины морские неизвестно за какие грехи. Студент стал метаться, не зная, к какому берегу прибиться, опять упал, его покрутило в воде. А рыбы пинали его своими холодными рылами. Полный животного ужаса, Студент выбежал на берег, навалил в костер веток. Пламя полыхнуло с новой силой, обдало Студента жаром и дымом, он опомнился и понял, что еще жив и судно действительно ушло.

Его затрясла мелкокалиберная трясучка, переходящая в крупную дрожь. Костер разгорелся и принес тепло, но окончательно лишил Студента спокойствия, ибо круг света, отбрасываемого костром, казался последней линией, за которой костер обступали со всех сторон ужасные видения; опасность, безысходная тоска, дикость и смертельная тишина, в которой затаился какой-нибудь псих, вроде давешнего божедома Казака, какая-то мрачная невидаль.

Казак-божедом еще может вернуться и притащить с собой еще кучу каких-нибудь божедомчиков, один страшной другого, а то и просто людоедов, черт знает что на этом пятачке суши может найтись ужасного и неизвестного Студенту?!

Студент на секунду представил себе, что вокруг него на несколько сотен квадратных километров расстилается этот самый кусок суши, изрезанный оврагами, руслами речек, покрытый горами и растительностью, окруженный абсолютно со всех сторон холодной морской водой, где в глубинах спит вечным сном весь экипаж, и нигде на этом участке суши нет ни одного доброго человека, который мог бы прийти к костру и ласково погладить Студента по голове. Вместо этого доброго ласкового человека затаился где-то полоумный Казак, потряхивающий сабелькой и высматривающий место, откуда удобнее всего добить Студента дурацкими вопросами.

Волосы на Студентовой голове встали дыбом, а по коже продернуло шестидесятиградусным морозцем. Образ, лелеемый Студентом в самой глубине души, который помогал ему в самые трудные минуты, заволокло изморозью, и от этого в груди Студента стало еще холоднее.

Он начал вспоминать своих мать и отца, одноклассницу, с которой некогда целовался, и понял, что все его опасения,

будто он, Студент, останется убежденным холостяком, попросту беспочвенны, потому что кто его отсюда вытащит? Студент зарыдал в полный голос, а отрывавшись, понял, что в его жизни не было ничего такого, о чем стоит жалеть. Жизнь его, заботливо охраняемая родителями, школой, государством, текла размеренно и неторопливо: об этой жизни просто нечего было вспоминать. Да и вообще можно было и не печалиться, если вспомнить, что и на судне-то Студент был незнамо кем. Не вернется он с этого затерянного в океане кусочка суши, поплачет мать, и отец взгрустнет, ну, может быть, вытрет глаза и одноклассница, если вспомнит о Студенте, да и все. А Студенту останется ждать, как Робинзону Крузо, вглядываясь в морскую даль выцветшими до серости глазами, и жечь сушняк, когда на горизонте покажется что-нибудь похожее на корабль. Он проживет здесь долго, еще лет сто пятьдесят, обрастет бородой, будет ходить в лисьих и медвежьих шкурах, которые будет сдирать с заваленного собственноручно зверя. Только вот доживет ли он до ста пятидесяти лет, это еще посмотреть. Если принять во внимание то, что сказал Инженер, то ему не дотянуть и до тридцати.

Как прощальный сигнал, как знак того, что Студенту пора прощаться и подбивать бабки, его напоследок опять навестил немного отогревшийся образ. С того самого мгновения, как ступил Студент за камень в далекой бухточке и увидел картину, поразившую его воображение, он не переставал обращаться к нему и находил в образе прелесть и смысл, пока ему недоступный.

Когда Студент имел неосторожность рассказать о том, что он видел, в кругу Амбарщика, Левы и Семена, те так и полегли от смеха. Семен тот вообще скорчился и не мог прийти в себя до тех пор, пока ему в рот не плеснули воды. У него даже сделался небольшой заиканчик. Обычно немногословный Амбарщик тоже не мог удержаться от смеха, фыркнул и раскатился элегантно, с иностранным акцентом, смешком.

— Хипец, ну хипец ты, Студент! — надрывался пришедший в себя Семен. — Да это ж все делается знаешь как? Да это же проще чемоданного замка, а у тебя небось даже не сработало, ну признавайся?!

Лева при мысли, что Студент стоял и смотрел на эту картину, будто пенек горелый, раскрыв пасть и даже ноги у него отнялись, не мог удержаться и наставительно заметил:

— Куда уж! Он разве может! И я вот в чем уверен — вокруг не было никого на целый километр, чтобы кто-то мог помешать или отнять верную добычу. Никого.

— Она же ваша! — заливался по-английски Амбарщик. — Да у нее нет никакой цены на международных рынках!

— Лабух ты, Студент! — расстроился Лева. — Сгинь с глаз моих долой!

Так что Студент больше и не заикался вслух о том, что ему довелось увидеть. И только когда рядом никого не было, Студент остороженько извлекал из памяти эту картину, бережно отряхивал ее от пыли и тихо лелеял.

...Когда судно было разгружено и местные мальчишки с гиком умчались воровать с груженных тракторов свежую морковь и огурцы из бочек, которые везли мимо населенного пункта на одну из Точек, Студент, разнежившийся на июньском солнышке, сбросил рубашку и побрел босиком по песчаной косе к обрывистому берегу. Сбоку на ноги накатывалась волна, лопаясь пеной между пальцами ног, и приятно холодила кожу. Над головой бестолково толклись чайки, веял теплый ветерок, и еще не досаждали мухи и комары. Студент отошел уже на порядочное расстояние от причала и подходил к непропуску, где напротив в песке лежали замытые наполовину приливной водой огромные валуны. За стеной непропуска виднелся уголок мелководной заводи, образованной впадиной непропуска и грядой торчащих из воды камней.

Студент попрыгал по ним, насколько мог далеко, потом вернулся к огромному валуну, который загораживал вход в бухточку, и обошел его по мелкой воде, благо шел отлив и вода была теплой.

И тут он и увидел картину, которая запала ему в душу навсегда. Впечатлительное его воображение было поражено до самых последних Студентовых дней.

В этом месте обрыв делал небольшую впадину, на дне которой было немного воды, хорошо прогретой солнцем. Днище было песчаным, кое-где его усеивали небольшие камни, видимые в прозрачной воде, которая доходила здесь только до пояса. На самом берегу лежали обкатанные камни, бока их обсыхали в тепле, отлив еще продолжался, и из воды выглядывали новые камни. Вот в этом зеркальце воды в оправе песка и камней Студент и увидел свою картину.

В заводи купалась обнаженная женщина. Вода скатывалась с ее загорелого тела, будто с горячей сковороды, и падала капельками — буль, буль... Женщину, видно, привлекли, заворожили игра солнечных бликов на воде, нежное теп-

ло, горячая, как на юге, вода. Она замерла, подняв руки к копне рассыпающихся волос, жмурила на солнышке глаза.

Студент не запечатлел в своей душе ни поднятых движением маленьких грудей, ни светлые пятна незагоревших подмышек, ни чуть выпуклый книзу живот, ни узкую талию, ни цвет ее волос, темных против солнца. Он же не запечатлел ни ее пухлых губ, ни слегка вздернутого носика. Нет, никаких таких подробностей Студент не запечатлел. А запечатлел он весь образ целиком, как, скажем, не замечаешь на солнце пятен: больно смотреть, да и необязательно видеть само солнце, достаточно ощущать тепло и свет его.

Испуганный, Студент отступил осторожно за камень и затаился там, чувствуя, как колотится у него сердце. Ему показалось, что женщина его заметила и сейчас должна была обернуться и воткнуть в него испепеляющий взгляд. Он pokrылся мурашками, подумав, что она раскритичится, широко разевая, как Повариха, рот и уперев руки в бока, да и понесет его по кочкам, обольет презрением за то, что он посмел явиться в этом месте, которое, как знает вся округа, нашла первой она и не собирается его никому уступать, дудки! Нечего тебе тут шарахаться, разве ты не видел дощечки перед входом в бухту, на которой написано, что здесь мое место? И не стой, как пенек горелый, ничего тебе не обломится! Мотай отсюда, пока цел, свинячий потрох! Развелось сопляков, ничего не спрячешь от них!

Но женщина ничего такого не кричала и не собиралась кричать, даже когда заметила легкое сотрясение за камнем, где спрятался Студент.

Она присела пониже и стала плескать на себя водой, и вода скатывалась с ее нагретой коричневой кожи — фр-р-р! Маленькие ее груди прыгали вверх-вниз, будто неизвестные Студенту птички. Потом женщина стала хлопать по воде ладонями и громко засмеялась. Кожа на ее спине натягивалась, отблескивая на солнце капельками брызг.

Из-под Студентовой ладони выскользнул мелкий камешек и с треском покатился по гальке. Женщина обернулась, искала глазами по берегу. В подсвеченных бликами солнца глазах ее мелькнул испуг, губы приоткрылись и...

Студент окончательно струсил и со всех ног кинулся бежать. Тогда, в начале рейса, он не бегал еще так хорошо, как сейчас, но на короткой дистанции мог дать форы любому на судне, кроме, конечно, Поварихи.

Но, когда он еще только набирал крейсерскую скорость, ему пришлось на ум, что это не та женщина, которая могла

кричать, широко разевая рот. Это совершенно другая женщина, сообразил Студент, но возвращаться не стал. Ему сделалось стыдно, что он подсматривал за нею, будто последний развратник.

Теперь Студент сидел и думал, что он остался на этом диком берегу совершенно один, наедине с этой женщиной, светлым взором заглядывающей к нему в опустошенную душу. Тихая грусть поселилась сейчас в Студентовой душе, тихая грусть да ощущение бесконечного одиночества. Ничегошеньки ему уже не было страшно: появившись перед ним хоть сию минуту Повариха с распахнутыми объятиями или затреши сейчас кусты и ступи в круг света, отбрасываемого костром, всклокоченный божедом Казак с острой саблей в руке, — и тогда бы Студент не испугался бы.

Сон опять незаметно сморил Студента, перед его внутренним взором поплыли круги и радужные пятна.

Вдруг затрещали кусты, и в круг света от костра ввалился всклокоченный Казак с саблей в одной руке. Широкими движениями он разил саблей туман и сухие ветки...

Студент уже готов был испариться, но Казак буркнул: — Сиди! Вот, дождался — гостей вожу таким говёшкам! Уф-ф-ф...

Он снял шапку и вытер ею потный лоб.

— Готова дорога, мать!

Казак обернулся к просеке и сделал хитрый реверанс: присел, попятился, подмел папахой землю, со смаком рубанул саблей воздух, чмокнул и поклонился.

...Студент чуть не упал. Дыхание у него остановилось, глаза полезли на лоб, а рот широко открылся: к костру из просеки, прорубленной Казаком, медленно приближалась та самая женщина, которую Студент видел купающейся в бухточке! Студент тайком ущипнул себя, но видение, если только это было видением, не исчезло: женщина была такой же реальностью, как и стоящий в полупоклоне Казачина.

Но что это стала за женщина!

У нее во лбу только звезда не горела; длинное до пят не то платье, не то туника с мерцающими блестками по сиреневому полю, открывающее одну грудь; на ногах туфельки с золотыми скаными пряжками; свободно рассыпанные по плечам темно-рыжие волосы забраны на лбу золотой диадемой. Губы она сложила в победную улыбку, а короткий вздернутый носик нацелился прямо на Студента. Он, между прочим, отметил,

что ее, несмотря на рискованный и не очень по сезону туалет, не кусают комары. Они вообще куда-то исчезли.

Так как Студент оторопел, за дамой начал ухаживать Казак. Он вытащил из-за спины кресло с сафьяновой обивкой и, смахнув папайой невидимые пылинки, неуклюже пододвинул его женщине.

— Мерси, мадам,— произнес он изысканно и покосился на Студента; мол, вот как нужно.

«Мадам» села в кресло с такой простотой, будто ей сотню лет подносили кресла с сафьяновой обивкой и она удостаивала их своим вниманием. Милостиво улыбнувшись Казаку, она и его пригласила сесть, на чем стоял, одним важным движением руки. Казак, польщенный таким вниманием, благодарно наклонил русский чуб и уселся прямо на землю у ее ног.

— Здравствуй, Студент! — обратилась она к мумии, в которую минуту назад превратился Студент.— Ты меня разве не узнал?

— Э-э-э... М-м-г-мм... — произнес Студент.

— Что-то ты не очень красноречив,— задорно сказала женщина.— Смотри, как бы с тобою не было скучно!

— Ослытя! — подтвердил Казак.— Оно разве умеет что сказать?

И он с преувеличенным вниманием принялся смотреть на Студента, как бы ожидая от того невероятной сообразительности и достойных такого случая слов, но так ничего и не дождался. Женщина, мельком взглянув на Казака, решила Студента выручить:

— Афанасий мне рассказал, как вы мило тут побеседовали. Ну, что ж, я очень рада, что вы смогли достигнуть взаимопонимания по ряду обсуждаемых вопросов.

Студент немного очнулся: ничего себе, он называет это «побеседовали»! Если он такой хитрый жук, может быть, он объяснит, какого именно «взаимопонимания» они с ним достигли? И что еще он наплел этой ослепительно красивой женщине?

— Э-э-э. Он действительно преподавал мне урок географии. Ваш Афанасий в приличных случаях выражениях рассказал мне о Державе.

— А-а-а! — женщина рассмеялась.— Это его конек, любимая тема.

Афанасий почувствовал некоторое беспокойство и зашевелился, с угрозой поглядывая на Студента.

Но Студент уже забыл про Афанасия, гораздо больше его стала занимать сама женщина. Интересно, как ее зовут?..

— Называй меня Флора,— мило молвила женщина, будто прочитав Студентовы мысли.

— А я Студент,— пробасил Студент.— Очень приятно! Афанасий с изумлением посмотрел на Студента: не ожидал, мол, не ожидал, bravo, Студент!

— А я знаю, кто за мной подсматривал,— лукаво усмехнувшись, сказала женщина.

Щеки Студента расцвели, будто маков цветок, и даже спине стало жарко. Женщина с любопытством посмотрела на него и чуть приметно и иронически улыбнулась.

— Мне нравится, как ты покраснел,— сказала она.— Мужественно покраснел, без всяких ужимок и отворачиваний.

Она откровенно рассмеялась, а Афанасий не знал, на кого смотреть: переводил взгляд то на Флору, то на Студента, кричал да поглаживал булат. Женщина еще раз пытливо всмотрелась в Студента, словно убеждаясь, что он краснел честно, без всякой липы, и сказала:

— Ну и истории с тобой случаются, уважаемый Студент. Мы продолжим наше знакомство, правда, Афанасий? Судно его вернется только утром, если вообще вернется: тут уж как повезет, поэтому приглашаю тебя в гости.

Афанасий подал ей телефон без шнура и розетки, который имел такой вид, будто его неделю назад изобрел Белл, а она сказала в трубку:

— Алло, Иван. У тебя все готово? Мы сейчас приедем. Афанасий спрятал телефон во тьму.

— Транспортируй гостя, Афанасий. А я доберусь своим ходом.

Она поискала что-то на подлокотнике кресла, нажала кнопку с видом довольства, какое бывает на лицах у людей, впервые садящихся на мотоцикл: кресло взревело, зачихало, приподнялось над травой и рухнуло обратно.

— Ой! — испугалась Флора.— Ну и новая техника. У Ивана вечно что-нибудь не в порядке.

— Это зажигание,— определил Афанасий.— Свеча бабахлит. А по мне так лучше пехом. Никогда не знаешь, как и где эта машинка поломается. Мне тебя прямо жаль отпускать каждый раз, когда ты собираешься лететь на этом гробу, мадам. Всего же лучше добрая коняшка.

— Вот ты и сделаешь, как предложил,— рассмеялась Флора.

Транспорт наконец завелся, повис над поляной, освещая туман посадочными фарами, потом поплыл, набирая ско-

рость, и скрылся за деревьями. Все это было так необычно, что Студент стоял, разинув варежку, и забыл, что он находится уже наедине с Афанасием.

— Ну, чего ты? — услышал он сзади голос Афанасия и, обернувшись, увидел оседланную лошадь. Из-под папахи, косо насаженной на уши, торчал клочок пегой гривы, завитой в кучерявый чуб, а на подпруге висела сабля.

— Туши костер, да поехали, — сказала лошадь.

Студент кивнул головой, решив ничему не удивляться, задушил костер, взгромоздился на коня, пнул его каблуками и сказал «н-ноо!».

— Я те дам «н-ноо!», — пригрозил конь Афанасий. — Жокей нашелся! Не жми ногами, мне и так дышать нечем. Ты думаешь, это мне прямо счастье подвалило — возить таких прощелыг. У вас же у всех иммунитет, — бормотал он.

Конь напрягся, подскочил на несколько метров вверх, но мягко спланировал назад, видимо, тоже зажигание не ладилось.

— У меня, слава богу, зажигания нет! — забрюзжал он. — И посадочные огни мне не нужны.

Со второй попытки он все-таки взлетел, бормотнув про себя, что-де мешок с дерьмом и то легче, и понесся над вечерней местностью, разгоняя комариные стаи.

Пока они летели, Студент решил сжать зубы и не думать, будто с ним происходит что-то необычное. В самом деле, кто скажет, что лошади не летают? А Пегас? Другое дело, что в Пегаса превратился человек, но это уж как он хочет.

Недоверие его вызывало только появление в этом месте и при таких обстоятельствах Флоры. Нужно будет узнать, кто она такая и почему у нее есть уверенность, что она может появляться среди людей и производить на них свое впечатление. Бывает ли так? Студент знал, что бывает.

Поэтому он, сжав зубы, вошел вслед за Афанасием, в которого опять превратился конь, под низкие своды какой-то пещеры и не удивился ни капельки, когда попал в некий зал, стены которого мерцали при свете свеч. Еще на подлете он заметил, что пещера эта находится среди высоких гор, и с этого места можно было видеть, как светилось при свете луны море. Еще более далекие дали, превращаясь в серебристую дымку, сливались с ночной бархатной тьмой, лишенной покрова тумана. В этой тьме слышалось глухое гудение, мелькали огни, внизу, на глубине, казалось, сотни километров, сияло зарево не то огромных городов, не то промышленных цент-

ров, где бежали поезда, взлетали самолеты и мчались автомашины.

У камина возле одной из стен, переливающейся всеми цветами радуги, сидела за столиком Флора и наливала в чашечки дымящийся кофе или какой-то густой настой из трав, аромат его разносился по всей пещере.

— Милости прошу, — сказала Флора, — чай да сахар!

Студенту, который после ухи уже успел проголодаться, чай да сахар не показались выходом из положения, но отказываться не стал. Может, это так и нужно, кофе или настой в чашечках?

Он внимательно рассмотрел Флору, успевшую переобуться в мягкие меховые тапочки.

— Угощайся, не стесняйся, — предлагала Флора, — вот печенье, сама пекла, а это нектар. То, что ты пьешь, цветочный настой, по моему особому рецепту. Он прибавляет сил, да и говорливости, — подковырнула она Студента. — У меня есть еще вино из роз и настойка ромашки. Это все мы пробуем. У меня так редко бывают гости, что я уж и не помню, когда угощала вином в последний раз. Но оно крепкое. Однажды Иван с Афанасием утащили бутылочку из моего погребка, так я их насилу нашла — они успели спуститься вниз и начали бить стекла в больших бетонных домах. Я их отругала, а Иван оправдался: зачем ты нас не угощаешь почаще, мы бы так не охмелели. Что с ними, мужчинами, сделаешь?

Попили настой. Студенту он показался вкусным, хотя и пахло от него травой и цветочками, но бодрил он сильно.

— А сейчас мы кое-что посмотрим. Иван!

За стеной что-то упало, потом из амбразуры в стене ударил луч яркого света и сфокусировался на возникшем впереди экране. Раздались невнятное бормотанье и глухие ругательства, свет потух и опять что-то упало. Флора улыбнулась и покачала головой.

— Не торопись, Иван. Это же новая техника. Иван — человек увлекающийся всеми новинками, но не всегда умеет справиться, — объяснила она Студенту.

— А кто он, Иван, такой? — осмелился полюбопытствовать Студент.

— О! Он у нас завхоз. На нем весь гараж, снабжение и всякая другая бытовая часть.

Студент открыл рот, чтобы спросить ее о том, кто такая она сама, но в эту секунду опять вспыхнул в амбразуре свет.

На экране замельтешили какие-то тени, зажурчала му-

зыка, свет то вспыхивал, то гас. Флора помотала кистью руки:

— Опять Иван что-то не то включил. Иван, — крикнула она, — поставь, что я тебя просила!

За стеной затрещало, потом кто-то сказал «Ой!», и снова слышались проклятия и бормотание.

— Ты чего скис? — обратилась она к Студенту. В эту минуту в пещеру вошел Афанасий и подергал саблю туда-сюда в ножнах.

— Ну, что: можно кончать? — спросил он Флору, поглядывая искоса на Студента.

Флора уронила чашечку, и та с печальным звоном рассыпалась на миллион кусочков, потому что была сделана из тончайшего стекла. Флора растерянно покачала головой:

— Ну и шутки у тебя, Афанасий! — сказала она укоризненно. Рассмеялась грустно, собрала осколки в вазочку, стоящую у стола. — Всегда что-нибудь у меня валится из рук. А ты, Афанасий, не шути больше так.

Афанасий обиделся и ушел. Через минуту он вернулся и вкатил на тележке большую картину, на которой был изображен не кто иной, как Студент. Но он там не был таким молодым, как сейчас, а было ему лет тридцать, совсем дед. Изображен он был на берегу моря, в глубине какой-то бухты, за спиной у него плескались волны, стояла водяная пыль и даже клочьями летела пена, проникая вместе с запахом водорослей в пещеру. Студент стоял причесанный, в новом пиджаке и смотрел решительным и целеустремленным взглядом вдаль. В выражении своего лица Студент увидел много нового; это уже не было лицо сегодняшнего Студента. Были во взгляде и лице его двойника уверенность, некая сила, которая приходит к человеку вместе с опытом и знанием, приобретенным ценой собственных заблуждений, колебаний и ошибок.

Студент с изумлением посмотрел на себя: ему показалось, что тот, другой Студент, подпоясан под пиджаком ремешком Третьего, тем самым ремешком, которым Третий подпоясывал свои брюки.

Афанасий сделал вид, будто всматривается в двойника на картине, что-то ему подправил в туалете, погладил отвороты пиджака и вроде бы бережным движением смахнул с волос Студента мельчайшую водяную росу, отчего и тот и этот Студент одновременно поморщились. Он даже похлопал его с видимой фамильярностью по плечу: мол, вот казак, так ка-

зак! Студент хотел поставить Афанасия на место, чтоб не мешал смотреть, но Афанасий подхватил тележку и уволок ее с обижающей Студента небрежностью.

Но, когда Афанасий вернулся и сел в кресло, на экране запрыгали кадры слайдов, потом между слайдами замелькали фрагменты киносъемок, изображение то скакало, то становилось устойчивым. Экран внезапно увеличился, потом вообще исчез, и картина, которая представилась взгляду зрителей, как бы растворилась в полумраке второй половины пещеры.

Во всяком случае, в изображении не стало заметно никаких стыков, накладок и скачков — просто пещера поделилась на две половины, и на той, другой половине стало происходить некое действие: открывалась высокая дверь, входил один человек, выходил другой; в большом окне со стрельчатыми переплетами виднелся кусок морского рейда, на котором стояли на якорях парусники; виднелись части каменных строений, слышался стук топоров, звуки отдаленных голосов, шаги. В огромной комнате некоторые предметы то появлялись, то исчезали. Вот появилась фарфоровая ваза и пропал куда-то радиоприемник, стоящий на маленьком столике в углу. Рука с гусиным пером, что-то черкавшая на большом листе бумаги, которая принадлежала высокому человеку в простой форме морского офицера, склонившемуся над столом, увеличилась настолько, что стали заметны светлые волоски на коже руки, а чертеж на бумаге обозначился во всех деталях, вплоть до мелких брызг чернил и вуали помарок.

Высокий человек у стола быстро обернулся, громадными шагами пересек комнату и толчком раскрыл дверь.

— Что сидишь? Реверанса ждешь, приглашения? — крикнул он. — Заходи, тебя жду!

Крупным планом всплыла литая пуговица на отвороте камзола, заняла половину комнаты и исчезла.

Дверь закрылась, и в комнате оказался еще один человек в форме офицера, пониже ростом, с чисто выбритым лицом, которое окаймляли бакенбарды, длинные, почти до самого подбородка, они, впрочем, тут же укоротились наполовину. Лицо этого человека было молодым, в белых крепких зубах торчала потухшая трубка, движения его были неторопливыми и точными.

— Командир! — вскрикнул Студент, а Флора, откинувшись на спинку кресла, с любопытством посмотрела сначала на Командира, потом на Студента.

— Да, это он, — сказала она. — Должна вам сказать, что

на вашем судне неправильно к нему относятся, дорогой Студент.

— А вот и я! — громко сказал Афанасий и указал дланью в окно комнаты.

Действительно, под окном прогуливался Казак из морских и, задрав голову, смотрел в самый объектив, а на его молодом лице сияла глуповатая улыбка. Крупным планом — эта улыбка, такая незнакомая Студенту, ибо он еще не видел Афанасия улыбающимся.

— Н-нда! — довольно крикнул Афанасий и погладил бороду. — Хорош был смолоду. Иван не наврал: я помещался именно в этом месте и ходил туда-сюда, ожидая Лейтенанта. Но я никогда не знал, о чем был разговор в этой комнате.

— Иди сюда! — Высокий вернулся к столу, оторвав недовольный взгляд от группы зрителей, сидящих в пещере. — Читай чертеж! — Высокий ткнул пальцем в лист бумаги, на котором только что черкал гусиным пером.

Командир подошел к столу и склонился над схемой, внимательно ее изучая. Высокий кинул руки за спину и начал метаться по комнате, грохоча каблуками сапог: пять шагов туда, пять шагов сюда. С его руки свалились на пол новейшие электронные часы. Высокий остановился и, вытаращив глаза, смотрел на блестящий предмет до тех пор, пока Иван не исправил оплошность и не убрал их начисто. Командир оторвался наконец от чертежа и сел в кресло. Высокий прыгнул к нему, навис над ним:

— Чего молчишь, а? Карта неправильная? Говори, ну!

Командир откинулся на спинку, вытянул ноги.

— Дело не в карте. Может статься, Земли Гомма просто не существует и все это выдумки пьяного немца. — Командир затыкнулся дымом. Он говорил спокойно, без усилия преодолеть неощутимое сопротивление собеседника, но с той силой, которая, независимо от сопротивления, убеждает.

— Существуют другие земли, и они могут быть отысканы.

— И я о том же! — вскричал высокий. — Этих земель предостаточно. Но ведь пока нужна именно Земля Гомма, понял ты теперь или нет? Ну, ну? Скажи, зачем нам нужен этот обледенелый кусок камня посреди океана? А он точно обледенелый, он голый и пустой. Я вот поживу немного и подохну, а ты пойдешь туда! — Высокий выбросил руку в сторону моря. — Ты пойдешь и постарайшься дойти. Не хватит твоей жизни на это, приготовь смену, пойдет другой. Не успеет он — дойдет третий, четвертый. Я подохну хотя бы и завтра, но телегу эту остановить будет трудно, почти невозможно. А вы

дойдете, чертей вам в глотку! Но ты понимаешь, зачем вы туда пойдете, а? Понимаешь?

— Да-да,— сказал Командир,— нам нужен этот остров для того, чтобы взбежать на марс при его появлении и сказать: «Смотрите, как широк простор и как можно найти в нем новое дело, новые земли. Смысл есть, он в том, что мы сюда шли. Вы запечалились в битве за хлеб насущный, вы стали серыми и скучными. Но вот перед вами еще одна дорога». Разве не так, Государь Император?

Высокий долгим взглядом смотрел в лицо Командира, затем медленно опустился в кресло рядом. Лицо его сразу постарело, глаза, окруженные морщинами, смотрели строже, печальнее. Он глубоко вздохнул и облокотился о стол, спрятав под навесом ладони верхнюю часть лица.

— Прожектер! — сказал он тихо, с заметной досадой. — И не исправишься, хоть сто плетей тебе клади. Я вот построил, вбил свои колья, остальным достраивать, но то, что сделал я, уж никто не своротит. Флот новый отгрохали, город возвели, плотины — все стоит намертво. А что теперь? Вернуться разве к старой забаве — кромсать голландскими ножницами сивые бороды боярам? Тьфу! Мне не каменный остров нужен, не Земля Гомма, мне нужен новый моряк, который все познает, которому сам черт страшен не будет; нужна новая школа мореплавателям, свежий глаз. Дело государственное. Ежели не плыть, ежели остановиться, то увязнем во мздоимстве, недоумии, крюкотворстве, волокитчине, запутаемся во вновь отросших сивых бородах, мужичок наш обратно в свою вонючую избу заберется к теплой бабе под бок. Ведь мы что делали? Выгнали его на мороз под угрозой плетей и голода: он пошел, деваться некуда, пошел лес рубить, хоромы строить, мачты остругивать. Из вонючих болот, где он сидит, покажем ему лаз, направим — ступай! И пойдет. И по дороге умнеть будет. Другого не вижу. Разговор новый нужен. А ты — все смысл, смысл...

Командир слушал внимательно, попыхивала трубка, руки сложены на груди, молодое загорелое лицо его задумчиво и спокойно. Командир и Высокий словно продолжали какой-то свой давнишний спор, то соглашаясь друг с другом, то отрицая все, что приводили в доказательство.

— О Земле Гомма не знают, о ней слухи давно бродят. Вот тебе и причина! Нужна вам Земля Гомма? Мы пойдем ее искать! И запомни: Земля Гомма — это всего только мечта! Не мечта только то, что ты видишь за окном: все, что с моей воли началось и моей жизнью держится; не мечта только то,

что и Лейтенант твой и матрос, сами того не зная и не думая о том, хотят ли они того или не хотят, — отдадут свое. А дорога тяжела, на ней и прорвы будут попадаться и дикие звери; но пусть они идут, пусть вырвутся вон.

— Ты хочешь сказать: и в пути обретет успокоение души, умиротворение?

— Да раз нельзя без успокоения, пусть он его ищет.

— А дома жена заболела, изба покосилась, неурожай. Что успокоит его сердце? Так будет всегда.

— Ну, не могу с тобой разговаривать! Что ты мне навязался со своими страданиями? Такова юдоль человеческая.

Командир покачал головой.

— Верно, Государь. И неужель ничего больше нет. Страдать, но идти?

Высокий вскочил, опять забегал по комнате. Командир сидел, опустив голову в задумчивости, и только слышны были внизу за окном гомон чаек, шаги, визг пил да стук топоров.

Высокий отбегался, стал.

— В Лейтенанте уверен?

— Да. Еще десяток крепких людей из прежних походов. Остальные рекруты да поселенцы.

— Ну, что ж. — Голос Высокого дрогнул. — Может, и не увидимся больше. Но ты помни, что я тебе сказал. Помни и дойди.

Тут изображение погасло.

Флора махнула рукой на все эти картины и сказала:

— Давай сходим в мой сад. Я тебе покажу много интересного: там не будешь скучать, хотя ты, как я вижу, заинтересовался картиной. Я тебе скажу, что это такое. Иванов фокус. Он научился, как он выражается, моделировать изображения из будущего и из прошлого тоже. На этот раз у него вроде что-то получилось. А теперь пойдем.

Она повеселела, на щеках у нее появился румянец, сверкнули ровные зубы. Подцепив ногой свалившуюся туфельку, она встала и направилась к стене, которая раздвинулась перед нею и за которой открылся освещенный тоннель. В глубине тоннеля, источаемый, кажется, самими стенами, переливался всеми цветами радуги яркий свет.

Флора вошла в тоннель, и Студент двинулся за нею, осторожно касаясь холодных стен руками. Фигура женщины мелькала впереди него, то освещалась светом, то почти пропадала во мраке. Студент видел смутные очертания ее тела, видел, какдвигающиеся бедра натягивают ткань туники. На

голове поблескивала витая канитель диадемки, волосы вспархивали темными крыльями, а вся она казалась в нерешительном зыбком свете смутным призраком, тенью. Тенью казалась ее легкая туника, тенью казалось ее просвечивающее сквозь материю тело. Студент едва не упал, когда загляделся на движения ее рук, на тонкую и такую хрупкую талию. Флора остановилась у самого выхода, обернулась к замешкавшемуся спутнику, и в ее глазах Студент увидел застенчивую усмешку:

— Отстал?

Свет делал совершенно прозрачной тунику женщины, и окончательно смешавшийся Студент отвел взгляд от этого неземного видения. Ему подумалось, что на белом свете не может быть такого волшебного совершенства. Будто и женщина, и тоннель, и зыбкий свет навеяны легким забвением на свежем воздухе, кажется — дунь, и все исчезнет. Но не хотелось расставаться с неведомо откуда возникшим миром, полным тайны и грустного очарования. Студенту даже пришло желание оградить Флору от тех невидимых опасностей и страхов, которые могут ее подстергать снаружи. Хотелось защитить неведомо от кого это призрачное облако во плоти живой женщины, эту грустную доверчивую улыбку, которая появилась на ее лице.

А Флора, кажется, прочитала все Студентовы мысли: взяла его под руку, будто некоего сильного невиданного богатыря, и повела к выходу. Сном все это не могло быть, потому что Студент ощутил локтем теплоту ее тела, податливость груди, отчего мучительно покраснел и незаметно попытался отодвинуться от Флоры, но та еще плотнее прижала к себе Студенту руку.

Вышли они на поляну, залитую лунным светом, под которым множество самых разных цветов, там росших, играли и переливались, будто флуоресцирующие акварельные мазки на зеленовато-синей бумаге. Где-то среди цветов журчал ручей.

— Видишь? — сказала Флора. — Эти цветы я выводила несколько тысячелетий подряд: пришлось мне поработать и агрономом, и селекционером, и даже мелиоратором. Скоро их, по всей вероятности, увидят люди. Они должны будут обрадоваться. Разве тебя не удивляет, что здесь так много цветов и все они разные и красивые?

Студент больше разбирался в хворосте и во мхе, чем в цветах, и потому сказать ему пока было нечего. Он сдержанно кивнул головой.

Флора ушла вперед, перебегала от одной полянки к другой, наклонялась к цветам.

— Иди сюда! У меня здесь самые красивые...

Студент пошел на ее голос, озираясь на цветы, и вынужден был признать, что таких ему видеть не приходилось. Цветы были необычные, яркие, красивые какой-то диковатой, хрупкой красотой. Студенту показалось, что вот это гибрид не то тюльпана с маком, не то сам мак, только необычно большой и пламенеюще яркий. А вот тут что-то похожее на огромную розу с ромашкой внутри, из середины которой, извиваясь, тянулась вверх розоватая бахрома, как длинные мохнатые реснички. Одни цветы были похожи на аппликации из разноцветных кусочков бархатной тонкой замши, другие будто были нарисованы прихотливой и быстрой рукой. Все они благоухали, ароматы их смешивались и достигали такой плотности, что у Студента начала кружиться голова. Когда тень его падала на цветы и поток лунного света на секунду прерывался, лепестки и листья вспыхивали судорожным свечением: казалось, сквозь это свечение видны другие лепестки и другие листья, которые, в свою очередь, тоже светились, а общая картина производила впечатление неверной игры цветовых пятен.

— Ах, что я увидела, Студент! — прозвенел голосок Флоры. — Быстрее же иди сюда, что ты там копошишься?!

Она стояла на коленях перед цветком, равного которому не было и в этой невиданной и необычной оранжерее. Описывать такой цветок Студент никогда не взялся бы — слишком он был неподготовлен. Он только отметил, как при свете луны отсвечивают лепестки, будто это и не цветок, а экран цветомузыкальной установки, источающей и свет, и запах, и зайчики тепла. Вот что это был за цветок!

— Это цветок примула, растет у меня уже триста лет и еще ни разу не цвел. А теперь видишь, что с ним сделалось: он расцвел! Он еще, как и все другие цветы, очень нестоек к воздуху, которым дышат люди. Я думаю, что еще лет через сто сумею закалить их так, чтобы они могли жить в такой атмосфере. Пока я не разрешаю входить сюда ни Ивану, ни Афанасию с его вонючей трубкой. Представь, что произойдет, если сюда войдет Афанасий и дохнет табачным дымом? Я ведь выращиваю их для людей, они когда-нибудь будут жить среди моих цветов и любоваться ими. Но это произойдет так нескоро, — добавила она печально. — Сейчас стали меньше понимать и любить цветы.

Флора запечалилась, взглянула на Студента снизу вверх

с такой робостью, что ему захотелось отвернуться, будто он в чем-то перед ней виноват.

Флора вздохнула и посмотрела на свой долгожданный цветок. Туфельки она где-то обронила и сидела теперь на траве босая. Студент украдкой рассмотрел ее получше, насколько позволяла яркая луна. На одной обнаженной груди женщины вместо соска Студент увидел цветочек с выпуклой тычинкой посередине, которого он не замечал раньше.

Она вытерла ладошкой мокрые ресницы: вот ведь незадача, как же теперь быть с людьми, которые не умеют и не научились любить цветы? Нельзя даже быть уверенной в Студенте, молодом человеке восемнадцати годов. Полюбит ли он когда-нибудь цветы, поймет ли их?

Она поднялась и начала вновь ходить меж цветов, поглаживала лепестки, дула на них, трогала тонкими длинными пальцами стебли, зарывалась лицом в самое сердце своих любимцев.

— Я так редко привожу сюда людей, и все они не очень радуются встрече: молчат и думают о чем-то своем, рассеяны и невпопад отвечают мне, когда я их спрашиваю, какие цветы им больше всего нравятся и какие бы они хотели видеть у себя в саду.

Голосок ее задрожал.

Студент вдруг подумал, что это зыбкое видение среди призрачных неземных цветов сродни тополиной пушинке: даже легкое дуновение ветра может унести все это в небытие. Да что там ветер? Эта легкая, невидимая при обычных обстоятельствах, но живая и невесомая как мысль одновременно субстанция может перестать существовать в любую секунду просто так, от неосторожного слова. Казалось, будто это испарина от теплого человеческого дыхания на хрустальном бокале, — дышишь, она появляется снова и снова, но стоит отвернуть дыхание в сторону, как туман на хрустале исчезает. Студенту сжало горло от непонятного ощущения беззащитности, которое вызывала Флора и ее цветочный мир. Он положил руку ей на плечо и сказал:

— Не огорчайтесь. Не все такие чурбаны, как я или те люди, которых вы приводили сюда. Есть и такие, которые разбираются в цветах не хуже вашего. А научиться любить и понимать цветы еще никому не поздно, это я вам говорю.

Флора вытерла слезы и доверчиво положила свою ладошку на руку Студента.

— Мне интересно будет у вас узнать, — запнулся Студент, — кто вы такая и почему находитесь в таком месте?

Женщина улыбнулась — ну и манеры! — но сказала ему сразу и просто:

— Я давно здесь живу. Вернее, там, где встречаются люди. Потому что они сами меня и выдумали. Я женщина-цветок. Для сохранения и поддержания репутации мне приходится выращивать и выводить новые цветы, а это целое хозяйство. Но оно мне не в тягость, нет, нет! Мне помогают Иван и Афанасий: они делают самую тяжелую работу и охраняют меня. С той поры нам троим пришлось немало потрудиться: ведь нужно было подыскать хорошее удобное место, где могли бы круглый год расти и распускаться цветы, нужно было устроиться на этом месте, культивировать землю и вообще — сделать массу нужных вещей. — Она рассмеялась. — Ну уж Афанасий мог быть с тобой повежливее. Но вежливым ему быть трудно: когда-то он обживал эти места, и ему неприятно видеть, что иногда делается здесь сейчас. А вы начали динамитом баловаться, — сказала она с укоризной. — Где ж ему сдержаться?

Студент в душе поблагодарил луну за то, что она светит все-таки недостаточно ярко для того, чтобы можно было рассмотреть, как он покраснел.

Флора взглянула на него пристально и отвернулась.

Студент видел сбоку ее грудь с наивно торчащим соском-цветочком, сиротливым одиноким цветочком. Флора посматривала искоса на Студента, а тот думал, что уж Повариха на него так бы не смотрела.

Вздохнув, женщина погладила листок, взяла Студента под руку и повела дальше. Они вышли на краешек большой поляны, поросшей кустарником, и увидели сидящих на обрыве Ивана и Афанасия. Они курили и о чем-то негромко разговаривали.

— Я их часто вижу в этом месте, — тихо сказала Флора. — Сидят вот так, рядышком и часами смотрят вниз.

Студент видел за бровкой обрыва, на которой, свесив ноги, сидели двое мужиков, странное свечение, зарево, он обратил внимание на него, еще когда они с Афанасием подлетали к этому месту. Внизу было или множество городов, или один громадный — на всю землю — город. Шел оттуда гуд, побряхтывание, жужжание как бы огромного шмеля, запутавшегося в траве, или отдаленный вой готового разнестись вдребезги от немыслимой перегрузки электромотора.

— Понастроили, — бормотал Афанасий. — Развели двенадцать языков, а договориться между собой не могут. Чем это все кончится, бес их знает?

— Того и гляди, все рассыплется,— подтвердил Иван.— Раннее зажигание: взнос пойдет.

— А если пойдет, то что с нашей хозяйкой будет?

Они оба задыхались, размышляя о неизвестной Студенту перспективе.

Флора потянула Студента за рукав и повела за собой.

— Скоро утро. Нам пора прощаться.

Она сорвала несколько стебельков и дала их Студенту.

— Это тебе на память,— она лукаво улыбнулась.— Думаю, что ты не забудешь женщину с цветами, как не забыл ту, купающуюся. А подсматривать все-таки нехорошо,— еще раз поддела она его и снова пристально всмотрелась в Студентово лицо.

Студент опять покраснел и споткнулся от смущения. Флора со смехом поддержала его под руку и чмокнула в щеку, отчего Студентово лицо пошло пятнами.

— Ой! Как забавно ты смущаешься! Я рада, что ты так хорошо смущаешься: значит, тебе предстоит стать сильным.

Они вернулись по тоннелю в пещеру, и Флора сразу посерьезнела.

— Может быть, мы уже не увидимся. Но, если ты очень захочешь, то наша вторая встреча может состояться. А теперь иди, а то днем у меня нельзя находиться: я теряю все свои проницательные качества, как говорит Иван.

Студент топтался у выхода, не зная, что и сказать или что сделать для этой хрупкой нематериальной женщины-цветка.

— Ну, иди, иди,— прошептала Флора и долгим взглядом посмотрела в глаза Студенту. На ресницы ее опять навернулись слезы, она всхлипнула и убежала.

Когда Огольцова Игоря Ефимовича нашли и проследили за его действиями, начиная с того момента, как он сломал ногу и не мог, естественно, двигаться как здоровый человек, стало ясно, что конец его был предопределен. И не потому, что было почти невозможным преодолеть те сорок километров, которые его отделяли от людей, от жизни, нет. Обречен он был потому, что знал — эти сорок километров он преодолеть не станет: незачем. Это был его итог: незачем держаться за то, что перестало иметь для него какую-либо цену. Как ни было страшно думать об этом, но, зная погибшего, можно было прийти к мысли, что он за жизнь не боролся.

Я представил себе эти сорок километров и ногу в само-

дельном лубке. Ковыляя на одной ноге с помощью палки или импровизированного костыля, я бы тащился дня три-четыре, тем более, что кое-какой запас продуктов, не считая свежей, слегка присоленной рыбы, у меня все-таки был. Первый километр, вот он, передо мной. Дойти до первого непропуска, обогнуть нагромождение валунов под отвесной высоченной стеной обрыва, а дальше дорога знакома. Но и первый и второй непропуски нужно обходить по полному отливу и в тихую погоду, иначе прибой захлестывает по пояс, может сбить с костыля и одной ноги — опора неверная. А если вода спокойна, то пройти непропуск можно по выточенному водой карнизику под самым обрывом, переступая осторожно, держась за шероховатости скалы.

Этот непропуск я бы одолел с трудом: непривычно — из неподвижности, когда мышцы успели привыкнуть к состоянию покоя, сразу освоиться в движении. Запеленатая нога отдавалась бы болью при каждом шаге, дергалась и ныла.

Передыхая каждые сто — двести метров, я медленно двигался бы и останавливался, взмокший от боли и напряжения. Затем тащился бы дальше, зная, что сегодня я должен буду пройти не меньше десяти километров. Оступаясь в сыпучем песке, я считал бы эти маленькие неверные шаги, а когда, по моим подсчетам, их набиралось не менее тысячи, я бы ложился на землю и лежал бы час или два, в зависимости от того, насколько сильно я устал и вымотался. Лежал бы столько, сколько необходимо было для того, чтобы перестало ныть избитое тело. Я бы сумел даже дотянуться рукой и зачерпнуть консервной банкой немного воды из журчащего у самой головы ручейка и смог бы попить и утолить жажду и смыть с лица потную слизь. Спустя час я бы сумел развести небольшой костерок из валяющихся рядом бочечных клепок, сухих до звона и растрескавшихся. Вскипятил бы воду в той же консервной банке и заварил бы крепчайший чай, кружащий голову своим запахом и глубокой чернотой. Я бы обильно сдобрил его такой необходимой мне сейчас глюкозой и, смакуя каждый глоток, влил бы его в себя, чувствуя, как тепло становится внутри и как прибывает сил.

Я бы представил себе, как нестерпимо сначала болит нога, потом эта боль становилась бы все глуше, все тупее, а я бы ее пересиливал, привыкал к ней, хотя вот уже вокруг ранки на коже, откуда раньше торчал краешек ослепительно белой живой кости, появляется синева, потом ткани вокруг перелома стали бы уплотняться, а края ранки стали нагнаиваться.

На второй день мне стало бы ясно, что я должен буду

дойти до людей как можно быстрее, потому что на ногу начинает черт знает что делаться. Синева начинает подниматься вместе с тупой болью вверх.

Но во второй день сил у меня уже стало поменьше, это понятно: спал я урывками, мне часто приходилось выжидать, когда волна схлынет достаточно далеко от валунов, чтобы успеть проковылять этот участок до того, как она вернется: а в момент прилива мне приходилось подниматься на несколько метров вверх и тащиться по очень сыпучему и сухому песку, куда не доставал прибой; в тех же местах, которые по полному приливу одолеть было невозможно, мне оставалось ждать, ненавидящим взглядом уставившись на ленивую кромку прибоя; те маленькие, неприметные для здорового человека непропуски, которые он пробегал за несколько секунд, мне приходилось едва ли не переползать, затрачивая на них по часу и по два и испытывая нестерпимую злобу при виде языков воды, с издевательским шипением лижущих мне сапог. Срезанное ниже колена голенище второго сапога от брызг уже не предохраняло, повязка намокла, но холода не чувствовалось. Может быть, нужно было дать соленой воде попасть на рану, тогда она так бы не воспалилась. Но соль разъедала рану, и что еще хуже, я не знал.

К концу третьего дня я вышел к сопке, которую все знают под именем Колдунья, и остановился у ее подножия, где протекает речушка. Я вспомнил, что пройдено всего двадцать два километра, а впереди еще восемнадцать. Да, тот отрезок пути, который я буквально прополз, означал лишь, что пройдено чуть больше половины.

Уже не обращая внимания на то, что вода в речушке доходит мне до пояса и что я безнадежно промок, я выкарабкался на другой берег и стал в начале дуги длинного пустого пляжа, за которым меня ждал большой непропуск и перед которым метров двести берега были завалены огромными камнями.

Но мне пришло в голову, что за тем мыском, в конце пляжа, я смогу увидеть место, к которому стремлюсь. То обстоятельство, что у меня перед глазами теперь будет все время находиться далекая впадинка в берегу, по которой шел подъем к дому на тундре, придало мне сил. Нужно только добраться до этого мыска. Цель казалась ближе, чем была, мне захотелось себя обмануть, заведомо зная, что обманываюсь. Когда перед собой ставить на каждый день такие вот, небольшие цели, то идти станет легче. Если думать, что я завтра смогу увидеть тот самый ручей, по руслу которого

убежал вверх медведь, который увидел меня прошлым летом за поворотом и пустился наутек, смешно подбрасывая грязный зад; если думать, что уже сегодня я смогу опереться спиной на знакомый круглый валун, что врос в песок в пятнадцати минутах езды на велосипеде от дома на тундре; если знать, что вот за тем обрывчиком начинается подъем на тундру, где на полянке в августе можно собирать прекрасную спелую морошку, — если все это вспомнить и представить себе, то дорога окажется знакомой, малейшие неприметные детали ее, о которых забываешь, проходя мимо столько раз, всплывают в памяти и делают путь до боли узнаваемым, с в о и м. Неужели и это не поможет?

Нужно пройти по этому пляжу, песок которого сух и сыпуч — прямо ноги разъезжаются, такой песок. Пляж еще можно миновать поверху, благо обрыв отступает здесь от воды и береговой вал зарос высокой травой. Ноги цепляются за нее, раненая ступня волочится, а костыль нужно поднимать повыше, чтобы иметь возможность его переставить. Нет, здесь устанешь больше, нужно спуститься опять на пляж, между пляжем и береговым валом есть небольшая полоска более твердого грунта; вот по ней и нужно идти.

Эти три или примерно около трех километров пляжа показались мне такими оглушительно пустыми, что сердце мое дрогнуло.

Но я прошел и этот участок, падая, вставая; через какую-то речушку не то переполз, не то переплыл; выбрался на другой берег, полузахлебнувшись, и уснул, а проснулся от холода.

Шел прилив. И хорошо, что шел прилив, потому что остаток пляжа я еще мог пройти по своей полосочке твердого грунта, а когда начнется отлив, я как раз подгадаю к тем валунам, которые по приливу не пройти, и в ту самую минуту, когда вода достигнет своей самой низкой точки, успею прошмыгнуть не пропуск, который пропустит. Это был самый серьезный для меня не пропуск, к нему нужно подготовиться, иначе у меня ничего не выйдет. В скале, как бы клином вдающейся в море, есть на уровне груди пробитое тысячелетней настойчивостью воды отверстие, но мне до него не подняться, значит, придется обходить скалу по нижнему карнизу, рискуя соскользнуть в воду. Зато если я обойду, впереди уже нет ничего серьезного — чистый песок до самого дома.

Нужно подкрепиться: вот вода, вот банка сгущенки, последняя. А сухари на потом. От рюкзака я избавился еще раньше: все продукты, если можно так назвать те крохи,

которые у меня остались, разместились по карманам телогрейки.

И — вперед, рассчитывая каждый шаг, привычным скользом глаз выбирая место понадежнее. О ноге думать не нужно, я представляю, что ноги у меня не было с самого раннего детства, и я вот прыгаю с тех пор на костыле, как это ни обидно.

Теперь начались гонки между валунами. Мне кажется, что я очень быстро лавирую между камнями, наклоняюсь, огибая выступы, отталкиваюсь одной рукой от шероховатых боков этих темных пузачей, молниеносно перетаскиваю тело через камешки поменьше, и со стороны, вероятно, похож на суетливого жука-многоножку. Темнеет. Волны у берега начинают как бы плясать на одном месте: пошел отлив — я рассчитал все верно. Первые сантиметры песка море отдает мне неохотно, но ведь есть законы природы, а они пока за меня, и это утешает. До того мыса осталась сотня метров, а за тем мысом станет видна и та впадина в береге, которую я так хочу увидеть.

Мне кажется, я ничего не ощущаю, кроме резинового скрипа мышц, ясно слышного мне треска в сочленениях костей во время ходьбы и собственного хриплого дыхания, заполняющего весь мир.

Я не успел заметить камешка, скользявшего под сапогом, и одновременно костыль поехал в сыпучем пласте щебня. Падаю навзничь...

...Прилив идет полным ходом. То ли в обмороке, то ли во сне, я пролежал часа четыре, а заночевать пришлось в пещерке, где у старого кострища лежало несколько досок. Место неудобное, ветер, до того незаметный, взывает в длинной вертикальной щели, которая и заканчивается пещеркой. Вероятно, погода портится, начался дождь, море волнуется слышнее, и прибой чмокает в камни. Тот непропуск, дыра в котором видна мне с моего места, сейчас пройти нечего и мечтать. А как будет в момент отлива? Помешает ли мне поднявшееся волнение?

Костерок горел неважно, пламя его прыгало, дым бросался в глаза, забивал ноздри. Нельзя было загородиться от ветра, но можно было сесть так, чтобы тепло вместе с дымом относилось на мою спину. Кажется, дело серьезнее, чем я себе внушаю.

Вспомнилось мое последнее судно. История с «Дедом» вселила в меня горечь и стыд. Но в том и дело, что человек имеет возможность начать все сначала. В этом и его сила

и его заслуга. Я решился снова начать все сначала, я вернусь на море, я начну снова.

Разговор с «Дедом» не был частностью, затемняющей смысл общего. Сиреневый Михалыч, как его звали за непривычную расцветку лицевой части, сказал: «Мне с тобой детей не крестить, Афанасий Глиница, и я с тобой никогда не захотел бы иметь ничего общего, не распорядись инспектор поместить нас с тобой в одной машине. Тут уж стечение обстоятельств, ничего не попишешь. А вот в следующий рейс я с тобой не пойду, это ты как хочешь. С тобою не договоришься, как я понял. Что ты мне, старому дряхлому «Деду», посоветуешь; мне, который тридцать лет отдал машинному отделению? Подыгрываться под тебя? Слушаться твоих глупостей? Да пошел ты знаешь куда? По-морскому!.. Давай я еще тебе подолью, это хороший коньяк, и мы продолжим».

Мы сидели в его каюте, куда он меня завел для решительного разговора, и пили коньяк, без которого «Дед» на судне ни одного решительного разговора не начинал.

Я чувствовал в своей душе что-то вроде жалостливой симпатии к «Деду», к его удивительной расцветки лицу, одуловатому и добродушному, к его демократической простоте и откровенной решительности со всеми, невзирая на лица, в тех случаях, когда он был раздражен или имел неодолимую потребность высказаться. В пароходстве его ценили и побаивались: он мог брякнуть нечто совсем неприличное случаю и даже незаслуженно обидеть. Он позвал меня к себе в каюту после того, как узнал, что произошло в машинном отделении в то время, когда он отсутствовал. Дисциплина дисциплиной, хрипел он, опрокидывая стопку, я сам горло проем за то, чтобы в машине был порядок. У меня всегда был порядок, ты знаешь. И он у меня будет, пока я здесь «Дед», и ты сам уже понял, что такое порядок, когда за него спрашиваю я. Но мне не нравится, когда во имя порядка ты готов бить человека топором по голове. Скажи на милость, зачем тебе понадобилось гонять малыша по машинному отделению только за то, что он слил ведро мазута за борт? Ты говоришь, наказание, ты говоришь, он должен свою вину понять. Его можно и нужно наказывать, с этим никто не спорит. Но ты отбиваешь ему всю охоту и интерес к машине. Он может стать бог знает кем: может, мы к нему лет через двадцать на прием будем записываться, от этого никто не застрахован. Смотри, что ты делаешь: ты вызываешь его, делаешь внушение за этот в общем-то серьезный проступок, потом определяешь меру наказания и посылаешь мыть пайолы на всех этажах, да еще и

выносить мусор и стружки, хотя это забота вахтенного моториста и токаря, а не ученика, который без году неделя на судне. Ты его унизил, вот в чем я тебя обвиняю. Нет, не считай, что я такой розовощекий добрячок и думаю, что малыша нужно пожалеть и простить. Но если с ним обращаться так, как делаешь ты, из него не получится настоящего человека. Запомни, сказал он после долгой паузы, обрюзгнув лицом, я тебе скажу одну вещь. Я ее понял, будь уверен, через собственные синяки, это было еще в то время, когда цена человеку была грош. Ты, я вижу, парень с мыслями и идеями. Я в этом ничего плохого не нахожу, всегда были нужны и мысли и идеи. Но вот что: ничего не стоят те мысли и идеи, от которых в первую голову плохо человеку. Ты молод, за тобой сила и уверенность, что все в мире должно изменяться согласно общему предназначению, хотя я и не разумею, что за этим скрывается. Но так ты сказал. А я знаю, что человек живет. А чтобы он жил, нужно все мысли и идеи воплотить так, чтобы человек жил хорошо. Незачем тащить его в белый свет только затем, чтобы приспособить для сырья под ваши мысли и идеи.

Я не предполагал за ним язвительности, но нужно было знать, что он прожил жизнь и имеет на все свой взгляд, а с этим нельзя не считаться. То, что он меня начал щелкать по носу, я относил в счет его старческой брюзгливости и нетерпимости. Но мне стало плохо. Зачем, подумал я, ведь крайность. «Дед» усмотрел в моих действиях отсутствие человеколюбия и принимает решительные меры. Но, может быть, он прав, как никогда. Мне нужно было сказать об этом, ибо за собой я видел принципиальность и решительность, но не видел жесткости к людям, жесткости, переходящей в нетерпимость. «Дед» был первым, кто ткнул меня в это обстоятельство. И мне тогда показалось, что вся моя жизнь — НЕЛЬЗЯ ПОДДАВАТЬСЯ ЭТОМУ ОЩУЩЕНИЮ НЕПОДВЛАСТНОГО ТЕБЕ ПОЛЗУЧЕГО СТРАХА ПЕРЕД НЕИЗВЕСТНОЙ УГРОЗОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЛ БЫ ВОЗМОЖНОСТИ СТАТЬ ТЕМ КТО ОН ЕСТЬ СЕЙЧАС ЕСЛИ БЫ ПОДДАЛСЯ А В МУЖЕСТВЕ ЕМУ НЕ ОТКАЖЕШЬ ЗНАЧИТ ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ А ВРЕМЯ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ ЕСТЬ ВЕДЬ ЕДИНСТВО В ТОМ ЧТО ЖИЗНЬ ХРУПКА И НЕПОБЕДИМА ХОТЯ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ СЛИШКОМ УБЕДИТЕЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕЕ ВЕЧНОСТИ ТАК КАК МЕНЯ НЕ БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ УЖЕ ЛЕТ ЧЕРЕЗ СОРОК ПЯТЬДЕСЯТ И ЧТО ДАЛЬШЕ — лишена была

некоего стержня, на острие которого бы нанизывались все мои осмысленные действия. Слова «Деда» словно вышибли меня из седла. Мне «предстояло подумать», как выражался отец, как жить дальше.

Я могу привести тебе еще несколько примеров, сказал «Дед», когда ты забывал о том, что человеческая жизнь имеет цену только в том случае, если она проживается не для себя. Ты опытный механик, ты хороший механик, тут я тебе ничего не смогу поставить в вину. Но и твой опыт попросту будет кучей дерьма, если от него, от опыта, никто другой не почерпнет. Я расфилософствовался, извини старого, но это в последний раз. Скажи сам, тебе будет ли легче, если пользы от твоей деятельности не будет никому, кроме тебя? Безусловно, труд во благо отечества есть задача благородная, но, боюсь, за этой фразой может скрываться что угодно, если забыть о главном: деятельность человека имеет смысл в том случае, если она приносит пользу другому человеку. Проживи ты до ста лет, но если ты хоть своим детям не передашь того знания, как жить им, ты будешь нулем. Впрочем, примеры ты и сам можешь подыскать. В порту я с тобой распрощаюсь, не будь в обиде на меня за то, что, вместо того чтобы разобраться с малышом и поддержать тебя в этой истории, я разбираюсь с тобой. Если ты парень еще и сообразительный, ты поймешь все так, как нужно.

...У берега качались на волне утки, штук восемь. Насколько я мог определить, это были турпаны, они любят кататься на волне прибоя. Я подкрадываюсь как можно ближе, тихонько кладу рядом несколько камней. Вы, утки, не спите ночью, как все порядочные утки, — вот и не жалуйтесь... Мы с вами на равных, у меня это не ружье, а костыль, он не стреляет, значит, кому повезет.

Первый камень падает между ними, никого не задев, турпаны быстро отплывают, но, так как опасности не видно, опять собираются стайкой и принимают за свои ночные дела. Третий камень наконец попадает в цель, и птица безжизненно отдается поднявшей ее волне.

Достать ее костылем оказывается труднее, ее прибывает к берегу не в том месте, где сижу я, знаменитый охотник Афанасий-утиная-смерть. Но и с этим делом справился, теплое под перьями тело утки жирно, замечательный клюв имеет бугорок с дырочкой посередине, отчего кажется турпан важно горбоносим.

Половина утки, обжаренная кое-как на камнях, съедена в один миг, и рука тянется ко второй половине, но я себя одер-

гиваю. Нельзя. Эта половинка будет трофеем, когда я пройду непропуск. Я зажарю ее у ручейка, который протекает сразу за непропуском, зажарю по всем правилам приготовления шашлыка, только ничего, кроме утки, для шашлыка у меня нет.

Непропуск я обошел прямо по воде, которая доходила до пояса, а отдельные накатывавшиеся на меня волны с головой. Но на ногах я удержался; не знаю, что помогло. Как ни странно, но я взбодрился от такого купания, может быть потому, что приготовился к схватке, к единоборству. Но потом мне стало хуже. Не помог и костер, не помогла и вторая половина утки, которую желудок вывернул обратно, вероятно из-за того, что она не была как следует прожарена, или же потому, что желудок отвык. Наверное, сказались все-таки излишнее напряжение нервов, переутомление. Уснул сразу и провалился в забытие часов шесть, судя по положению солнца. Нога уже ничего не чувствовала, я боялся на нее смотреть, хотя, несмотря на уговор, который сам с собой заключил, о ней вспоминал часто.

Оказалось, двигаться очень трудно. Труднее, чем в самом начале. Попытался ползти, волоча ногу по песку и отталкиваясь второй. Но не было ощущения того, что мышцы разогреваются и начинают приходить в более-менее приличную форму, нет. А ползком далеко не уйдешь.

Нога гниет, я это чувствую, цель приблизилась ненамного. Так что дальше-то?

Э, нет! Если начать думать, что все кончено, то мне не добраться до людей, а это есть недоведенное до конца дело. Попробуй еще раз себя обмануть, такой обман идет на пользу, во благо. Так ли много осталось? И так ли сильно ты сдал? Нет, конечно. Но слишком уж одиноко? Ничего.

Вскочил на свой костыль даже не оперевшись о камень. Я ожидал рвущей боли, опрокидывающей в беспамятство. Оказалось — ничего, стерпеть можно. Так, шаг, другой. Посчитай для начала, а потом брось, а то втянешься, начнешь считать и считать, чего хорошего?

Впереди еще один пляж до еще одного мыса, где вверху, в камнях, нависших, как хмурые брови, есть профиль, похожий на профиль не то какого-то государственного деятеля, не то киноартиста, а виден он с одной только точки — снизу. Есть впереди еще пара ручейков, в которых нужно будет не забыть напиться.

Опять потерял сознание. Впереди меня ждали километры, казавшиеся непреодолимыми.

Я открывал и закрывал глаза, подернувшиеся смертной пеленой, затуманивающей для меня весь мой кусочек мира млечной дымкой.

Дойду, тут и спору быть не может.

Замедлило свой неустанный бег мое здоровое сердце. Я подышу своими хриплыми легкими, дам тебе достаточно кислороду. Вы, мой оловянный желудок и железный пищевод, примите в себя несколько крошек сухарей и пятнадцать глотков ледяной родниковой воды. Ты, сердце, не дури, тебе еще не все из самого неприятного пришлось испытать, так что восстановите ритм биений своих, истончившиеся желудочки; расправьтесь, альвеолы, перестаньте дрожать, мышцы, нам нужно дойти.

А пока я прислонюсь спиной к этому нагретому солнцем валуну и еще раз полюбуюсь прекрасным возлюбленным белым светом, вдохну приятный запах гниющих водорослей, йодистый запах моря, полюбуюсь кромкой белой пены на верхушке накатившей на берег с шипением волны, которая останавливается у самой моей искалеченной ноги.

Сердце послушалось, забилося сильно, хотя и не чисто — устало ведь! Клиц-кляц, клиц-кляц... Эй вы, мышцы, пальцы, шея, глаза и кости, держитесь!

Я посмотрел в небо, такое одиноко-холодное и равнодушное, посмотрел на море у ног, на скалу, нависшую надо мной, — берите меня, друзья, в компаньоны. Вы знаете, что я родился, раз живу и хожу тут по вас, над вами и под вами. Вы меня видели, вы меня знаете, навредил я пока вам немного. Поддержите меня, товарищи! Мое исчезновение поразит моих близких в самое сердце, оно лишит их части жизненной стойкости. Всем моим друзьям, будь то мужчины или женщины, придется скверно. Дело не в том, что одним больше, одним меньше, и что каждый день уходит множество людей в небытие, а одним больше, — одним меньше эту арифметику никак не изменит. Я научусь жить так, чтобы ни одно мгновение моей новой жизни, выцарапанное на этой пустой, как эхо, и марафонской дистанции, не стало холостым, я научусь жить так, чтобы душевные силы мои, избыток которых в себе ощущаю, тратить ежедневно, не экономя.

Я хочу жить. Впереди у меня только восемь километров. ...Его нашли на следующей неделе после того, как он умер.

Случайностью было, что его вообще нашли: когда миновали все крайние сроки его возвращения, на моторной лодке к тем местам, где он обычно проводил отпуск, отправилась поисковая группа. Место, где он ловил рыбу, тоже прощупа-

ли и наткнулись на сломанное удилище, а уж потом, в самодельной палатке, накрытой травой, нашли и то, что звалось Огольцовым.

Он лежал головой вовнутрь шалаша, наружу торчал только болотный сапог с подошвой, будто сорванной рашпилем до самой ступни. Тело тронули лисы и соболя, и оно уже начало разлагаться на химические элементы, из которых состоит любой живой организм. Видишь ли, Афанасий, я хотел бы думать, что он кричал и звал на помощь, высунувшись из своего шалаша, когда совсем недалеко от него прошло рыбацье судно, он бросил в костер второй, перерезанный сапог, чтобы черный дым привлек идущее в пяти милях от берега торговое судно, я хотел думать, что он до слез в глазах всматривался в прибрежную полосу, за мыс, откуда должны были появиться люди. Ничего такого он не делал. А хотелось верить в то, что он хотел жить, но вера эта была неоправданной.

Он лежал в своей палатке, изредка пошевеливаясь, чтобы съесть что-нибудь или расстегнуть ширинку, чтобы лежа помочиться. Сначала он несколько дней подряд лежал и слушал, как расширяется внутри его боль. Он считал, сколько сможет протянуть в таком состоянии. Итог размышлений и подсчетов его не утешал, надежды у него не было, а через несколько дней не осталось и иллюзий.

Для того чтобы его похоронить, нужны были формальности, экспертиза, разрешение на похороны. Наш следователь, который прибыл на место на второй день, составил акт о смерти, предварительно ознакомившись с обстоятельствами гибели, а представителей власти так и не дождались: слишком далеким и нелегким был путь сюда. Разрешение на похороны было дано по радио.

Сделали гроб, привезли его на место, выбрали и надежный уголок для могилы. И тут кто-то сказал, а ведь он наш, он с нами жил много лет рядом, работал, ел и спал рядом, так давайте его и похороним у нас же, на том самом месте, где уже стоит памятник строителю.

Так и сделали. С предосторожностями гроб погрузили на лодку и привезли за много километров на то место, где впервые высаживаются новые члены нашей маленькой семьи и где впервые высаживались на берег и мы сами.

В ночь, когда родился Амбарщик, над горизонтом стоял Марс. Это к тому, что все мы рождаемся под знаком каких-либо светил или звезд, без этого не обошелся еще ни один

человек. Молодые родители были безмерно рады появлению первенца и не могли налюбоваться кулечком, в котором посапывал крохотный Амбарщик. С первых минут жизни, едва только посмотрев на него, мама поняла, что родился будущий великий человек. А папа, прогуливаясь под окном и на радостях отметив такое событие, убедился, что на горизонте стоит Марс, и пришел к мысли, что за этим окном появилась на свет божий незаурядная личность.

Они не ошиблись. Хотя чем больше вырастал Амбарщик и чем быстрее он вытягивался в высоту, тем быстрее и больше вытягивались лица у родителей. Тем меньше они стали загадывать на будущее и тем больше беспокоиться, но, как выяснилось, — совершенно напрасно. Дело было в том, что выдающаяся личность и великий человек не изволил еще сказать ни единого слова. Уже давно его сверстники научились говорить и ругаться, и прекословить своим родителям, а Амбарщик хранил гробовое молчание. Ни отец, ни мать так и не слышали от него самых первых и таких долгожданных слов: Амбарщик не сказал ни «ма-ма», ни «па-па», ни даже на «агу-у» его не хватило. Врач выявил полную несостоятельность родительских тревог — Амбарщик рос здоровым розовым крепышом. Ни кислая мина, с которой он смотрел на окружающее, ни молчаливая брюзгливость, написанные на его лице, отнюдь не были следствием какой-либо болезни.

Подошло, наконец, и ему время идти в школу. Но и в школе от него не могли добиться ни единого слова — он исправно и молча переходил из класса в класс, не исторгнув ни звука. Он исправно и молча сидел на задней парте, сохраняя полнейшее равнодушие и кислую мину. В школе он стал, благодаря своим замечательным свойствам, неким идолом, образцом ученика, о котором втайне мечтали учителя. Даже в пятом классе ни ученики, ни родители, ни учителя не смогли добиться от него не только слова писаного, но и молвленного тоже. Тот же день, когда он впервые произнес слово, вошел в неписанные анналы школьной истории.

Еще долго, подобно шмелиному рою, будут жужжать о нем на переменах, в полных табачного дыма туалетах, еще долго о нем с душевной тоской вспомнят в учительских, еще долго образ его будет стоять перед внутренним взором всей школьной братии.

Случилось это так. На большой перемене Амбарщик подошел к однокласснику и схватил того за карман голубых новеньких джинсов. Одноклассник опешил и попытался выр-

ваться, но не тут-то было: Амбарщик держал мертвой хваткой. Он пощупал ткань и поковырял ногтем кожаную этикетку на задку. Словно убедившись, что все здесь без обмана, он произнес свои исторические слова, птицей облетевшие школьные коридоры и вызвавшие невероятное смятение в классах и учительской: «Олл райт, это настоящие «Ли», без всякого обмана».

С тех пор он охотно говорил. У него прорезался искренний и подлинный интерес к вещному миру иностранного производства. Он захотел хорошо жить и еще ни разу, нужно признаться, не пожалел об этом своем желании. Матери и отцу он приказал достать хоть из-под земли две пары джинсов, стетсон из Калифорнии, английские туфли из желтой кожи, портфель из крокодиловой кожи, зажигалку «Ронсон» и сорочки от Диора. Только на таких условиях он еще согласен был терпеть школу. Матери пришлось стать еще и его переводчиком, потому что Амбарщик вел все разговоры на английском языке, который освоил сразу, хотя нигде ему не учился. У него был чистейший оксфордский выговор. Экзамены у него принимали как у подданного иностранной державы и, выставив ему за оксфордское молчание соответствующие оценки, выпустили с богом на все четыре стороны. На следующий после экзаменов день Амбарщик и устроился без всякой посторонней помощи на судно, где еще не успели выбрать «амбарщика». И вот Амбарщик стал Амбарщиком.

Через два года Амбарщика знал не только весь портовый район, но и город.

...Бессонная ночь сморила Студента, и он, не думая больше ни о чем, сладко уснул прямо на траве.

Спал он недолго, ибо с рассветом, когда солнце стало трудиться, чтобы пробить густое облако тумана, повисшее над местностью, и редкие его блики задрожали над поверхностью воды, затрещал невдалеке лодочный мотор, и перед устьем реки возникла из белого тумана глиссирующая лодка с Семеном за рулем. Был Семен уже хороший и в заводь перелетел по воздуху, лихо тормознув задним ходом прямо у берега. Приткнув нос лодки напротив того места, где сидел, протирая сонные глаза, Студент, Семен спрыгнул на берег и, не обращая внимания на приподнявшегося Студента, направился куда-то в сторону.

Студент, подергав себя за волосы и ущипнув за бедро, понял, что видение на этот раз было явью. Руки-ноги его

задрожали от счастья, он преисполнился любви и благодарности к неуклюжему великану с милым именем Семен. Он с уважением посмотрел на его патлатую голову, которая мелькала в траве, то пропадая, то опять появляясь.

— Вот он! — раздался торжествующий Семенов голос. — Слава богу, его не украли!

Ликующий Студент поднялся и пошел к Семену, протянув руки для дружеского объятия.

— Я здесь, Семен! — крикнул он.

Семен вздрогнул и выпрямился. Глаза его с мистическим ужасом остановились на приближающемся Студенте. Дель собираемого невода выпала из его рук, а Семен раскрыл рот, рассматривая Студента, как если бы он был парнокопытным животным, воскресшим из забвения, будто Студент был чудовищем из мезозойской эры.

— Здравствуй, дорогой Семен! — вскричал Студент.

— Э-э-э... Привет, привет, — осторожно отозвался Семен.

Студент немного обиделся на Семена за то, что тот не встречает Студента, распахнув в ответ свои объятия, но радость оттого, что он наконец спасен и видит перед собой такое знакомое, такое родное лицо, переполняла его под самый жвак.

— Как ты мог меня «найти», если я и не терялся? — упрекнул он Семена.

Семен осторожно огляделся по сторонам, как бы ожидая еще каких-нибудь сюрпризов.

— Э-э-э... Ты как здесь оказался? — выдавил он из себя, сглотнув повисший в горле булыжник.

— Разве я «оказался»? — растерянно произнес Студент. — Ты приехал не за мной?

— Я приехал за неводом! — отрубил Семен. — Не рассказывай мне байки, заранее тебя предупреждаю! Ты думаешь, что если я косой, так ты мне можешь плести что угодно?! Ошибаешься! Ведь тебя унес ВЕТЕР, разве не так? Ну-ка, признавайся!

У Студента сжалось сердце.

Сам не веря в то, что говорит, чувствуя, как его слова отдают наивностью и замшелым провинциализмом, он сказал:

— Ведь вы меня оставили стеречь невод.

— Ну и шутник! — ухмыльнулся Семен. — И ты его стеррег, хочешь ты сказать? Ладно, я не буду допытываться, если ты не хочешь говорить правду. Я даже не скажу Чифу, что нашел тебя на Берегу, не то он вкатает тебе выговор. Кэп

еще не отправил радио на предмет твоей пропажи, но собирается это сделать с минуты на минуту. А сообщил о том, что тебя унес ВЕТЕР, не кто иной, как Лева. Он сам видел, как тебя подхватил порыв и взметнул выше самых высоких гор, так что ты превратился в маковое зернышко, а потом и совсем пропал. Но не волнуйся, я никому не скажу, что нашел тебя.

Студент молча кивнул головой и вытер ладонью слезы.

— Ведь это я остановил судно, когда мы полным ходом чесали в Поселок,— похвастал Семен.— Я зашел к Кэпу и как бы между прочим сказал ему: «Мы забыли». За это он вкатал мне выговор, чтоб не забывал впредь, а за то, что я ему напомнил о пропаже, он вкатал мне второй выговор. Но так как невод был абсолютно новым, он приказал повернуть судно и, когда мы приблизились, послал меня на шлюпке за сетью. Впрочем, что я тебе рассказываю, ты же и сам должен об этом знать, раз тебя здесь не было и ты шлялся неведомо где.

Студент хотел было спросить, как бы он об этом узнал, но вовремя прикусил язык.

— Видел бы ты их рожи! — захлебывался Семен.— Да у них шары на лоб полезли! Как это мы ухитрились совершить такую промашку!

Студент, вздохнув, покорился судьбе.

— Я тебе расскажу, что происходило на судне в то время, как тебя унесло ВЕТРОМ. Мне, правда, очень интересно было бы узнать, как тебя несло и куда и почему ты опять оказался на Берегу, но я не настаиваю. Разведи-ка костерок погуще, а я кину сеть на уху.

Семен забросил половину невода в воду и через минуту вытащил его обратно, полным рыбы. Студент тем временем оживил костер и подвесил над огнем ведро с водой. Пока они работали на разделке рыбы, между ними установилось нечто вроде взаимопонимания, как всегда бывает, когда объединяет труд. Семен уже твердо решил не выдавать Студента, когда они вернутся на судно, а Студент решил не дразнить, не раздражать Семена, дабы ему не стало еще хуже. Семен иногда косился на Студента, а один раз даже украдкой пощупал его штанину, чтобы убедиться в том, что Студент выкарабкался из своей передраги лучшим образом и сидит перед ним цел и невредим. Когда вскипела уха и голодающие вооружились ложками, Семен все-таки не выдержал и спросил, стараясь не обидеть Студента своим неосторожным вопросом:

— Ну, и как? Сильно ли тебя вертело? Я думаю, тебе здорово повезло, разве шмякнуться с такой высоты приятно?

Студент уже приготовился проглотить свой язык вместе с рыбьей головой, но не сдержался.

— Откуда я могу знать, как падать с такой высоты?! Вы меня бросили и ушли к чертовой прапрабабушке, а я сидел всю ночь на берегу и со мной творились непонятные вещи! — разозлился он.

Семен проницательно посмотрел на Студента, как бы говоря, давай, давай, заливай, брат. Как же ты ниоткуда не падал? А откуда же ты тогда падал?

Они молча похлебали ухи.

— Мы чесали полным ходом в Поселок для того, чтобы выкинуть к чертовой прапрабабушке Третьего,— сообщил Семен.— Кэп обещал что-то придумать, пока мы чешем полным ходом, ему об этом шепнул Амбарщик, но пришлось с полпути вернуться. Да-а-а-а...— вспомнил он.— Я же тебе не рассказывал, что случилось до того, как тебя унесло ВЕТРОМ и когда мы снялись с якоря.

...Бот с сидящими в нем Амбарщиком,левой и Семеном подошел к судну, влача на буксире плот, груженный рыбой так, что он едва не тонул. Рыба, насыпанная на нем шалашиком, грозила ссыпаться в воду, но судно подвернулось вовремя. Над фальшбортом возникла из тумана целая галерея лиц.

— Со всех сторон неслись приветственные возгласы,— с удовольствием вспомнил Семен.— Мы не стали им говорить, что все пропало, раз на крыле мостика замаячила также и рожа Третьего.

«Зачем нам столько рыбы,— прогнусил он,— когда по лицензии на прокорм экипажу требуется в десять раз меньше?»

— Меня передернуло от отвращения, когда я увидел его и услышал его голос,— признался Семен.— Ему показалось, что мы привезли много рыбы! Разве это человек? Он не пордовался с нами, не покричал ура! Он опять был недоволен! Кэп, конечно, вышел из себя и заявил, что это не его собачье дело и что пусть он лучше заткнется, пока не поздно, а не задает свои гнусные вопросы, иначе он, Кэп, возьмет Третьего под микитки, надаст ему коленом под зад, привяжет его к большой наковальне из слесарки и с бульканьем опустит по собственному желанию на дно, чтобы Третий выяснял у рыб, почему он ее не любит.

«Разве рыба виновата в том, что она идет в копченом, соленом, вяленом, жареном, консервированном, маринован-

ном, бланшированном, запеченном в пирог, под соусом, со сметанкой, политой уксусом, посыпанном укропом, петрушкой и свежим луком виде? — раскричался он. — Может быть, тебе взбредет в голову считать, что и икра у нее горькая и несъедобная? Может, ты хочешь, чтобы я поговорил с рыбой о том, чтобы она не плавала вот так, виляя хвостом и не метала икру, а зарылась бы в песок и пускала пузыри?»

Кэп иронически улыбнулся такому вопросу. У него прямо уши торчком встали, когда он представил себе такую глупость.

«Поговори об этом сам, если не спасуешь. А сейчас мы выгрузим эту рыбу и сделаем еще дюжину рейсов. Эй, Чиф, место в трюме освободили?»

— Третий чуть с мостика не свалился, — с удовольствием вспомнил Семен.

«Как, — забормотал он, — вам мало и этого? Да тут хватит на целую бригаду таких едоков, как Семен, Повариха и Дед, чтобы есть рыбу полгода на завтрак, обед, ужин, да еще, если и ночью вставать два раза».

«Ах ты глупый мужик! — взревел Кэп. — Да чем тебе эта рыба не понравилась? Чем тебе рыба эта виновата?! Да будь ты трижды проклят!!! Да провались ты в тартарары! Замолчи сию же минуту, иначе тебе придется так плохо, что будешь ты икать до самого Нового года! Пойми, рыба родилась, чтобы плавать в воде вот так, виляя хвостом, — она, зараза, по-другому не умеет. А мы родились, чтобы ловить ее день и ночь, всю жизнь! Мы рождены для того, чтобы выловить ее всю, до последнего пескаря, чтобы лет через сто от нее даже запаха не осталось, но чтобы нам на нашу короткую жизнь хватило как раз! Разве не это все мы делаем? Бьем зверье, корчем лес, жжем тундру, травим живность летучую, ползучую и плавающую, ловим рыбу и гноим древесину в устьях обмелевших рек?! И будь уверен, все это мы доведем до победного конца! Мы выловим рыбу, выкорчем лес и сгноим его на обмелевших перекатах рек, а чтобы никто не смог нам помешать, мы похлопочем о введении новых законов, которые поощряли бы разгильдяйство и тупость. Мы пойдем на все для того, чтобы Земля превратилась в лысый колобок, клянусь тузом крестей! Большого и не нужно. А остальное оставим потомкам; может быть, они изощрятся и придумают, как этот колобок обскоблить до синего блеска. На нашу жизнь работы хватит, мы предпоследние, кто старается, чтобы превратить Землю в колобок». — И Кэп рубанул рукой крест-накрест.

Я забился под шлюпку на ботдеке и слушал, как они

препираются. Мне было видно, как побледнел Третий,— вспомнил, прищурившись, Семен.

«Разве ты не слышал о ВЕТРЕ? — продолжал кричать Кэп. — Об этом все знают, кроме тебя, как я погляжу. Нам же осталось пшик: может быть, завтра он дунет, и пиши пропало всем нашим заботам! А ты тут свалился нам на голову и мешаешь изо всех сил, будто тебе делать нечего. Я вот на тебя смотрю и подозреваю одну штуку,— сказал он, когда бот и плотик с рыбой вздернули на палубу и на рыбу накинута с ножами наготове все, кто присутствовал на судне,— я вижу, тебе вполне хватает твоей зарплаты».

К ним подошел и стал рядом Чиф.

«А мне вот моей зарплаты не хватает. Ты вот такой идиот потому, наверное, что тебе хватает твоей зарплаты, а я тоскую из-за того, что мне не хватает даже моей, твоей и Чифовой зарплаты, вместе взятых. Мне не хватает даже зарплаты всего экипажа, будь спокоен. Свали сейчас каждый из членов экипажа на палубу все свои деньги и скажи: бери, Кэп,— мне и этого не хватит, вон чего. Будь на то моя воля, я бы всю месячную зарплату экипажа перечислял бы на свой счет в сберегательной кассе. Они тут, бездельники, не могут выловить и обработать для меня вагон паршивой рыбы, а я страдай?! Ведь Амбарщику тоже нужны и рыба и икра. Вы, наверное, считаете, что Амбарщик здесь дышит соленым воздухом и не думает ни о чем хорошем? Как вы все ошибаетесь!»

Третий поднял руку. Мне было слышно, что он сказал.

«Кстати, о ВЕТРЕ, капитан. У меня есть мнение, что против ВЕТРА можно устоять, и нужно устоять».

«Против ВЕТРА не устоишь! — взвизгнул Кэп.— Что ты за баран, не понимаешь, что ли, что против ВЕТРА невозможно устоять?!»

Третий задумался и покачал головой.

«Ваши теории о планете, лысой, как колобок, еще должны быть осмыслены,— сказал он с усмешкой.— Не знаю, почему она еще не лысая, может быть, потому, что кто-то мешает? И мешает упорно. Какой в том резон, а, Кэп?»

«Что ты мне заговариваешь зубы? — взвился Кэп.— Ступай куда цел, не то я прикажу тебя связать, сунуть в рот носовой платок и посадить в подшкиперскую, на канаты».

«Ничего не выйдет,— ответил Третий.— Я на канаты не сяду. А с рыбой у вас тоже больше ничего не выйдет, вы меня вынуждаете на крайние меры».

Кэп обалдел от такой наглости и стоял разинув рот, пока Третий не поднялся по трапу в рубку.

— Я, конечно, боюсь Третьего,— признался Семен,— и мне не доставляет удовольствия видеть его даже на расстоянии в двести метров. Когда он ушел, у меня будто гора с плеч свалилась. Чиф потащился за Третьим в рубку, и вот что он нам потом рассказал. Так вот, Третий вошел в рубку, включил рацию и стал вызывать диспетчера ближайшего портпункта. Когда тот откликнулся, Третий попросил его сообщить в рыбинспекцию, что здесь, по его мнению, происходит грабеж и мародерство. Чиф рассказал, что после того, как понял, чего именно хочет Третий, он необычайно огорчился и оперся на переборку, одновременно закурив сигарету «Памир».

— Но он же мог попросту выключить рацию на щитке питания, а ключ спрятать в карман,— вставил Студент.— Или вызвать Кэпа или кого-нибудь из команды, чтобы помешать Третьему, если он только хотел помешать.

Семен уставился на него, потом погрузился в такую беспросветную задумчивость, что череп у него угрожающе треснул. Махнув рукой, Семен продолжил свое повествование.

— Так вот, когда Чиф услышал, как Третий вызывает рыбинспекцию, то чуть не сгорел со стыда, а чтобы со стыда не сгорели остальные, он закрыл дверь, ведущую вниз, и от огорчения облокотился о переборку. Да, еще, как выяснилось, закурил сигарету.

«У меня в голове не укладывалось, как так можно делать,— рассказывал Чиф.— Да у меня просто челюсть отвисла, когда я представил, что приедет инспекция ловить целый пароход браконьеров».

Услышав это, Кэп поклялся, что завтра с Третьим будет покончено.

«Выяснилось,— сказал Кэп,— что Инженер перед тем, как сойти на точку, имел беседу с Амбарщиком. То, о чем они с ним говорили, я пока не могу сообщить публично, но завтра все может встать на свои места. Амбарщик пошел на этот разговор по собственной инициативе, когда узнал, что за дичь этот Третий, а Инженер пообещал замолвить словечко, если ему представят возможность в свободную минуту подойти к радиостанции и связаться с Управлением».

Я стоял, как всегда, наготове, потому что Кэп за всеми передрыгами обо мне отнюдь не забыл. Мимо меня прошел в свою каюту Третий. Я затаил дыхание и вжался в переборку.

Он что-то бормотал, неторопливо ступая по трапу, я смог расслышать только несколько слов.

«Все дело в том,— сказал Третий,— что есть оптимизм. Именно на нем держалась история в промежутках между войнами и бедствиями глобального масштаба. Так что тебе, Кэп...» Ты разве еще не уснул, Студент?

Семен сладко зевнул.

— Нет-нет,— сказал Студент,— я внимательно слушаю.

— Тут не заскучаешь,— подтвердил Семен.

Когда рыба была разделана, и когда икра сочно засветилась в грохотках, все двинулись в столовую, ибо за ожиданием бота с разведчиками, за разговорами и работой было забыто главное.

В столовой их встретила тишина и пустые столы. И на камбузе не оказалось ни одной дымящейся кастрюли и сковороды, плиты были холодны, как лоб у покойника; а ведь было самое время для того, чтобы все это грело, калило, трещало и дымилось, как было всегда, когда там обреталась Повариха. Ее, по всей вероятности, не щекотало, что все хотят кушать, она не собиралась готовить и самого обеда.

Кто-то постучал в каюту к ней и спросил, почему ничего не готово и почему Повариха прохлаждается в койке, когда толпа стоит голодная и жаждет набить опустевшие матрасовки.

— А я не хочу,— заявила Повариха.— Меня не щекочет, что вы все голодные и хотите набить опустевшие матрасовки. Я здесь не для того, чтобы горбатиться на вас с утра до вечера, готовить вам борщи, блинчики со сметаной, кофе, пшеничную кашу, биточки с фрикадельками, керзуху, а вечером еще и чай! Кончилась лавочка, баста! Куда вы спрятали от меня моего дорогого Студентика? И зачем пустили утку, будто его унес ВЕТЕР, когда мне мое сердце подсказывает, что он жив? Найдите мне Студентика или провалитесь вы пропадом под землю со всеми вашими обедами, чаем и керзухой! Горите вы теперь синим пламенем, и плевать я на вас хотела с самого высокого салинга в бассейне! А потом,— продолжала разоряться Повариха,— кто мне будет солить рыбу и готовить икру? Кто поможет одинокой слабой женщине, уж не вы ли? Как же, от вас дожدهшься! Держи карман шире,— издевалась она.— Вам бы только о себе и позаботиться, до других вам и дела нет! Однако, когда вы хотите набить матрасовки, то идете не к кому-нибудь, а ко мне. Теперь те светлые време-

на, когда вас ждали на столах дымящиеся кастрюли, отошли в глубокое прошлое. Готовьте сами, жуйте сухари.

Она бы еще долго кричала, широко разевая рот, но в это время возмущенный Кэп, до которого докатилось эхо далекого скандала, вызвал Повариху по громкой связи к себе в каюту и приказал готовить ему с Амбарщиком еду три раза в день плюс еще и вечерний чай с колбасой и с бутербродами с икрой и маслом. Повариха окаменела от такого заявления и собралась уже было понести Кэпа по кочкам, но благоразумно вспомнила, что Кэп человек крутой и не привык повторять одно и то же по пятьдесят раз. Кэп делался на редкость несносным и начинал придираться к каждому пустяку.

Повариха молча повернулась и убежала, рассекая воздух, а Кэп облегченно вздохнул, не получив от нее ожидаемого отпора...

...Плотно покусав, Амбарщик попросил Кэпа вызвать Семена и Леву, которые жевали сухари на этот раз вместе, сидя рядышком на кнехте. Решено было спустить моторную лодку, взяв на буксир плотик, значительно усиленный в умелых руках судового плотника за счет дополнительных приспособлений и надстроенного досками борта. Когда новая партия рыбы будет готова, подойдет остальная братия на большом боте и заберет рыбу, а ловцы будут по-прежнему оставаться на берегу и продолжать лов. В такой расстановке сил была необходимость, ибо тогда процесс приобретал важное качество — непрерывность.

Торжествующий Семен сделал круг и встал под погрузку. В кокпит спустился Амбарщик, а Лева разместился на плотике, потому что, по его заявлению, от шума мотора у него болит голова, а головная боль мешает ему думать. Он сел на плоту, облокотившись о борт, и смотрел на маячившую в тумане лодку, к которой плот был привязан длинным буксиром. Ему взбредали в голову необычные мысли, как, например, вот такая: существует ли, в самом деле, тот мир, которому угрожает ВЕТЕР, и, если существует, то почему еще не кончился? Ведь, по всем прогнозам, он должен кончиться еще в то время, как изобрели порох и пушку. А если этот мир еще существует, то почему? Сам Лева склонялся к мнению, что этого мира уже давно не существует, от него остались одни печальные призраки, и что он сам, Лева, уже давно не существует, а вместо него плывет на плотике призрак Левы, фантом, морской туман. Разве могло случиться, что ВЕТЕР еще не дунул и что все осталось на своих местах? По всей

вероятности, давно дунул, но это всячески скрывается, чтобы не было лишней паники.

Понемногу Семен увеличивал скорость, и плотик привстал над водой. Семен увлекся и надал газку, и в реве мотора потерялись вопли перепуганного Левы, которого то окатывала с ног до головы прохладная водичка, то бросало в воздух, как птицу. Плот швыряло то влево, то вправо, иногда он зарывался в воду и плыл подобно субмарине, а чаще взмывал в воздух и парил над волнами, будто судно на воздушной подушке. Сильнее разогнать лодку Семен не мог — плот сдерживал ее, как плавучий якорь, но рулевой выдавал все, на что был способен и он сам и мотор. Случайно обернувшийся Амбарщик увидел Леву, нелепо взмахивающего руками на плоту, и чуть было не расхохотался от удовольствия, но сохранил холодное выражение на лице и приказал Семену ехать потише, не то оборвется буксир. В серых сумерках этот странный караван начал красться, будто тать в ночи. Семен затянул песенку, Амбарщик поправил галстук, а Лева, поскуливая, стал выжимать мокрую одежду.

Краем глаза Амбарщик заметил какую-то тень, скользнувшую в тумане. Он сделал Семену знак рукой, и Семен оглянулся. Вдруг лицо его исказилось гримасой панического ужаса — в туманной тени он рассмотрел идущую к ним наперерез со стороны моря моторную лодку. В одну секунду трос буксира был сброшен в воду, мотор ошалело взревел, и лодка понеслась длинными кривыми зигзагами прочь.

— Третий! — взвыл Семен. — Я знаю, это Третий!

Он круто переложил румпель, лодка взмыла в воздух и полетела на камни, столпившиеся у самого берега, на мелководье. Мотор, набирая мощность, трепетал и рвался из его рук, мертвой хваткой сжавших рукоятку управления. Нос лодки задрался кверху, и Амбарщик с трудом удержался на банке. Спасало его то, что он успел схватиться за ветровое стекло. Ветер смерти засвистел в его ушах.

— Будь я проклят, — заявил он, — если мы сейчас не расколошматимся в сэндвич, не воспарим с ангелами в небеса, а наши бранные тела не погребет пучина морская.

Он не опечалился таким поворотом событий, ибо даже те, кто знал об Амбарщике немного больше того, что его зовут Амбарщик, не знали, конечно, и никогда не смогли бы узнать истинной Амбарщиковой тайны, тайны его абсолютного хладнокровия и мужества перед лицом смерти. Дело в том, что Амбарщик застраховался на большую сумму, ему-то смерть была не страшна, она оплатится по самым высшим ставкам.

Семен каким-то седьмым или девятым чувством расслышал слова Амбарщика и даже понял их. Английский текст Амбарщиковой фразы механически перевелся в его мозгу на русский язык, и Семен смертельно испугался за Амбарщика. Он представил себе, какое ужасное наказание Кэпа догонит его на том свете, если он утопит Амбарщика. Он так круто переложил руль, что Амбарщика сначала приплюснуло к одному борту с ускорением в 6Ж, а потом с такой силой отбросило к другому, что в крепком дюралево́м боку от удара Амбарщиковой головы появилась змеистая трещина.

— Прекрати, Семен, свои ковбойские штучки, — недовольно поморщился Амбарщик. Он заткнул тряпицей дыру в дюралюминии отечественного производства — чего ожидать от такой лодки? — вытер руки и сказал по-английски «Тьфу».

— А-а-а-а-а! — визжал Семен, направляя лодку прямо на несущуюся им навстречу тень. — А-а-а-а-а-а-а-а-а! — Его громадное тело съежилось на задней банке, а остекленевший, безумный, затравленный взгляд остановился на лицах сидящих в другой лодке людей.

Но, чем ни быстрее сближались лодки и чем ни явственнее становилась невозможность избежать столкновения, тем быстрее светлел Семенов лик, тем спокойнее он сам становился.

Амбарщик с любопытством смотрел на него, не в силах оторвать взгляда от широкой улыбки, в которую превращалось Семеново лицо. Сквозь вой и грохот моторов и свист рассекаемого носами лодок воздуха Амбарщику пропели сверху ангелочки, вихрем спускаясь пониже. Амбарщик закрыл глаза и предался думам о бренности всего земного и о вечности простого бумажного рубля. Его привел в себя торжествующий рокот Семенова баса:

— Это не Третий! — Он наклонился к самой барабанной перепонке Амбарщика: — Это рыбоохрана. Нам дьявольски повезло, что это не Третий. Это рыбоохрана.

И он виртуозно уклонился от столкновения, немного сбавил ход и замурлыкал песенку:

— Л-ля-ля.

Лодка, в которой, по счастливой случайности, не оказалось Третьего, и не думала оставлять их в покое. Она остановилась у брошенного плотика, и минуту-другую там шли переговоры с мокрым, как гусь, Лево́й, потом Лева указал перстом на удаляющуюся лодку с Семеном и Амбарщиком, которая уже едва видна была в клочьях густеющего на расстоянии тумана. Лодка развернулась и стала догонять Ам-

барщика и Семена. Конечно, и мотор у нее был послабее, и обводы не те, это уж так повелось, но Семен и не торопился от нее убегать, он был занят более важным делом — искал вход в устье речки, которую в тумане не мудрено было и проскочить. Но на погоню обратил внимание Амбарщик.

— Они нас догоняют, — сообщил он Семену, на что Семен меланхолически кивнул, — но мы не должны допустить, чтобы они нас догнали.

С этими словами он вытащил из-под банки двустволку и набитый патронташ. Семен, продолжая мурлыкать песенку, чуть отодвинулся, чтобы Амбарщику было удобнее стрелять, но Амбарщик неожиданно ткнул стволами под ребра Семену и кивком приказал взять оружие. Он пересел на место Семена, а Семен неохотно пересел на место Амбарщика. Он взял в руки дробовик и прицелился.

— Стреляй только в голову и наверняка, — посоветовал Амбарщик. — Прикончишь одного, принимайся за другого. Не трать больше одного патрона на человека. Когда ты их прикончишь, мы вернемся и потопим лодку, чтобы не оставалось никаких следов.

Семен знал, что Амбарщик стреляет безусловно хорошо. Тренируясь в стрельбе по нерпичьим головам, он всегда выходил победителем из соревнования с Инженером, после чего Инженер, переживая за свои дрожащие руки и старческие глаза, всхлипывал и шел плакать в каюту. Если бы на таком соревновании Семен выстрелил по нерпичьим головам сто раз, а потом ружье взял Амбарщик и тоже выстрелил бы сто раз, то оказалось бы, что он стреляет в сто раз лучше Семена, если брать во внимание сто выстрелов Семена и один — Амбарщика.

Однако пора было приниматься за дело. Семену не доставляла удовольствие мысль стрелять по человеческим головам, по которым мазать уже непростительно, но что сделаешь, когда рядом сидит Амбарщик и хладнокровно смотрит на него, ожидая действий? Семен поднял ружье и нажал спуск. Дробь взвизгнула мимо Амбарщикова уха и широким веером легла в воду за кормой.

— Слишком низко, — сказал Амбарщик и выплюнул пороховой дым. — Подожди, пока они подойдут поближе. Семен выстрелил еще раз, повыше.

— Они маневрируют, — обиделся он, — попробуй тут попади!

Он зарядил оба ствола и выстрелил еще раз по неприятельской лодке.

— Не стреля-а-а-айте! — донеслось оттуда. — Вы можете нас заде-е-е-еть! А-а-а! О-о-о! У-у-у!

— Это у них такой юмор, — невозмутимо объяснил Семену Амбарщик, — они изволят шутить.

Семен почувствовал, как непрощенная жалость к безвинным инспекторам рыбоохраны вкрадывается в его душу. Он безвольно опустил ружье, боясь признаться самому себе, что никогда бы не смог убить даже Третьего, подвернись такая возможность. Если бы Третьего можно было убить случайно, не видя его глаз, как бы в шутку, ну, скажем, сбросить на его голову большую наковальню из слесарки, и то, вероятно, Семен не смог бы этого сделать.

— Возьми патрон, на пыже которого написано «картечь», — скомандовал Амбарщик.

Вдруг под днищем лодки послышался глухой удар, от которого дрогнул корпус, мотор остервенело взвыл, а лодка замедлила скорость и через несколько метров остановилась.

Семен посмотрел за борт:

— О, тут, оказывается, камни. У нас срезало шпонку и раскрошило винт, — сообщил он.

Погоня вынырнула из тумана и стала борт о борт с беспомощной лодкой.

— Нужна была дистанционно управляемая торпеда, — задумчиво произнес Амбарщик. — Тогда им бы наверняка крышка, и лодку топить не обязательно.

— Хотим с вами, ребята, потолковать, — крикнули им с лодки.

Амбарщик поднял голову и холодным взглядом измерил сидящих в лодке Инспекторов, одного молодого, а другого постарше.

— Вы считаете, что мы с вами можем найти общий язык?

— Мы думаем, что сможем найти с вами общий язык, — сказал Инспектор постарше. Молодой кивнул и с любопытством посмотрел на Семена, который копошился под водой, то опуская руки по самые плечи, то ныряя с головой.

— У вас срезало шпонку! — догадался Молодой. — Это нехитрое дело, если учесть, что камни под вами находятся на небольшой глубине. Хорошо, что мы вовремя замедлили ход, иначе и нас постигла бы та же участь, что и вас. Но беда поправима, у нас есть запасной винт и несколько шпонок, можем предоставить их вам.

Семен подозрительно прищурился на него, мысленно обвиняя в нехорошем начинании, но доверчивая улыбка сразу его подкупила.

— Вы знаете,— сказал Старший Инспектор,— хотим вас попросить об одной штуке. Вы ведь, если не ошибаюсь, с того судна, с которого кто-то вызвал нас через диспетчерскую портпункта, сообщив, что здесь производится грабеж и мародерство? То есть ловите рыбу в недозволенном количестве и в недозволенном месте, когда она идет на нерестовую разведку.

— Кто это вам мог сообщить? — хладнокровно спросил Амбарщик.

— Это Третий! Больше никому,— догадался Семен и зябко передернул плечами.

Базальтовым пудовым камнем повисла тишина. Слышно было, как плескала в сером мраке волна у берега да проплывала, виляя хвостом, ценная красная рыба.

— Как нам сообщил катающийся на плоту молодой человек, вы являетесь самым главным на судне,— сказал Старший Амбарщику.— Мы хотим попросить у вас немного икры. Конечно, заимобразно: насколько я понял, вы находитесь в бедственном положении, вам нужны шпонки и винт.

— А зачем вам икра? — спросил Амбарщик.

Семен, поднатужившись, перевел его слова на отечественный язык, который был, судя по всему, более понятен Инспекторам. Сам Семен испытывал большое желание применить к ним все свои приемы и побросать их в воду хуками, пусть пополошутся, но вместо этого ему навязывали незнакомую роль переводчика.

— Понимаете,— заторопился Старший,— мотаемся и день и ночь, ловим проклятых браконьеров, а самим некогда и для себя чего-нибудь оторвать. Те одиночки, которых мы ловим, много не припасут, да и рыба только начала идти как следует. По-человечески мы понимаем тех одиночек: не всем удастся получить отпуск в удобное время, да и после работы и в выходные дни не все имеют возможность уехать от наших глаз подальше. Какие там у них уловы?! Другое дело такое солидное предприятие, как ваш теплоход,— Старший посмотрел в ту сторону, где за туманной пеленой скрывалось судно.— У вас можно оторвать кусок пожирнее, причем без всякого для вас ущерба.

Семен хмыкнул.

— А сколько вы хотите оторвать у нас икры? — полюбопытствовал Амбарщик.

— Да нам по бочонку на рыло,— скромно сказал Старший.— Мы собирались было попросить у вас один бочонок на двоих, но после того, как вы произвели по нас три выстрела из ружья, мнение наше изменилось. Как ни трудно может вам

прийтись, на уступки мы пойти не сможем, ведь три выстрела что-нибудь да стоят?

Амбарщик побледнел от такой наглости и хотел было заявить протест, но тут вмешался Семен:

— Мы же не произвели по вас залп торпедами,— сказал он,— это что-нибудь стоит? Вы еще легко отделались.

— Было произведено всего три выстрела дробью номер три,— вежливо напомнил Амбарщик.— Вы требуете от нас два бочонка икры, не принимая во внимание, что мы могли пойти на крайние меры и только случайность нам помешала.

— Э-э! Нет! — отмел его претензии Старший.— Третий выстрел был произведен картечью.

— Вы ошибаетесь,— надменно произнес Амбарщик,— все три выстрела были сделаны дробью номер три.

Оба Инспектора насупились.

— Я сам видел фонтан высотой с метр у самого борта, это может подтвердить и мой товарищ,— сказал Старший.— А потом, как вы считаете, можно ли дробью номер три сделать вот эту рваную дыру в борту нашей лодки?

— Ничего не понимаю,— недоумевал Амбарщик.— Семен, чем был произведен третий выстрел? Ведь я сам заряжал стволы патронами с дробью номер три, а в патронташе с того края, откуда ты брал патроны на второй заряд, тоже были патроны с дробью номер три.

Семен напряженно следил за губами Амбарщика, за его мимикой и артикуляцией и переводил, в общем-то, без погрешностей.

— Я не знаю, чем был заряжен третий патрон,— сказал он,— но он был тяжелее остальных.

— Тогда я вынужден согласиться с тем, что третий выстрел не был произведен дробью номер три,— обратился Амбарщик к Инспекторам.

— Ваша взяла, пеньки вы горелые,— перевел им Семен выражение Амбарщика.— Но из этого ничего не следует. Получите только два бочонка, и то если согласитесь на предложение, которое мы собираемся сейчас выдвинуть.

— Устроят ли вас крепкий посол и дубовые бочки? — любезно осведомился Амбарщик.

— Безусловно.

— Взамен этого я попрошу вас вот о чем. Когда мы вернемся сюда во второй раз, а вернемся мы, судя по всему, уже к вечеру этого же дня, вы должны будете обеспечивать охрану всей линии Берега, начиная от тех вот гор и кончая большой речкой в десяти километрах к северу от нас. Я думаю, вы

согласитесь с тем, что очень трудно будет заниматься здесь рыбной ловлей и охотой, когда местность будет кишеть любителями полакомиться на даровщинку. Я предлагаю вам пойти нам навстречу и обеспечить охрану этой полосы от нежелательных лиц.

Старший почувствовал в Амбарщике хватку настоящего бойцовского характера: таким палец в рот не клади!

— Дело в том, — сказал он, выслушав перевод Семена, — что распродажей суши мы не занимаемся, обратитесь в охотинспекцию.

— Ну, хорошо, накинem еще полбочонка.

Инспектор согласился.

В заключение были выработаны условия передачи товара: время, место и последовательность.

— А пока получите, как договаривались, — сказал Молодой и передал Семену несколько шпонок, винт, а в знак особой симпатии и в качестве комиссионных — отвертку с искрошившейся рукояткой.

Инспекторы сделали ручкой и отчалили. Вскоре гул их мотора сгинул вдали, а туман поглотил в себе небольшую пенную струю, вырывающуюся из-под лодки.

Семен, довольный сделкой, развалился на сиденье, что на твоem диване, и решил немного побарствовать, но Амбарщик заявил:

— Мы возвращаемся в Поселок. Пора кончать с неясностями и неожиданностями.

Когда Леву подцепили на буксир, он не стал ждать, пока лодка подойдет поближе, птицей перелетел с плотика в воду и уцепился за борт лодки. Лязкая зубами и отфыркиваясь, он заявил, что в жизни больше не станет кататься на плотях, а что в лодке ему будет думаться лучше.

Лодку подняли на палубу судна, Амбарщик подошел к стоявшему на мостике Кэпу и принялся что-то рассказывать ему на ухо свистящим шепотом.

— Я как раз возился на ботдеке, помогая закреплять на место большой бот, — сказал Семен, — и видел, как толклись Амбарщик с Кэпом на крыле мостика, и даже кое-что сумел расслышать. Мне бросилось в глаза, что Кэп побагровел.

— Да как ты смеешь, свинячий потрох! Кто тебя уполномочивал отдавать икру? — зарычал он на Амбарщика и осекся.

Но было поздно.

Амбарщик не из тех людей, которые могут простить какое-либо оскорбление от кого-либо. Это понял и сам Кэп.

Вернее, он знал и раньше, что с Амбарщиком нужно держать ухо востро, но сегодня он что-то был в дурном настроении.

— Я подумал только, что вся история с икрой и Инспекторами — это подвох. Накроют они нас!

И Кэп фамильярно хлопнул Амбарщика по плечу, — так, бывало, хлопал Амбарщик по плечу Васю, — и, увидев, как в мелькнувшем лунном луче похолодел Амбарщиков взгляд, растерялся. Кэп, с ужасом чувствуя, что летит в бездну, еще более фамильярно хлопнул Амбарщика по плечу, отчего и без того похолодевший взгляд Амбарщика приобрел льдистый блеск. Амбарщик заморозил Кэпа взглядом и пожал плечами, что означало, что у Кэпа остался еще один шанс и если он сейчас не исправит неблагоприятное впечатление, произведенное им на Амбарщика, то с ним все будет кончено.

Кэп отпрянул. Он почувствовал, как оборвалось у него сердце. Холодный липкий пот пополз у него под рубашкой, отчего рубашка промокла до самых пуговиц. Кэп поник головой, распростился со всеми своими мечтами о хорошей жизни и приготовился к каре.

— Мгм, — решил помочь ему Амбарщик.

Кэп встрепенулся и поднял голову. Он встретил презрительный взор Амбарщика, отсвечивающий полярными льдами и пронизывающий космическим холодом, но в глубине льдов и космоса тлела искорка непонятной теплоты, она как бы говорила Кэпу: ты помнишь наш уговор, ты знаешь, что находишься у меня в руках, поэтому в отношении к тебе допускается некоторое снисхождение, если ты сейчас, сию же минуту сделаешь все так, как нужно.

— Да, да, я все понял, дорогой Амбарщик. Клянусь червонным вальтом, я не знал, что Третий вызвал рыбинспекцию! Безусловно, он еще сумеет нам насолить, если сейчас от него не избавиться. Значит, если я правильно тебя понял, по пути в Поселок мы должны сообразить, как именно от него избавиться? Я униженно благодарю тебя за твой совет, — торопливо бормотал он. — Как ты знаешь, и я и мой теплоход полностью находимся в твоём распоряжении. Будь на то твоя воля, а мы сделаем все, что от нас зависит.

Амбарщик, не удостоив его ответом, холодно отвернулся и удалился с брезгливой миной на лице, величественный, будто оксфордский академик.

— Афанасий, не слишком ли далеко мы отошли от берега, смотри, он едва стал виден? — Он не выдавал своего смещения затерянностью в пространстве, сидел спокойно в утлой

лодчонке, поглядывал на меня, поглядывал вокруг. Мне бы знать, что ему хорошо известен нрав этого моря, он не раз видел, как круто меняется у него настроение, как под спокойной гладью зреет накат, как всплывают на верхушки волн пенные барашки, как оно начинает раскачиваться, а в немногих спокойных местах около берега ворочается, будто сонный неповоротливый зверина. Он реально представлял себе все опасности этого моря, но не препятствовал мне в моем туповатом намерении показать еще один горизонт. Он-то знал кое-что, чего не знал я.

Мы повернули назад. Шли галсами против ветра.

— Делается это так...

— Ты жалеешь о том, старик, что нельзя вернуться галсами в прошлое и кое-что там исправить?

— Оказывается, ничего не нужно исправлять, Коля. Кажется, хорошо бы откорректировать свое прошлое, имея опыт сегодняшний, но все это липа, друг ты мой ситцевый. Жизнь имеет настоящую цену, прожитая однажды. И жизнь твоя и моя, и жизнь Огольцова Игоря Ефимовича, но ее пример достался нам не напрасно. Я к тому, что мы подобны тем птицам, которым для того, чтобы жить, нужно питаться химическими элементами, образующимися при распаде того целого организма, который ранее звался плотью и духом другой жизни. От нас тоже ждут опыта, чтобы иметь возможность в дальнейшем жить правильней, чем мы с тобой, и уйти дальше.

Если бы я имел возможность вернуться галсами в прошлое и откорректировать его так, чтобы мне не было стыдно за, скажем, историю с малышом и «Дедом», то я бы жил до скуки правильно.

...Когда я посмотрел в окно и произнес свою сакраментальную фразу, что все отпуска рано или поздно кончаются, ты не спросил «зачем?». Ты положил тяжелую руку мне на плечо и сказал: «А куда? Куда ты пойдешь, старик?»

Этого я пока не знал.

«Пойду,— сказал я,— ну, просто пойду».

«Не дури, старик. Я хочу кое-что предложить».

И он поведал мне, как ему тут нравится, как тесен стал круг его знакомых: геологи, рыбаки, редкие туристы и так далее.

«Видит аллах, я не ищу того, что называется «ты мне — я тебе», это само меня находит. Со временем выяснилось, что и в нашей конторе есть люди, которые считают себя чем-то обязанными мне. Не думай, что я тебя «устраиваю» или

желаю облегчить твою судьбу на данном отрезке времени, нет. Ты не забыл ли, что называется реверсом и где находится гребной вал? Прими мою услугу».

...Я не отказался. Во-первых, это решало вопрос о безработице на какое-то время, а во-вторых, давало надежду, что в движении я осмотрюсь и передо мной откроются новые горизонты. Да и проблему неопределенности такое решение снимало начисто, а ничего, кроме неопределенности, меня не страшило так сильно. Согласие мое не было ни слабостью, ни уступкой Николаю, потому что, зная его, я знал, что он платит чистой монетой.

— Напоследок, Николай, этот швертбот твой, начинай ходить на нем вдоль берега, выбирая тихую погоду с зарядом солнца на весь день. Не спеши, будь увереннее; там, где есть между двумя точками берега впадина бухты, не иди по ее контуру, старайся спрямлять путь по прямой. Привыкнув к тому, что с одной стороны у тебя будет постоянно видно пространство воды, начинай постепенно забирать в него все больше и больше, а однажды ты войдешь в море на несколько миль в его глубину, не будешь рисковать зря, зная эти воды, но именно такая уверенность и нужна будет поначалу. И однажды ты рискнешь. Ты увидишь вокруг себя только воду и линию горизонта, которая станет делать тебе подарки: то выдвинет из-за себя торопливый корабль, то вынесет стаю уток, плавник касатки, а то издалека покажет краешек суши со спинами сопков.

И вот там ты проверишь свою силу. В бескрайнем одиночестве, в затерянности и тишине.

Ты промолчал тогда. Испытание? Это не детская игра в кораблики? Деревяшка с кусочком ткани над ней не сможет встать против длинных высоких накатов, образованных в сердцевине чужих и далеких морей. Накаты эти идут оттуда несколько суток, расходясь концентрическими кругами, и добираются до нас.

Я подарил ему эту яхту!

В сердце Студента слышалась непрехотливая мелодия флейты, он ждал чего-то необычного от своей новой жизни, когда не нужно будет прятаться ни от Чифа, ни от Поварихи. Он еще не весть о чем бы размышлялся, о всяких необычных вещах, прижимая к себе букетик глупеньких цветочков, которые ему преподнесла на память странная женщина по имени Флора, но вдруг у самого его лица послышалось вроде

бы сильное горячее дыхание: это лилась забортная вода из машинного отделения и слышался гулкий стук работающего в утробе судна малого двигателя.

Студент вздрогнул.

Выплывающая из клочковатого седого тумана призрачная скуластая морда теплохода, с нависшим над бортом рогом-стрелой судового крана вызвала у него полузабытый образ мифического человека-быка.

...Кэп вызвал к себе Семена, дабы выяснить втихаря подробности сделки, состоявшейся между Амбарщиком и Инспекторами. Кэпу хотелось узнать, точно ли Амбарщик пообещал три бочонка икры или же он пообещал Инспекторам меньше, с тем чтобы присвоить себе неучтенную разницу. Конечно, Кэп делал бодрый и глубокомысленный вид, выслушивая бредни Амбарщика, но помнил правило: «Доверяй, но проверяй», поэтому и вызвал Семена, чтобы разузнать об истинной подоплеке дела.

...Вызвав Семена, Кэп принял все меры предосторожности: задраил иллюминаторы «глухарями», запер дверь, выждав момент, когда прогуливающийся по палубе Амбарщик отошел подальше, завел Семена в санузел и посадил его на толчок. Семен заупрямился, поняв, что Кэпу что-то от него нужно, и не разжимал зубов до тех пор, пока Кэп, скрепя сердце, не разжал ему зубы и не влил в Семена полбутылки коньяку, что было Семену как семечки. Так как Кэп не думал вливать в Семена вторую половину бутылки, Семен обиделся на него, разжал зубы и от огорчения рассказал Кэпу все так, как оно и было.

— А переводил Инспекторам речи Амбарщика я, — похвастал Семен. — И довольно точно.

Кэп иронически улыбнулся, выслушав заявление Семена:

— Разве ты знаешь английский?

— Нет, — простодушно ответил Семен. — Я не знаю даже русского. За всю свою сознательную жизнь я не выучил ни единой... как она там называется? Я только и умею, что поставить крестик напротив моей фамилии, когда в ведомость заработной платы ткнет пальцем бухгалтер. Но я уловил сам дух высказываний Амбарщика и по мимике и движениям бровей довольно точно передавал его слова Инспекторам по-русски.

— В самом деле? — Кэп саркастически расхохотался и похлопал Семена по плечу. — Ну, скажи что-нибудь по-английски. Передай, например, дух нашей беседы на русском языке.

Семен наморщил лоб, подумал несколько секунд и выпалил:

— Да вы дикарь, уважаемый! Джентльмен знает цену своему слову!

Кэп замер на одном месте с раскрытым ртом и стал медленно багроветь. Он готов был растерзать Семена на миллион кусочков, если бы только Семен ему поддался, а у Кэпа хватило на это сил, и спустил бы кусочки в унитаз, но благо-разумно вспомнил, что Семен может проболтаться об их беседе Амбарщику, с которым у него в последнее время наметились какие-то странные, таящие в себе угрозу Кэпову существованию отношения. Он вовремя взял себя в руки еще и потому, что вспомнил о своей беседе с Амбарщиком, который предложил Кэпу некий новый подход к проблеме «Семен», и решил пока не сильно злоупотреблять своей властью капитана.

— Я не знаю, где ты столь долго шлялся на Берегу, в то время, как тебе было приказано всего лишь забрать невод и тотчас же вернуться,— отрубил он.— Можешь идти. Я закатаю тебе прогул!

Добравшись до своей койки, разбитый впечатлениями нескольких последних часов, сморенный усталостью и голодом Студент упал в подушку и мгновенно уснул мертвецким сном.

...Следуя указаниям Кэпа, в его каюте начали собираться участники предстоящей операции по отчуждению Третьего от судна. События продолжали развиваться стремительно и неумолимо.

Предварительно осмотревшись по сторонам, члены предстоящего тайного совета рвали дверь на себя и резко впрыгивали вовнутрь, спотыкаясь о тело растянувшегося на ковре Семена. Он лежал, вольготно раскинув руки, и смачно похрапывал. Последним пришел Чиф, осторожно прикрыл за собою дверь и сел на свободное место.

— Назрел момент,— свистящим шепотом сообщил Кэп, осмотрев все углы.— Как я и говорил, Третий дал копоты, он устроил нам Варфоломеевскую ночь.

Повариха, до этого тихонько поскуливающая, решила подать голос:

— Мне кажется, кто-то стоит под дверью. Я слышу его тяжелое дыхание.

Все замерли. В напряженной тишине были слышны толь-

ко мерный Семенов храп да отдаленный гул работающей машины.

— Разбудите Семена,— приказал Кэп.

Чиф наклонился к Семену, потрогал его за плечо, но это не дало ожидаемого результата. Тогда Чиф похлопал Семена по щекам, посадил, поддерживая за спину, и легонько потряс. Это не дало ожидаемого результата. Чиф, напружинившись, приподнял его огромное тело, безвольной глыбой повисшее у него на руках, и прислонил его к переборке. Но это не дало никакого результата — Семен научился спать стоя.

— Он притащился ко мне самым первым, упал мордой в ковер и спит,— сообщил Кэп.— Разбудить его я был не в состоянии. У кого есть какие-нибудь предложения?

— Пусть спит,— предложила Дневальная.

— Ни в коем случае,— отверг это предложение Кэп.— Он предназначен выполнять в нашей операции важную миссию, а как он ее сможет выполнять, если он спит, да еще похрапывает, невзирая на лица?

— Есть резон,— подтвердил Второй.

— Ваше предложение? — спросил Дед.

— Прекратите дышать! — рывкнул Кэп, забыв о конспирации.

— Никто не дышит,— стал оправдываться Дракон.— Это Семен дышит.

Чифу было завидно, что у Семена такой крепкий сон, что Семен может уснуть в любой позе и в любом практически месте, в то время как к Чифу сон не шел ни в какую даже в собственной постели после приема двух таблеток снотворного сразу. Он жалостливо скривился и легонько ткнул Семена ладонью в плечо:

— Семен, прошу тебя по-человечески — не спи...

Семен неохотно пробудился, повел могучими, как у Ильи Муромца, плечами и длинно, с завыванием зевнул.

— Добрый день! — сказала Дневальная и ласково коснулась Семеновой руки.— Как тебе спалось?

— Прекратить нежности! — прекратил нежности Кэп.

И он свистящим шепотом поведал собравшимся о том, о чем день назад свистящим шепотом поведал Лева Семену и Поварихе на Берегу, в скверике. Услышав все, Чиф облился холодным потом, волосы его зашевелились и стали вертикально.

— На вахту на мостик сейчас заступит Семен,— объяснил первый пункт плана Кэп.— Следуя логике Закона курятника, который, как вы все знаете, заключается в том, что

нужно взлететь повыше, клюнуть ближнего и обкакать нижнего, для этой роли больше всего подходит Семен.

— Но он никогда не стоял на вахте за штурмана, — оторопело произнес Чиф. — Семен всего только моторист.

— Не твое дело! — огрызнулся Кэп. — Может быть, ты считаешь, что я или Амбарщик пеньки горелые и ничего не соображаем?! Семен пойдет на вахту за штурмана! Баста!

— Я моторист второго класса, — подтвердил Семен, — если кто этого не знает, тот пенек горелый.

— Как моторист?! — изумился Дед. — Я впервые об этом слышу!

— Мало ли что ты впервые слышишь! — окрысился на него Чиф. — Я, например, слышал, что он всегда стоял вахту в машинном отделении, если его допускали до вахты, и это длится уже года три...

— Боже мой! — испугался Дед. — А я и не знал!

Кэп недовольно покосился на них.

— Не играет роли, кто таков Семен, — заявил он. — Это даже лучше, что он моторист, хотя я ума не приложу, почему именно он является мотористом: нужно будет заглянуть в судовую роль, дабы выяснить, что за личность этот Семен. Было бы совсем идеальным вариантом, если бы Семен оказался каким-нибудь столяром, сантехником, пекарем или шестеркой любой другой масти. Все дело в том, что именно Семен подходит для той роли, которую ему уготовил Амб... то есть я. Никто другой не сможет сделать того, что ему предстоит, лучше.

— Но что из этого выйдет?! — ужаснулся Чиф.

— Я уверен только в одном, — сказал Дед, — что Семен наверняка посадит судно на камни, столкнет его с газовозом, устроит на нем пожар, угодит в моретряс и остановится точно над эпицентром вулканической деятельности...

— Об этом я и мечтаю, — сказал Кэп. — Именно это и нужно. Только это и будет самым интересным. Одно могу вам сказать с полной уверенностью — Третьего не будет на судне уже сегодня.

— А как же я? — запаниковал Дед.

— Что ты? — не понял его Кэп. — Все мы, вон чего.

— Но... ведь, моретряс, ВЕТЕР...

— Какой ВЕТЕР? — обеспокоился Кэп. — Запрещаю говорить о каком-то ВЕТРЕ. Да и вообще — запрещаю. Я специально проинструктирую Семена на тот предмет, чтобы он не шибко старался, — успокоил Деда и остальных Кэп. — Пусть он посадит судно на мель на пару часов, с тем чтобы

можно было стащить самим с помощью плавучего якоря. Тут где-то есть подходящая прелестная мель. Всегда должна найтись подходящая мель, червы на козырь, иначе что это за море? Когда мы сделаем все как надо, остальное не представит трудностей. Маркони уже отослал радиogramму на предмет личного заявления Третьего на отпуск.

— Он что, собирается в отпуск? — спросил Дед.

— Да нет же! — Кэп огорченно махнул рукой. — Это мы с Амбарщиком так придумали. Вывалим Третьего в Поселке, и пусть чешет на все четыре стороны: нам не интересно, отпуск у него или отгул за прогул. Нужно, чтобы он не придрался к ответной радиogramме из Управления, в которой будет дано добро на отпуск.

— Да кто его отпустит в отпуск, если он работает на судне едва ли два месяца? — запротестовал Дракон. — Такого даже я не сумел повернуть в свое время.

— Можете не волноваться! — Кэп поднял руку. — Все в Управлении уже улажено, об этом похлопотал Амбарщик, когда имел беседу с Инженером перед тем, как тот сошел на Точке. Как по-вашему, для чего здесь я и для чего Маркони?

Студент, спящий почти на уровне ватерлинии, внизу, испытал толчок безотчетного чувства, когда наверху Кэпом было произнесено вслух имя Инженера. Он проснулся, и на ум ему стала взбредать всякая чертовщина, мысли снова занял Инженер с его паршивой беспросветной истиной, которую Инженер выложил Студенту со всей свойственной старости бесцеремонностью. Тогда Инженер утер старческие слезы, высморкался в платочек из отбеленной ткани и посмотрел на Студента с глубоким состраданием.

— Все мы командированные в этом мире, — сказал он, — все прохожие, путешественники. То ли мы, то ли наши тени скользят по поверхности дней, суетятся, плачут, переживают и радуются неизвестно чему. Чему радоваться, вот вопрос, — говорил он давно продуманное, прочувствованное, выстраданное. — Рождению ненужных детей, квартире, которую ждешь несколько лет, застолью с неверными друзьями, тоскливой работе, временам года, небу, морю??? Все это ненадежно, все предаст, изменит — небо, земля, женщина, собственный ребенок. А нужно жить так, чтобы изведать в мире все наслаждения, все страсти и прийти к одной страсти, к одному наслаждению — к ВЕЩИ. Но этого хотят почти все, а на почти всех не хватит вещей, следовательно, нужно выкабкаться на первое место.

Инженер вдохновлялся. Лицо его оживлялось, по нему побежали пятна нездорового румянца.

— Поэтому-то мы все и стремимся жить по Закону курятника, существование наше вынуждает к тому. Знаете ли вы, хлопчик, что такое Закон курятника? Не знаете. Я не стану вам растолковывать — вы молоды и вам еще предстоит узнать весь механизм этой подлой штуки, которые все называют жизнью. Не освой я этот закон, не прими близко к сердцу, не вникни я в каждую его букву, я бы не имел и сотой доли шанса на то, чтобы познакомиться с Васей, а через него с его великолепной тетей. Мог ли я мечтать когда-либо познакомиться с этим прекрасным человеком, наполнившим мою жизнь смыслом и содержанием, если бы не принял на вооружение Закон курятника? Нет и еще раз нет! Мог ли я входить каждодневно в собственные дома и ощущать под ногами и под ладонью приятную мягкость коврового ворса? Мог ли я испытать удовольствие от мысли, что у меня в прихожей стоит шестнадцатидорожечный квадрофонический комбайн, на котором изредка имел возможность прокрутить записи? Приятно бы мне было, если бы я не имел возможности взбить пару безалкогольных и пять алкогольных коктейлей в японском миксере с программным управлением? Разве меня не загрызла бы тоска при мысли, что у меня нет в гараже кремowego автомобиля редкой марки, который я мог бы изредка выгонять на улицу, дабы проветрить внутренность салона? Нет, нет, нет, нет, нет и нет!!! Знаю, что есть некоторые особи из людей, которым начхать на золото и хрусталь, которых не привлекают ореховое дерево и редкая ткань. Я над ними не смеюсь — нет так нет. Я читаю книги, в которых воспевается наслаждение трудом и искусством, читаю и ставлю на полки, под стекло, чтобы пыль не садилась, вон чего. Я ставлю их по ранжиру. Чего они все раздраются? Хотят, чтобы я бросил все свое великолепие, которое приносит мне наслаждение и от которого я испытываю всю полноту жизни и радость? Я же не призываю их бросить театры и скульптуры, искусство и культуру. Смешные люди, я научился быть к ним снисходительным! Зачем суетиться и кричать? Разве не все люди хотят быть счастливыми?

Затуманенный взор Инженера остановился на Студенте. Блики света от хрустального ночника играли на его лице, окрашивая голову с лысым черепом какими-то причудливыми пятнами зеленоватого, синеватого и желтоватого цвета.

— Но ведь нет человека счастливее меня! Из-за того,

что я поклоняюсь вещи, меня готовы предать анафеме и записать в реестр пережитков! Ведь неизвестно, кто живет более наполненной и богатой жизнью! Я смеюсь над ними и ставлю их книги по ранжиру — привет!

В тусклых слезливых глазах его блеснули сатанинские огоньки.

— Вот эту книгу я всегда вожу с собой, — сказал он. — Смотри, какие картинки! Цвет! Глубина! А какие шрифты!

Инженер достал какую-то книгу с полки и начал показывать Студенту картинки и шрифт. Полюбовавшись некоторое время, он прикрыл одну из страниц ладонью и наклонился к Студенту.

— Знаете, что я вам скажу, хлопчик! Человек себя возвысил над остальными живыми существами, но я открыл тайну, что в этом возвышении сыграло роль тщеславие. Чем, скажи на милость, мы отличаемся вот от этого четвероногого создания? У него есть те же глаза, половые органы, уши, рефлексy и манера поведения в той или иной ситуации. Вы только посмотрите, этот орган называется вестибулярный аппарат, он предназначен для того, чтобы и двуногое и четвероногое существо не валилось с ног и держалось, по возможности, вертикально. Принцип одинаков что для двуногoго, что для четвероногого существа. А возьмите остальные предметы? Может быть, вы скажете, что четвероногое, например, собака, не умеет есть ложкой с тарелки, но ведь и двуногое, скажем, человек, не умеет сидеть на цепи, хотя, если его выдрессировать, он сумеет сидеть на цепи, а под забором его спать можно и не учить. Человеку же не понравилось сидеть на цепи, вместо этого он посадил на цепь собаку и привязал корову веревкой к столбику, а сам придумал себе страсти, искусство и литературу, чтобы оправдаться перед самим собой и думать, будто не имеет ничего общего с четвероногим. Но — ведь внутри он остался тем же существом, что и четвероногое, имея внутри себя те же органы, что и у четвероногого, и пользуясь тем же вестибулярным аппаратом, что и четвероногое. Нас спрячут для того, чтобы другим не было больно оттого, что и им немного осталось коптить белый свет. Когда я узнал о той истине, которая должна была быть освоена мною раньше, еще в то время, когда я только научился пускать пузыри и говорить «агу», я начал торопиться. Мне пришлось похоронить жену, детей, потом я научился долго жить в то время, когда мне уже никто практически не мог помешать из близких. Мне удалось протянуть больше своих детей — немногим достается такое счастье. И вот, когда моя

командировка подходит к концу и мой взгляд все чаще опускается вниз, в ту тишину и тьму, откуда нет возврата, с вопросом: все ли я успел вкусить из самого приятного на свете, все ли прелести вобрал в себя, не забыто ли чего-нибудь, — то я вспоминаю, что мне-то огорчаться нечего — я жил, поклоняясь одному идолу, который мне не изменил и который никогда не перестанет влечь к себе и притягивать взоры всех других людей. То-то будет смешно, если выяснится, что я провел э т и х как щенков! Они все думают: я уйду, меня спрячут, зато другим будет потом легче жить, не имея перед собою такого, как они выражаются, пагубного примера. Они забывают, что мы все — животные!

Он улыбнулся, озаряя тесную каюту блеском золотых зубов.

— Будет ли на моем блестящем черепе немой вопрос? Мои пустые глазницы будут посмеиваться — вот вам! Но я еще многого не успел. Поживу. Мне еще нужно застрелить штук пятнадцать медведей и на их шкуры выменять у Васи много золота и других прекрасных вещей.

Инженер потер руки, улыбнулся, но в его мокрых глазах не было ни оптимизма, ни веселья. Он пристально посмотрел на Студента и вздохнул.

— Я сообщу вам Истину. А вы не должны терять ни минуты, а сразу бежать и начинать новую жизнь, не тратя ни секунды на колебания. Что эти старания писак, суета, женщины, живопись и опьянение жизнью, когда никто не знает одной кристальной в своей завершенности Истины?! Не знают, что командировка — коротка, быстротечна! Я скажу вам, хлопчик, слушайте: ты живешь на белом свете только о д и н р а з ! Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да! Начхать на всех и на все — Т Ы ! Ж И В Е Ш Ь ! О Д И Н ! Р А З !!!

Студент был потрясен. Слышать ему об этом еще не приходилось. До этого он был уверен, что он, Студент, вечен, бессмертен, что он проживет прорву лет и на его долю хватит всего и всякого. Все перевернулось в его голове, а сама голова пошла кругом.

— После нас ничего не будет! — продолжал добивать его Инженер. — После того, как нас спрячут, уже ничего не исправишь! О нас никто и не вспомнит! Мы рождаемся неизвестно зачем, проносимся бесплотной тенью и бесследно канем во тьме столетий, в которых Н А М места нет! Вы соображаете, хлопчик, — все покатится дальше своим чередом после нашей смерти, наш уход изменить ничего не

сможет. Поэтому нужно жить так, чтобы было приятно
ТЕБЕ.

Инженер от души рассмеялся. Своим старческим хохотом он хохотал так заразительно, что даже расплакался по ходу дела. Затем смех его уж очень стал походить на истерическое клокотание-рыдание. Обессилов, Инженер только всхлипывал, не в состоянии передохнуть. Блики света отражались в его золотозубом оскале, играли на стенках, мерцали отраженными блестками в его тусклых зрачках.

Поворочавшись, Студент опять заснул.

В каюту вошел Маркони. Он пробрался между присутствующими прямо к уху и что-то прошептал свистящим шепотом в барабанную перепонку Кэпа. Лицо Кэпа медленно посветлело.

— Этого не может быть, — заявил он, — зная его, трудно поверить во что-либо подобное. Да и за таким цветущим видом трудно подозревать близкое несчастье. Но, нужно отдать ему должное, он выкидывал штуки и поостроумнее.

Кэп удалился вместе с Маркони в радиорубку и через некоторое время вернулся, потирая руки, на его лице сияла широкая довольная улыбка.

— Имею сообщить присутствующим неприятную новость, — сообщил он присутствующим неприятную новость. — Маркони только что получил известие с Точки, на которую недавно высадился Инженер. Там случилось ужасное несчастье, — золотые зубы Кэпа торжествующе блеснули в ослепительной улыбке, — умер Инженер.

Повисла ошеломляющая тишина. Словно не доверяя собственным ушам, все стали переглядываться. Никто не мог и подозревать, что дни Инженера когда-либо, по крайней мере на памяти собравшихся, подойдут к концу: Инженер казался воплощением Вечности. Мысль, что не где-нибудь, а в их собственном Управлении живет маленький сморщенный старичок, загадочный, точно сфинкс, и бодрый, как шалящий первоклассник, которому поклонялись, точно он был таинственным идиолом, и мысль, что теперь его не будет, невольно посетила всех, кто сидел в каюте Кэпа, но к этой мысли при- мешалось ощущение некоей ее запоздалости.

— Я перетолковал с Точкой, и мне сообщили подробности, — сказал Кэп. — Впрочем — тс-с-с-с-с-с-с-с! — они не для длинных ушей: я говорю это вам со знанием дела. Так вот, случилась невероятная вещь: такие невероятные вещи случаются раз в столетие. На Точку забрался медведь. Само по се-

бе это еще не новость. Но медведь этот был какой-то дикий, может, его мама неправильно родила, иначе как можно объяснить тот факт, что он забрался в аппаратную, поломал там все приборы, выпил из аккумуляторов кислоту, а на прощание по克罗шил в капусту выхлопную трубу. — Кэп восхищенно покачал головой. — Наш доблестный Инженер был, конечно, тут как тут: недаром же он вез с собой карабин с оптическим прицелом! Один меткий выстрел из него лишил подвижности заднюю правую лапу медведя, но неугомонный Инженер бросился в погоню за вредителем народного добра, и с этой минуты его уже никто не видел живым. Спустя некоторое время были найдены карабин, Инженер и следы крови, но медведь, а также голова Инженера исчезли.

Кэп ослепительно блеснул своими золотыми зубами и потер руки.

Далекое дуновение ВЕТРА шевельнуло волосы на головах сидящих в каюте. Повариха вскрикнула и свалилась в обморок. Насладившись впечатлением, которое произвело на присутствующих его сообщение, Кэп продолжал:

— Да, светлая голова нашего товарища пропала без вести. Можно ли представить себе что-либо более ужасное? Я, например, не могу. Где она сейчас, что с нею? Увы, увы, на этот предмет можно лишь строить догадки. Вполне вероятно, что голову уволок разъяренный мишка и сейчас играет ею в лапту в каком-нибудь из отдаленных глухих распадков.

Лева зябко вздрогнул и поежился, но быстро взял себя в руки, когда вспомнил, что его собственной голове пока не угрожает ничего более-менее существенного, не считая, конечно, ВЕТРА. Перед его мысленным взором предстала живописная картина осенней тундры, поросшей разноцветным кедром, желтеющей травой и краснеющей брусничными полянками. Местами тундра пересекалась глубокими распадками, на дне которых журчали ручейки и таилась сырость. Дно одного из таких распадков было исхожено медведем, а в тени обрыва, там, где росла куща кедрача, на краешке берега ручья, который испокон веков бормотал себе под нос неутомимую песенку, лежал отполированный человеческий череп. Оба ряда сияющих золотых коронок имели кое-где сияющие прорехи. Впрочем, сиянием золота просто некому было прельститься в таком глухом и далеком распадке, как этот, а пробегающий, прихрамывая, мишка затаил обиду вовсе не на зубы. Когда он находился в скверном расположении духа, то всегда останавливался перед черепом и садился на задние лапы. Вбуравившись маленькими злобными глаз-

ками в пустые глазницы черепа, в которых застыл немой мучительный вопрос, мишка долго сидел, тяжело дыша, и изучал особенности строения этой черепной коробки. Показав череп лапой и не найдя в нем ни малейшего изъяна с точки зрения анатомической, если таковое соображение могло мишке взбрести в голову (но допустим, что могло), мишка надавал его ударом лапы и забрасывал череп метров за двадцать от того места, где он лежал. Череп перелетал под корневища ольхи и там успокаивался до следующего раза, когда мишка был не в настроении. Лева усмехнулся и окончательно почувствовал себя в норме, вспомнив, что он сам едва ли когда попадет в подобную ситуацию.

— Таким образом, благодаря этой смерти, у Амбарщика стало недоброжелателей и тайных завистников меньше ровно на одного человека, — удовлетворенно заключил Кэп. — Был Инженер, как вы знаете, совершенно несносный человек, и никто на судне не видел от него ничего хорошего. Он только и способен был, что точить крокодиловы слезы, клацать затвором карабина да целиться из него в иллюминатор, я не имею в виду стрельбу по морскому зверю, в чем он, благодаря своей никчемности, не достиг успехов. Следуя завету древних «О мертвых либо ничего, либо все плохое», я могу вас заверить, что он был большим паршивцем, этот ваш Инженер, был он пеньком горелым, свинячьим потрохом и псюганом. Это я могу выпалить вам прямо в лицо — жалеть о том, что Инженер ушел, излишне. Он давно уже должен был влипнуть в какую-нибудь историю, вроде карабина и медведя. Толку от него ни мне, ни Амбарщику не было никакого. Хорошо, что он скинулся с копыт — самое время! Уж на что лучше его Амбарщик: он не приемлет равнодушия в наших делах, он кровно заинтересован в том, чтобы сжить Третьего. И мы его сживем, ждать осталось недолго! Но я имею сообщить вам и новость немного получше этой. Перед тем как сойти на Берег, Инженер имел с Амбарщиком беседу, в которой пошел на некоторые уступки общим пожеланиям. Отчуждение Третьего, по его словам, не представляет ничего сложного — мы пока еще живем в цивилизованном мире, — важнее найти повод для того, чтобы вынудить Третьего покинуть судно.

— Он вернется! — вдруг вскрикнул Лева.

— Кто? — вскрикнул Кэп.

— Третий! — вскрикнул Лева.

Присутствующие замерли. Кэп, словно из-под него выбили опору, зашатался.

— Не может быть,— прошептал он,— у нас все рассчитано.

— Он вернется! — настаивал Лева. — Вот посмóтрите, он вернется! Я не знаю, когда и при каких обстоятельствах, но мне моя интуиция подсказывает, что он вернется.

— А... а-а-а-а что нужно сделать для того, чтобы он не смог вернуться? — заикаясь, спросил Кэп.

— О! Сделать ничего нельзя,— покачал головой Лева... — Для того, чтобы воспрепятствовать возвращению Третьего, нужно, как минимум, чтобы не существовало ни нашего судна, ни нас самих, а это, как вы все подозреваете, несбыточная мечта.

Еще Лева представил себе, как действовал Командир в условиях адмиралтейской волокиты и интендантских интриг. Пинком в зад Командира не угостишь — он уже был человеком в фаворе. Палки в колеса ставить все умеют, но это так скучно! Уколов и сплетен он не замечал. Гнилую муку или хилое сукно для его экспедиции не подсунешь — он сам все проверял. Значит, тянули по мере сил с отправлением экспедиций, подмачивали репутацию. Неплохо. А Командир бы все продолжал ходить с выражением невыразимого спокойствия и достоинства на роже и в такой аскетической сосредоточенности. Но ничего. Будь я в то время в надлежащем месте и при соответствующих моему положению полномочиях — я бы его свалил безошибочно. Такие люди вследствие своего фанатизма в известной степени ограничены и не боятся ничего. Кроме одного-единственного. Они страшатся сомнений в целесообразности своего дела. Именно сомнение и робость по отношению к их инициативе, вон чего! Н-нда, а я поумнею к концу рейса еще больше. Но пусть пока плывет, черт с ним!

Кэп погрузился в мучительную задумчивость. У него никак не укладывалось в голове, что вся их деятельность по отчуждению Третьего не может не иметь результата, по крайней мере на протяжении хотя бы некоторого времени. Но останавливаться уже было нельзя, машина набрала инерцию хода, остановить ее значило бы остановить мчащийся по рельсам экспресс. Возможно, шум ангельских крылышек, уносящих душу Инженера, достиг и ушей Кэпа, и он внутренне вздрогнул и поежился.

— Все мы командированные,— признался он.— Все мы командированы кто за славой, кто за плотскими радостями, кто за барахлом лично для себя, а кто и за куском пожирнее. Но не успели мы и глазом моргнуть, не успели отхватить ку-

сок пожирнее, как нас уже зовут назад и вручают последнюю командировку: вот вам, мол, обратно можете не возвращаться.— Кэп высморкался и приуныл.— И чаще всего это случается, когда человек на самом, так сказать, взлете, в пении, в эфире. На тебе — бац! — и нету! Разве это справедливо, разве это честная игра? Это похоже на то, что нас силой заставляют играть после рождения мизер без трех-четырёх-пяти верных взяток. Есть ли смысл в этой игре? — Кэп помолчал, скорбно понутившись, похожий на неведомую птицу, раненную в крыло. Он словно приоткрывался присутствующим с новой стороны, человеческий, мятушийся.— А ведь из игры не выйдешь с самого начала, нужно играть в нее до конца, заведомо зная, что проиграешь. Мы какие-то фигуры в чьей-то игре, неведомо зачем затеянной. Знать бы, что нас ожидает, лучше бы не родиться на белый свет. Что ли, лучше быть тенью, прохожим, командированным и никогда не воплотиться в настоящее тело, никуда не дойти и не закончить командировку так, как тебе хочется? А во всем виноваты такие вот проходимцы, как Семен или Третий. Да пропади они пропадом, гори они гаром!

Семен воззрился на Кэпа. Чиф покачал головой и отвернулся. Лева задумчиво поскреб голову и тяжело вздохнул.

— Он вернется,— прошептал он чуть слышно, но Кэп его услышал.

— Отставить! — заявил он.— Операция начинается, все по местам!

Студент очнулся перед самым обедом. Он немного полежал, чувствуя, как налились силой мышцы и как посвежела голова. Он готов был вскочить и побежать неведомо куда, чтобы сделать массу дел и не потребовать за это ничего в благодарность. Такие грязные мысли, будь они обнародованы, не принесли бы ему ничего хорошего, но Студенту было уже все равно, что скажет Лева, или Семен, или Кэп, или тот же Чиф.

Дверь каюты была не заперта: Студент забыл о ней, когда убегал от Чифа, но это обстоятельство его тоже не смущало, ибо он начисто забыл о Поварихе. Судно стояло на месте, слегка покачиваясь, в открытый иллюминатор залетал легкий свежий ветерок и било полуденное солнце. Студент причесался и убрал постель. Ему хотелось рывком распахнуть дверь и пулей вылететь наружу.

Дверь рывком распахнулась, и в каюту пулей влетел Чиф.

Студент попятился и сел на койку. Чиф подбежал к иллюминатору и высунулся в него по пояс. Не заметив ничего подозрительного, Чиф всунулся обратно, подбежал к двери и закрыл замок на защелку. В руках у него Студент увидел компас. Лицо Чифа было бледным, с синими кругами под глазами.

— Ты спал, Студент?

Студент кивнул.

— Было столько интересного, а ты спал?! Самое интересное произойдет сейчас: за Третьим должен прийти катер и он сойдет на Берег. Ты можешь прозевать самое интересное. Да-да, самое интересное произойдет сейчас.

Студент растерялся:

— Э-э... Спасибо, я обязательно приду.

Чиф близорукими от бессонницы глазами посмотрел на Студента. Его лицо исказила болезненная гримаса.

— «Спасибо»? За что «спасибо»? За то, что Третьего выперли с судна?

— Нет-нет,— испугался Студент.

— Эх, дети, дети, куда бы вас дети?..— произнес Чиф печально. Он повертел в руках компас и поковырял стекло.— Компас стал врать: кто-то его испортил, или из хулиганских побуждений подложил под него кусок магнита. Совесть у него есть? — плачущим голосом вопрошал Чиф у неведомого вредителя.— Он подбежал к иллюминатору, высунул руку с компасом наружу и с бульканьем утопил его в морской пучине.

Студент переводил взгляд то на Чифа, то на иллюминатор. Когда Чиф отпер дверь и убежал, рассекая воздух, Студент перевел дух, но Чиф в эту секунду вернулся.

— Умер Инженер,— сообщил он.— Ты знаешь, что умер Инженер?

— Н-н-н-нет...

— Умер Инженер. Медведь оторвал ему голову после того, как Инженер стрелял в него и попал в заднюю правую лапу. Голова исчезла.

— Какой ужас! — прошептал потрясенный Студент.

— Да-да,— сказал Чиф и многозначительно добавил: — Акты мести, факты лести.

Студент смотрел остановившимся взглядом в иллюминатор. Это нелепое происшествие, нелепое и страшное в своей простоте и неизбежности поразило его. Выходит, слова Инженера были правдой, свою паршивую истину он подтвердил собственным примером, хотя и собирался жить еще долго.

Значит, не от него и ни от кого другого зависела его жизнь: ею распорядился дикий раненный медведь.

— Большой был дурак, прости господи,— сказал Чиф.— Зачем ему эти медведи? Сидел бы у себя в Управлении в теплом кресле да потягивал бы коньячок: у него в столе всегда стояла пара пузырей, я знаю. Смотришь, еще бы пожил, порадовался, на пенсию вышел бы. Так нет, побежал, выпучив глаза, будто бешеный таракан. Жалко мне его, словно мне самому голову оторвали,— признался Чиф.

Студент медленно приходил в себя. Чем скорее я пойму, что и мне когда-нибудь предстоит покинуть этот мир, тем лучше для меня, думал он. Воображать, будто Инженер может воскреснуть для того, чтобы вернуть свой последний ошибочный выстрел, будет большой наивностью. Есть роковая необратимость в человеческих действиях, в том, что каждое движение и каждая ошибка исправлению не подлежит. Не было ли ошибкой и его собственное легкое времяпрепровождение? Кто-то ждет от него действий напрямую, сейчас, сию секунду, а характер действий зависит уже от выбора, который произведет сам Студент. Но ничего подходящего он до сих пор не придумал. На него свалилось столько новостей, что голова пошла кругом.

Студент сжал голову руками и собрал тощую волю в кулачок. Он чувствовал, что его начинает нести неведомый поток, он нес его куда-то вверх, в сторону, в бесконечность, где его ждет глухое темное забвение и откуда нет возврата. Студент понимал, что ему нужно за что-то уцепиться, к чему-то прикипеть настолько крепко, чтобы поток не смог его оторвать и унести туда, куда ему заблагорассудится, в пучину бездонную, в глухое, темное, паршивое, мерзкое небытие. Испытав страшный удар при известии о смерти Инженера, Студент понял его истину, но инстинктивно от нее отшатнулся. Ему взбрело на ум, что Флора может пострадать, если он, Студент, сейчас ничего не придумает. Плакали тогда все ее мечты о тех временах, когда людям нужны окажутся ее изумительные цветочки.

Студент судорожно вздохнул, вспомнив, что, согласно истине Инженера, у него осталась в запасе вся его оставшаяся жизнь, а это может оказаться и много и мало, в зависимости от того, как этим остатком распорядиться. Можно этот остаток, который, если подумать, должен с этого мгновения приобрести значение осмысленной — цельной — жизни, избыть в том же темпе и с тем же пустым воодушевлением, что и прежде. Но как быть с шорохом светил, скользящих по

небосводу там, за дневной голубизной? Созвездие, скажем, Водолея появляется и исчезает в пропасти времен регулярно из года в год, и оно отдает толику своего света на Землю. А светит ли Студент? О, длинный непомерно рейс!

— Знаешь, Студент, — вдруг сказал Чиф. — Я тоже долго думал насчет всего этого, и вот что я придумал: лучше быть мотом, чем жмотом. Человек может ошибаться, если он чем-нибудь занимается, а может вообще ничем не заниматься, ничего не делать и тогда ни в чем не ошибется.

Он посмотрел внимательно в лицо Студенту. Потом нерешительно добавил:

— Но ошибаться может человек тот, кто не только что-то делает, но и чего-то ищет. Ты вот сам считаешь, брат, ищет ли что-нибудь Третий? Или он просто тупо упрям и лезет на рожон, чтобы всех позлить. Кэп его считает вреднее малярийного комара, а все остальные — аспидом. Ты, например, считаешь, что он ни в чем не виноват. Я его считал пеньком горелым и думал вот о чем: почему он мешает всем жить так, а не этак, почему ему не нравится наша жизнь? Разве может он один мешать всем остальным? С этим, как ты знаешь, не согласились. Я ведь ходил к нему. Зашел на мостик, отпустил зачем-то вахтенного штурмана, а рулевого послал на корму проверить рулевую машинку. Потом спустился к Третьему и сказал: «Послушай, освободи душу, ответь на главный вопрос: зачем такие люди существуют и почему ты очутился на нашем судне, а не на каком-нибудь другом?» Третий перед этим читал. Отложил книжку и прислушался: «Ведь мы движемся, если не ошибаюсь?» Я подтвердил, но не сказал ему, что судно именно сейчас неуправляемо и движется в темноте к Поселку, где мы намерены избавиться от Третьего. Я повторил свой вопрос. «Эй, Чиф, — сказал он, — не знаю. Главное то, что судно движется. Другое дело — куда. Но плавание всегда было необходимым и полезным действием. Древние считали даже, что жизнь не так необходима, как плавание, — он пожал плечами. — Парадокс, но — а что не парадокс? Почему я сам существую? Этого я ни у мамы, ни у папы не спрашивал: существую, да и все. Почему я на вашем судне? Если такой вопрос не шутка, то отвечу серьезно: по судовой роли на судне такого типа и такого водоизмещения кроме капитана, вас, старшего механика, боцмана, матросов и всех остальных положен еще и третий механик. А как же?» — «Это не ответ». — «А другого я не знаю».

Студенту вдруг стали понятнее и Чиф и его непонятные метания, до которых, как всегда, никому дела не было. В его

душе шевельнулось даже что-то вроде жалости к Чифу: он угадал, как Чиф неприкаян и бесприютен, что это его мучит, и что он слишком долго выбирает свой берег.

С минуту оба молчали. Студент сидел, сжав руками голову, а Чиф бегал по каюте два шага туда, два шага сюда.

— А компас я выбросил, — вспомнил он. — Ни к черту не годится. Остался еще один, на мостике у вахтенного рулевого. Семен выпил из него спирт, а картушке сейчас тяжельно приходится — смазка не та. Ну, я побегу.

Он открыл дверь и сгинул.

Студент взял себя в руки. Придумать он пока ничего не придумал, да и сразу ничего дельного не придумаешь, нужно, разумеется, время. Он вспомнил робкую улыбку Флоры, ее затаенное ожидание, линии скользкого неуловимого тела, ее бесплотность и теплоту груди. Она, как стал сейчас догадываться Студент, ждала от него каких-то слов, признания, обещаний, словом, того, чего ждут все женщины, когда хотят быть нужными. А я, баран, пенек горелый, признался Студент, надо же мне было так молчать?!

Он открыл дверь. Теперь слышнее стали звуки музыки, которые доносились из каюты Третьего. Студент вспомнил свою флейту и занятия в музыкальной школе, от которых осталось в памяти несколько названий, терминов и характеристик. Поворошив их в голове, он вспомнил, что вещь, которая звучала в каюте Третьего, называется Четвертой симфонией Бетховена.

Студент постоял под дверью каюты, внимательно прислушиваясь к звукам музыки, но ничего постороннего не услышал, ни суетливого покашливания изнервничавшегося человека, ни глухих рыданий, ни торопливого движения чемоданов, — словом, ничего, что выдавало бы драму, постигшую этого человека.

Ночь, — вернее, то, что могло называться ночью, а было серой, подсвечиваемой из-за гор солнцем туманной сыростью, — была уже на исходе, что я мог определить и не глядя на часы. Зарозовел туман, лежащий над морем, в долине речки; длинное его одеяло, сползающее с гор, местами разрывалось. Было похоже на то, что погода налаживается. Комары столбиками стояли надо мной, над потухшим костром, над сырой травой. Дикие эти комары торопились летать и в туман и в дождь — не было им помехи. Они терзали меня во сне, приснилось даже, что их собралось так много, что звон их напоминал шум лодочного мотора. Во сне я отмахивался.

вался от них, но их все прибывало, шум превратился в вой, я вышел из себя, схватил лежащее рядом ружье и выпалил по ним три раза. Ружье тотчас после стрельбы вывалилось у меня из рук и пропало в траве. А от комарья не избавился.

Намазался препаратом, и они отстали. В консервной банке вскипела вода и, пока я хлебал холодную уху, в ней заварился чай.

...Потушил костер, отошел на несколько десятков метров, вспоминая, не забыл ли чего.

За несколько часов, то есть не слишком торопясь, я должен буду пройти вон до того мыска, за которым, как мне объяснил Николай, ставят свои неводы рыбаки.

Они-то тебе и помогут, старина, к ним часто ходят катера. Да и вообще: берег становится оживленным, мало ли кто подвернется...

Со стороны моря слышался звук судового двигателя — продували цилиндры. Слух на эту технику у меня хороший, судя по всему, судно было тысячи на три водоизмещением: именно на таких устанавливаются двигатели немецкой постройки. Сквозь туман донесся скрежет выбираемой якорь-цепи — судно стало уходить в сторону моря, и скоро я перестал его слышать.

Я полюбил это хождение поутру, когда над почвой стоит влажный туман, от которого кружится голова, а солнце начинает раскручивать по небосклону свою бесконечную ленту. У моря дышится легко, йодистой свежестью. Ноги сами бегут, утверждал Николай.

С этого выступа мне стала видна в разрывах тумана та речка, которую я перешел несколько выше по течению ночью. Там была еще долина, уходящая вверх, в туман, на невысокой сопке стояло несколько одиноких высоких деревьев, а выше еще рос кустарник. Я перешел речку чуть ниже переката, где посреди течения стоял большой валун, углубился немного в лес, и скоро вышел к этому ручью, где и заночевал.

Теперь стало видно, что через два-три километра я смогу выбраться наверх, на кромку берегового вала, к которому примыкало широкое плато, клином уходящее в сторону гор. Там идет наезженная дорога, пересекающая самую широкую речку на моем пути. Место брода Николай показал мне на схемке: там нужно быть осторожным, снега с гор еще не сошли.

После длительной ходьбы побаливали ноги в паховом сгибе и в икрах, но я знал, что это должно пройти, если продолжать ходьбу.

...Студент прошел коридор и собирался уже повернуть направо, к трапу, как вдруг скрип открывающейся двери заставил его обернуться, и уже за поворотом он понял, что открыл дверь не кто иной, как Чиф. Расположение дверей в коридоре не позволяло сразу определить, из какой именно каюты вышел Чиф, но Студенту показалось, что он вышел из дверей каюты, под которой только что стоял он сам.

Чиф выбрался на верхний мостик и с ненавистью уставился на тумбу компаса: давным-давно Семен добрался и до него, выжрал из котелка один весь спирт и хоть бы залил вместо спирта воду, так и этого не сделал. Чиф потрогал ладонью стекло, за которым зияла пустота, и тяжело вздохнул. Взгляд его остановился на флюгере, который едва заметно вращался на стойке.

На палубе уже собрались все, кто только был свободен от вахты или от других забот. Ждали катера, на котором должен был убраться Третий. Восвояси.

Стоящий на верхнем мостике Чиф видел всех, но его самого не видел никто, ибо никому не могло взбрести в голову смотреть наверх, разве что кто-нибудь мельком взглядывал в небо: не надвигается ли ВЕТЕР? Чиф курил. Ему было одиноко, одиноко до колотья в боку, Чиф понимал, что это было одиночество бьющегося на ветру флюгера. Хорошо, что хоть петли у него не заржавели, думал Чиф, можно будет определить, откуда, в конце концов, дует настоящий ветер, тогда не будет так тоскливо.

Чайки галдели, бросались к воде и склевывали всякую плавающую на поверхности нечисть. Поселок был затянут плотной пеленой пыли: казалось, он закрылся дымовой завесой, чтобы отгородиться от остального мира. Солнце блестело в узорах лагуны, бросало резкие тени на склоны сопки, свет его распылялся ореолом над облаком пыли, неведомо почему поднявшимся над Поселком.

Дело сделано, подумал Чиф, дело сделано. Он представил обложку своей клеенчатой тетради, последнюю запяту и последнюю точку в последней записи.

— Я слышал шум,— сказал Лева Деду.

— Третьему кранты! — заверил его Дед. — Никакой шум ему не поможет! После того, что случилось утром, Кэп не мог простить Третьего.

— Что-то все-таки случилось? — любопытствовал Лева.

— А разве ты не участвовал в операции?

— Э! Нет! — Лева предостерегающе поднял ладонь. — Я умоляю! Вы меня в свои дела не путайте. Я сидел у себя в каюте и знать не знаю и ведать не ведаю, какими темными делами вы там занимались.

— Э-э-э... — нерешительно протянул Дед. — Но ведь тебе известно, что на вахте на мостике стоял вместо штурмана Семен?

— Откуда? — вежливо улыбнулся Лева. — Я умоляю!

— Он выбрал подходящую мель и выперся килем прямо на нее. А машина в это время зачала.

— В машине в это время стоял на вахте, конечно, Третий?

— Да. То есть нет. Он убежал в это время в подшкиперскую за топливными фильтрами и почему-то заперся там на висячий замок. До сих пор не могу смерекать, как это он ухитрился, сидя внутри, накинуть снаружи висячий замок.

— Скажи спасибо, что он еще не закрыл его на ключ! — отрубил Лева. — С него станется!

— А фильтры пришлось менять из-за того, что кто-то насыпал в топливную расходную емкость сахарного песка. Как раз в ту секунду, когда Семену нужно было сдать назад, чтобы не напороться на мель, отказала машина: пришлось врубать аварийный «стоп». Заменить фильтры и промыть топливные магистрали было делом нехитрым, что и спроворили быстро, без Третьего.

— Скажите пожалуйста, — удивился Лева. — А где же это он был?

— В подшкиперской, — напомнил Дед. — А побежал он в подшкиперскую за фильтрами, которые незадолго до этого перенес туда Семен по моему приказанию.

— От Третьего всего можно ожидать, — глубокомысленно заметил Лева. — Разве не является доказательством его отчужденности факт, что он бросил вахту в момент, когда его присутствие на вахте стало большей, чем в любое другое время, необходимостью. Мы-то знаем, что за птаха этот Третий. Небось он стал говорить, что побежал ввиду неотложной необходимости срочно заменить фильтры?

— Эти фильтры в подшкиперской сохнут, надо признать, — хихикнул Дед.

— Фильтрам в подшкиперской не место, — согласился Лева.

— Кэп двинулся искать Третьего. Он включил судовую трансляцию и заорал: «Третий!»

— Судно в это время продолжало наваливать на песчаную банку, а палубная команда пыталась завести плавучий якорь?

— В машинной команде тоже не спали: я выдал им собственноручно припрятанные мной фильтры, и вскоре машина опять заработала. Третий в это время пытался взломать стальную дверь, но Кэп пресек это самовольство в самом начале и сказал, что кто бы там не сидел, он ответит за порчу судового имущества. «Ах, это ты, Третий? А почему вы не на месте? Разве вы не знаете, что машина встала и судно торчит на банке? Ведь это вы вахтенный механик, если не ошибаюсь? Закапайте тогда себе в нос веретенного масла, Дракон вам расскажет, где стоит банка с веретенным маслом. А рапорт о ваших нелицеприятных для меня действиях я тотчас же отправлю. Пока могу вас обрадовать только известием о том, что ваша просьба об отгулах удовлетворена. Вы можете покинуть судно тотчас же, как мы снимемся с банки и прибудем в Поселок. Вылезайте!»

— А он чего?

— «Знаете что,— заявил он Кэпу.— Мне ведомы тайные пружины. Ваша взяла. Но это не надолго».— Лева вздрогнул.— «Дело сделано. Но вы не понимаете одной вещи — борьба с целостностью, к которой стремятся все предметы, не имеет смысла».

Лева вздрогнул.

— Кэп вздрогнул от такой наглости, но сдержался. Да и что теперь? С Третьим все кончено, он сейчас собирает чемодан и крутит у себя в каюте пластинки, ты, наверное, слышал.

— Поразительное самообладание,— пробормотал Лева.— Разве он спокоен не оттого, что знает, где собака зарыта?

Лева почувствовал, как сжалось у него сердце. Откуда-то шли флюиды опасности. Опасность эта исходила из каюты Третьего, и со стороны Берега, где стояло плотное грозное облако пыли, и сзади, и с боков. Лева затравленно оглянулся.

Из надстройки вышел Студент и в нерешительности остановился у фальшборта, где столпились моряки. Лева вытер вспотевшую лысину и криво усмехнулся:

— Камо грядеши, Студент?

Студент отвернулся. Взгляд его остановился на пыльном облаке, нависшем над Поселком. Он совершенно забыл о том, что присутствующим непонятно его появление на палу-

бе, в то время, как он считался пропавшим в ВЕТРЕ. Его недоумение вызывали совершенно ошеломленные лица, вытаращенные глаза и вставшие дыбом волосы. Среди этих лиц не было Поварихина, но и это обстоятельство не смутило Студента. Ему было неприятно всеобщее внимание. Студент повернулся спиной, прошел на корму и там поднялся по трапу на верхний мостик, где стоял, опираясь о стойку флюгера, Чиф. Студент услышал пение ветра в тросиках оттяжек и прислонился рядом с Чифом к стойке флюгера.

Из пыльного облака выплыл юркий катерок, описал небольшую дугу и направился к судну.

— Вот он, идет! — заволновались на палубе. Толпа прихлынула к планширу.

Чиф почувствовал то же волнение и тот же стыд, когда на шлюпку высаживали Командира. Ему приятно было чувствовать себя на шканцах летящего в ночи парусника, когда свежий ветер плющил его мужественный нос и трепал седеющую бакенбарду, но он знал, что реальность была в другом. Реальность была в том, что в кубрике стонали измученные матросы, что шторм отнимал последние силы и что Командиру скоро предстоит отправиться в свое последнее плавание на крохотной шлюпочке, в которой было самое необходимое для того, чтобы умереть от холода, голода и одиночества в течение недели.

Чиф вздохнул и прислушался к свисту едва заметного ветра в снастях верхнего мостика.

...— Я очень аккуратно посадил судно на банку, а после того как мы стащились с банки, довел его до Поселка, не ел, не пил. Это стоило труда, — признался Семен. — А теперь мне бы нажраться пойла и завалиться спать на пару суток.

— Уж мне-то лучше знать, что тебе нужно, а что нет, — сказал Кэп. — Не валяй дурака.

Зубы Семена скрипнули:

— Я ведь действовал по вашему приказанию, и выбрасывался на банку, и вешал замок на подшкиперскую.

Кэп махнул рукой:

— Никто ничего тебе не приказывал. Свидетелей нет. Можешь идти.

— Никуда не пойду! — взревел Семен. — Теперь-то я допер: во всем виноваты Третий и ты! Как я раньше не мог до этого додуматься?!

— Ты сошел с ума, — холодно оборвал его Кэп, — Амбарщик тебе этого не простит.

— Вот-вот: Третий, Амбарщик и ты!

С минуту Кэп сидел неподвижно, потом придумал. Он стасовал колоду карт и выбросил первого туза.

— Садись!

Семен окаменел, ему стало ясно, что Кэп надумал обыграть его сегодня, чтобы доказать свою правоту.

— Играем три кона.— Кэп вспомнил злосчастные двадцать бутылок коньяку.— В казне двадцать.

Семен уселся поудобнее.

— На все. А чего двадцать?

— Всего, чего ты хочешь: двадцать обид, двадцать бутылок, двадцать...

Семен широко, от души рассмеялся. Дырка взвизгнула и кинулась лизать Семена. Кэп заледенел.

— Рано радуешься. По очкам мы всего только сыграли вничью. Я имею предложить тебе еще одну партию.

Семен отрицательно покачал головой. Только сейчас он додумался, что не проиграл, но и не выиграл. Это убило его наповал.

— Такая игра не переигрывается,— заметил он.— Такая игра бывает только один раз в жизни.

Кэп вздрогнул. Что ж, приходилось признать, что Семен прав: они ведь играли в непростую игру. Кэпу мучительно захотелось похлопать себя по карманам, вывернуть их, осмотреть стол и папки, заглянуть в сейф.

— Можешь идти,— приказал он Семену,— принимай вахту и стой, пока...

Семен молча кивнул головой, поднялся с кресла и вышел. Он затворил дверь и увидел прямо перед собой серую переборку, на которой не было заметно ни единого пятнышка, ни единой царапины. Однообразного цвета пластик облицовки тянулся, кажется, до самого горизонта, до бесконечности. Это был какой-то серый беспросветный экран, загораживающий весь мир. Придерживаясь за нее, Семен поплелся на гудящих ногах к выходу. Бесконечной была эта переборка, такой бесконечной, что Семену ни в жизнь бы ее не преодолеть, не обойти...

Кэп вывернул карманы, слазил в сейф, перевернул папки и ощущал ящики стола, но странное ощущение потери не оставляло его. Дело не в том, что он впервые в жизни сыграл с Семеном вничью. Казалось, он проиграл, что-то такое проиграл, что в карты не проигрывается, хотя счет и был по нулям. Чувство невозвратимой потери все усиливалось и искало выхода...

Дырка подошла к Кэпу и участливо заглянула ему в глаза. Это была на редкость доверчивая простодушная собачонка. Чем больше жил рядом с нею Кэп, чем пристальнее за нею наблюдал, тем доверчивей и простодушней она становилась. Иногда, подозрительно сощурившись, Кэп заглядывал ей в глаза и, отвернувшись, клял на чем свет стоит и обзывал ее Простодыrkой: так была видна в ее глазах простодушная собачья душа. По самому незначительному поводу она начинала суетиться, радостно повизгивать, прыгать, виляя хвостом, и доверчиво лизать чужие руки, которые, по мнению Кэпа, могли тайком тотчас же после этого ударить ее или вытащить из кармана ее хозяина кошелек, на что Дырка бы отвечала новой серией заигрываний и радостного повизгивания. Она играла со всеми, кто бы ее ни подозревал, неслась к нему, размахивая своими нелепыми полотенчатыми ушами, принималась ликующе взлаивать и ластиться. Несмотря на эти ее позорные качества, Кэп тем не менее не хотел с нею расставаться по причинам весьма неосознанного свойства. Глядя на Дырku, ему самому иногда хотелось плюхнуться на палубу, хотелось колотить хвостом, простодушно глядя на проходящих мимо матросов, хотелось прядать такими же нелепыми полотенчатыми ушами и радостно взлаивать. Тогда бы в его душе начинало что-то щемить, в ней появлялось бы неуловимое ощущение доверчивой простоты. В глупейших его фиолетовых глазах тогда отражался бы весь мир: и море, и облака, и люди, которым бы Кэп дарил свою доверчивую щербатую улыбку, тоже отражались бы, и теплый ветерок, и солнце. Может быть, Кэп стал бы таким образом каким-нибудь идиотом, но ему иногда хотелось стать беспросветным, полнейшим идиотом, чтобы не думать об Амбарщике. Именно за эти мысли и дикие желания, которые пробуждала в Кэпе Дырка и за которые Кэпу впоследствии приходилось краснеть, он ненавидел Дырku и считал ее большой стервой, раз она имеет наглость пробуждать в Кэпе такие мысли и желания. В глубине души Кэп имел на Дырku зуб, но одновременно страх потерять ее заставлял Кэпа скрипеть в бессильной ярости зубами. Он все-таки любил ее, Дырku.

Зарывав, схватил Дырku за ошейник, пинком распахнул дверь и скатился в машинное отделение. Куском крепкой сталистой проволоки Кэп намертво прикрутил Дырku к большой наковальне и, подхватив и то и другое, опрометью ринулся вверх, опасаясь, как бы ненужные суетливые мысли не сбили с него озарения. Нести наверх наковальню вместе с Дыркой было тяжело, но Кэп не успел даже запыхаться.

Дырка поудобнее уселась на фальшборте и с любопытством обнюхала наковальню, нависшую одним углом над пучиной. Дырка с любопытством посмотрела на Кэпа, как бы стараясь сообразить, что за игру затеял с нею хозяин.

— Ну, что ж,— прошептал Кэп.— Вот и дождалась!

Секунда, пронзительный запоздалый взвизг, резанувший по сердцу Кэпа, и все было кончено...

Дуновение ВЕТРА пошевелило редкие волосы на голове Кэпа: он обессиленно опустил на кнехт и невидящими глазами обвел бледные смазанные лица столпившихся на палубе моряков. В душе у него стало пусто. Кэп потер влажные руки о борта кителя и поплелся назад.

Чиф сделал инстинктивно несколько шагов по направлению к трапу, когда увидел, как опасно накренилась над пучиной наковальня, но остановился после последнего крика обреченной собачонки.

Амбарщик вышел на палубу подышать свежим воздухом, так необходимым его легким. Он мельком посмотрел на толпу у борта и величаво тронулся дальше.

— О-о-о-о-о-о!!!!!! — вдруг раздался вой, и из надстройки вышла опухшая от слез Повариха.— Бедненький Студентик! И зачем ты меня покинул, и куда же это тебя унесло?! О-о-о-о-о-о!!!! А-а-а-а-а!!!! У-у-у-у-у-у!!!!

Амбарщик брезгливо поморщился и попытался стороной обойти ее неподвижную фигуру, тумбой вставшую на его пути.

Повариха вздрогнула. Вот кто виновник исчезновения Студента, вдруг дошло до нее. Вот кто виновник ее беспрерывных мучений! Вот кто! Вот кто...

— А-а-а-а!!! — завывала она раненой волчицей и одним прыжком настигла Амбарщика. — Где мой Студентик?! Где, я тебя спрашиваю, мой Студент? Ты молчишь?!

Амбарщик качнулся под ударом, но устоял. Движения его, полные брезгливости, вдруг стали беспорядочными, когда Повариха добралась до его глаз.

— Я выцарапаю тебе твои холодные рыбы буркала, если ты не скажешь мне, где Студентик! О-о-о-о!!! Скажи, где Студент, я умоляю! Только тогда ты будешь жить!

Слезы градом катились по ее покрасневшему от натуги лицу. Амбарщик попытался отпихнуть Повариху и вырваться из ее рук, но вырваться от Поварихи было несбыточной мечтой, это знал и Студент; тут может помочь только случайность, и Амбарщик понял это.

— Сгинь, мразь! — прошипел он, тщетно пытаясь выкарабкаться из-под одной Поварихиной груди, накрывшей его мощной глыбой.

— А-а-а! — взревела Повариха. — Ты еще пищишь? Ну, берегись!

Дальнейшее воспринималось столпившимися на палубе неким смерчем, неведомо откуда спустившимся на судно. Слышался только дикий вой Поварихи, глухие кисельные удары да всхлипывающие вздохи Амбарщика. Никто не решился вступить за Амбарщика, когда его била Повариха. Амбарщик был верной добычей Поварихи, это понимали все, кроме Амбарщика.

Толпа металась по палубе, выбирая место поинтереснее, стараясь не пропустить ни одного удара, ни одной скольконибудь значительной детали. Студент почувствовал, как отвращение в его душе уступило место жалости к Поварихе. Почему жалко стало именно Повариху, Студент объяснить бы не смог: жалко, да и все.

Амбарщик то взлетал в воздух и шмякался о железо палубы, то перелетал с места на место, засеая пространство вокруг себя клочьями одежды, и снова падал и падал на палубу, издавая утробные звуки.

Неизвестно, что спасло Амбарщика: может, всесильный господин Случай, может, Повариха просто выдохлась и потеряла к Амбарщику всякий интерес, а может, вспомнила, что избиением Амбарщика Студента не вернешь.

Когда Амбарщик очнулся, стал на четвереньки и двинулся, пошатываясь, в каюту, присутствующие смогли лицезреть величайшее из произведений искусств, — может быть, самое великое после «Раба» Микеланджело, — Амбарщикову наготу. На его теле уцелел только один рукав, пояс от джинсов с клочком на заднице, в котором размещалось второе сердце Амбарщика, его таинственный карман, за который он и держался.

...Он разыскал в Кэповом шкафу одежду и залепил себе пластырем синяки. Южные моря, думал он, южные моря. Это единственный выход. Обложили со всех сторон. Южные моря.

Он представил себя дервишем, странником, прохожим, в котором никто бы во всем свете не смог узнать Амбарщика.

Заросший длинной, до пояса, бородой и волосами ниже плеч, оборванный, в сапогах, телогрейке, опираясь на посох, он шел по пыльным дорогам, собирая милостыню. Позади остались тысячи и тысячи километров пути, а впереди его

ждали тысячи и тысячи других километров пути. Он смотрит сквозь темные очки на пролетающие мимо автомобили, поезда, речные корабли, но руку поднимает только перед телегой, запряженной ветхой кобылешкой. Расщепились семь посохов, изорвалось три телогрейки, стоптались до голых подошв девять пар отечественных сапог. Одна мысль гвоздем сидела в его черепе: Лейтенант.

Перевалив знаменитый хребет, он оглянулся, немного успокоившись — отсюда его увидеть стало труднее. Но Амбарщик не терял осторожности и здесь: пристальным взглядом он осматривал каждого военного, стараясь под козырьком армейской фуражки увидеть до боли знакомое лицо. Подсознательно Амбарщик понимал, что раз Лейтенант пообещал, то рано или поздно он его настигнет. Но и сдаваться было рано, пока бились оба сердца, одно в груди, другое в заднем кармане, где, запаянная в непрозрачный непромокаемый пластик, лежала толстая пачка аккредитивов. Амбарщику было тепло и становилось день ото дня все теплее: впереди замаячил юг.

Выходить на палубу Амбарщик уже не мог. Значит, осталось отдать последнее распоряжение Кэпу...

— Снимайте Третьего. Отчаливаем за рыбой.

Кэп не мог видеть, как за прикрытой дверью его собственной спальни всегда холодные глаза Амбарщика горели страшным, непривычным огнем. Подставь сейчас линзы под каждый его глаз, концентрированный огонь прожест бы толстую пластиковую дверь, поразил бы Кэпа насмерть, наделал бы пожаров не только на судне, но и на суше.

Шквальный ветер рвал верхушки волн и распылял их в мельчайшие брызги. Мачта, натруженно скрипя, гнулась под ветром. Впереди лежали тысячи и тысячи незнакомых миль, скрывающих за собой незнакомые земли, на которые не ступала нога Чифа. Путь к этим землям пролегал через звезды на небе, на которые Чиф поглядывал моментально-зорким взглядом, отмечая малейшее отклонение от курса. Чиф поправил на себе промокший плащ, убрал под обшлага мундира отсыревшие манжеты и всмотрелся в мельтешащую тьму впереди, за которой его, Лейтенанта Его Императорского Величества, ожидают новые земли, которые нужно описать и нанести на карты.

Но Чиф знал, что все эти романтические реминисценции не имеют ничего общего с действительностью.

А действительность была в том, что измученные матросы стонали в прогорклой тьме кубрика. Издерганные беско-

нечными штормами, жаждой, холодом, кошмарными сновидениями, в которые удавалось погрузиться в редкие минуты затишья, они мечтали побыстрее достигнуть земли обетованной. Чиф знал, что тиммерман Иванов лежит сейчас, так же как и остальные, прикрученный ремнями к койке и трясет большой головой. Он был так велик и силен, что мог, упершись руками в переборки, развалить надвое тесную каюту. Сейчас ноги его торчали на полметра в проходе. Наш Командир сошел с ума, слышался хриплый рокот его голоса: уже началась осень, а мы и не думали поворачивать обратно. Что он еще выдумает? А нас ждут дома родные, они все глаза проглядели, разве не так? Пора, пора поворачивать обратно, мы свое дело сделали. Слова его падали, как капли на камень, разъедали ум, тревожили измученных людей. В их воображении проходили картины земель, где несметными тучами бегают чернобурые и сиводушчатые лисы, взлаивающие от нетерпения повиснуть пушистым воротником на шее далекой красавицы. Стаи соболей и горностаев преследовали их, где бы ни остановились охотники, угрюмый медведь подставлял свой бок под самострел. В водах, столь же диких и обильных, плавают глазастые нерпы, поднимает свое громадное туловище на льдину морж. Призраки огромных количеств тороков с мягкой рухлядью и бочек с красной икрой преследовали матросов и во сне, заставляя их корчиться под крепко намотанными ремнями. Подспудно зреющее недовольство грозило вылиться в бунт, в прыжок с оскаленными зубами; а корабль тем временем уходил все дальше и дальше. Вот была реальность, с которой невозможно было не считаться.

Чиф вздохнул и перевел взгляд на компас. Он молил господ, неведомых местных божков, обмазанных кровью, далекую звезду, провожающую их корабль от родного порта, утреннее солнце и собственную волю, чтобы Земля, к которой стремится Командир, обнаружилась назавтра в гомоне чаек, в облаке испарений и плеске мирных волн, ибо только появление долгожданной Земли могло спасти Командира. Времени не осталось. Все может измениться даже утром: ветер наберет ураганную силу, срывая волны, низкое небо нависнет над провалами водяных ущелий, суденышко их превратится в безвольную крохотную щепочку в ладонях безжалостных стихий, а ропот в матросском кубрике — в рев обезумевшего животного.

Чиф спустился по трапу вниз, с большими предосторожностями нащупывая ногой каждую ступеньку, остановился

у двери командирской каюты и стряхнул брызги воды со старого, но верного бострога. Постучал.

Его встретил взгляд светлых глаз, выпукло блестевших на его лице в свете тяжелого морского шандала, намертво привинченного к переборке у самой головы Командира. Чифа кольнуло ощущение досады на Командира за то, что он в этой сгушавшейся с каждой секундой атмосфере страстей, затаивших молнии в каждом углу, в каждом фунте воздуха и угрожавших жизни не только Командира, двух гардемарин и Чифа, но и жизни и существованию всего корабля, был чисто выбрит и подтянут, будто быть чисто выбритым и подтянутым в это время стало для него самым важным. Перед ним лежали рулоны карт, линейка, циркуль, дымила в специальной подставке-табакерке трубка. Дым из нее поднимался к подволоку, метался во все стороны тесной каюты, перемешиваясь слоями, когда корабль прыгал в пучину и выныривал на гребень волны.

— Понимаю, Лейтенант, на всех действует эта изнуряющая гонка, бесконечная непогода, всех угнетает этот мрак без единого просвета даже среди белого дня. Если только это можно будет с полной уверенностью назвать белым днем. Уже осень, в этих широтах темнеет быстро, дни кажутся невообразимо короткими, а ночь бесконечной. Но мы будем продолжать двигаться на север до тех пор, пока позволит обстановка и пока нам не выйдут навстречу полярные льды. Мне не хотелось бы напоминать экипажу, что я всё еще остаюсь на этом корабле Командиром и по-прежнему наделен неограниченными полномочиями. В любом случае я буду вынужден действовать так, чтобы достичь истинных целей экспедиции.

— Исключительные цели, исключительные ситуации. Командир, осмелюсь задать вам один вопрос, не примите за недовольное брюзжание. Кто будет выполнять приказания в исключительной ситуации, когда сама исключительная ситуация поставит вас перед фактом одиночества?

— Вот как?

— Вы одиноки, Командир.

— Это уже серьезно... Я не ожидал, что настроения зайдут так далеко. Поверьте, я тем не менее трезво оцениваю положение вещей. Но пойти на поводу у вашего тиммермана и повернуть назад я не смогу. Ах, весь экипаж!..

Трубка потухла. Дым, потихоньку втягиваясь в невидимые щели, оставлял только запах табака. Руки Командира

легли на подлокотники крепкого деревянного стула, туловище откинута на спинку.

— В свою очередь я задам вам вопрос, Лейтенант: что будете делать вы в исключительной ситуации?

— Это вопрос вопросов.

Чифу трудно ответить на него. Он с усилием отводит взгляд от пламени свечи. Сказать, что выбор сделан, что он с Командиром до самой последней минуты, но в то же время нельзя оставить матросов одних.

— Вы можете рассчитывать на меня, Командир, и не только потому, что я приносил присягу и остаюсь верным ей. Я разделяю ваше стремление дойти до цели, даже если на это нет прямого приказа губернатора.

— Такого приказа нет и не могло быть, Лейтенант, экспедиция свои задачи выполнила еще месяц назад, и нам давно нужно возвращаться. Но дело в том, что не было и запрета на продолжение экспедиции в целях, которые вам известны. Все зависело от обстоятельств, а я не видел препятствий к дальнейшему продвижению на север. Цель же такова: мы идем открывать новые земли к северу от колоний. Этой цели либо нужно отдаться всей душой, либо вообще не принимать в плавании участия.

— Я это знаю, Командир, и повторяю — вы можете на меня рассчитывать.

— Вашу руку, Лейтенант!..

— Но команда уже не верит обещаниям. Ей непременно нужно показать новую Землю завтра, иначе терпению ее придет конец.

— Новая Земля всегда ждет нас з а в т р а, Лейтенант.

— Не праздной ли мыслью является соображение, что те люди, для которых вы идете открывать новое пространство, не хотят этого, Командир?

Казалось, он смутился моими словами. Он, отягощенный думами об Открытии, преданный единой мысли и единому, поглощающему желанию, впервые задумался об этом, неизвестном ему ранее противоречии. То, что идти к цели нужно, он не сомневался, но какой ценой?!.. Меня поразила его улыбка, не только потому, что не время было для улыбок, сколько тем, какой непонятной печалью была эта улыбка наполнена. До конца его настроение в эту минуту мне стало понятно позднее, в тот роковой день, когда его высаживали с корабля на маленькую шлюпку с косым парусом, чтобы навсегда оставить в бесконечных тоскливых просторах Океана. У меня на глазах навернулись слезы, я незаметно пробрался поближе

к нему, чтобы пожать ему руку в последний раз. Прощайте, Командир... Мне не нашлось места в этой жалкой шлюпчонке, ибо за моим плечом дышала плотная масса матросов, которых нужно было провести обратно через все моря, штормы и тяготы, что я в печальном итоге все-таки и попытался сделать...

...Чиф устремил взгляд во тьму, угрожающе сгустившуюся впереди. Чутьем опытного моряка он понимал, что то, что они терпели до сего дня, есть только начало. Все приметы говорили за то, что завтра ожидать нужно ураганный ветер. Над его лицом трепало выбеленный до прозрачной бледности вымпел, во вспышках фонаря среди белесых ключевых пены и брызг мелькал, появлялся и исчезал темный силуэт большой сильной птицы, которая пристала к ним утром предыдущего дня и которая летела бок о бок с кораблем, не отставая ни на минуту. Во вспышке света поблескивал ее живой круглый глаз, а клюв, словно стрелка компаса, был вытянут вперед.

Вспомнилось, как полтора месяца назад их бот, пробившись сквозь бесконечные штормы, бросил якорь напротив форта, разбросавшего свои строения на берегу, поросшем обильной растительностью. Форт расположен был у подножия высоких, заснеженных даже среди лета гор, из сердцевины которых выбегала на широкую косу торопливая река. Форт еще не был полностью укреплен, не до конца отстроен и не заселен. Работы переселенцам, столпившимся у борта, хватило бы на год. Они стояли на палубе, сгрудившись молчаливой кучей: это была их земля. Они прибыли сюда из материковых глубин, убегали от податей, рабства, несчастливой жизни, а в этом краю, лишенном примет той, прежней жизни, можно было начать жизнь новую, трудную, но радостную.

Во внутреннем дворике форта прекратился стук топоров и визг пилы: бот заметили. Из бойницы укрепления взметнулся белый дымок, и до корабля докатился по глади воды пушечный выстрел. На высоком флагштоке лениво шевельнулся флаг, обозначающий, что владения эти принадлежат русской короне. Толпа переселенцев радостно загудела. Им нравился этот край, где предстояло отстроить дома, обзавестись хозяйством, родить детей, пустить корни. Здесь им предстояло присовокупить славы державе и чести себе. Ждали только команды на выгрузку. Чиф прошел по палубе к ним, переступил через влажный, спущенный для ремонта парус, от которого на палубу натекла лужица мутноватой

воды, поднял ладонь, приветствуя их с новым местожительством...

...Был откован новый десятипудовый якорь вместо утерянного, заново проверен и отремонтирован весь такелаж. Когда основные работы были кончены, часть экипажа сошла на берег помочь в постройках, отдохнуть.

Иванов вытер подолом полотняной рубахи вспотевший лоб и воткнул топор в бревно. На рейде неподвижной массой стоял бот, дымок курился из печных труб форта, тянуло теплым ветром. Тиммерман достал кисет с табаком, набил трубку, глубоко затянулся. Мне тут нравится. На будущий год вернусь сюда с жинкой и ребятишками, только успеем ли обернуться мы за год туда и обратно? Наконец-то я присмотрел себе место, где мне по душе. Вон за тем мыском можно поставить хорошую запруду, а один рукав пустить сюда, на пашню. Тут же можно и небольшую мельницу поставить: пшеница уродится хорошая. Расти здесь будет не только картошка, а морковь, капуста, всякому другому овощу будет место, надо только завести коров, пару лошадей. Кормов хватит на несколько сотен лет. Пяток бочонков с порохом, дробь, ружья. Руки чешутся начать строить собственный дом! Эх, Савелий, больше ведь ничего и не надо! Поставить пятистенную хоромину, отделать наличники и фасад, поселить туда семью, детишкам флигелек, как у нашего управляющего, чтоб радовались. Через десяток лет стану на ноги, хозяйство не буду успевать обрабатывать, придется приглашать работников. Пойдешь?! Приму, приму, не беспокойся. В хороших крепких руках да чтоб работа не кипела? То-то и оно!

Неощутимо текучее время посвистывало над этим берегом, над головами переселенцев, над парусами, свернутыми на палубе, пошевеливало кусок ткани на флагштоке. Тиммерман поднял голову вверх; там, в бесконечно-пустынной голубизне неба, плыли зыбкие, веющиеся по ветру клочки облаков. Выпустил клуб дыма, медленно растворившийся в этой необъятной холодной шире, почти пустоте, всосался в нее, исчез...

Чиф облокотился о леер рядом с рулевым. В ночи тоненько вскрикивало эхо шторма, который несся к ним через тридевять земель. Ладонь Чифа инстинктивно сжала брус леера. Поскрипывала ось штурвального колеса, посапывала трубка вахтенного, в тишине, если можно было назвать тишиной короткое затишье, было слышно, как машет громадными крыльями сильная птица.

Разрешите спросить, господин Лейтенант? Я держу штурвал крепко и правлю точно по курсу, который вы мне указали. Но я знаю, что мы идем в противоположную от дома сторону. Мы не идем домой? Но если сможете ответить, то ответьте: куда мы идем? Я не пользуюсь нашими хорошими отношениями, господин Лейтенант, что вы! У меня нет такой привычки, вы это знаете так же хорошо, как и то, что я старый моряк и старший матрос по имени Афанасий. Но если вы не сможете ответить на этот вопрос, то скажите хотя бы: это надолго? Ответ знает только ветер? Вы веселый человек, что-то не замечал, вы всегда так серьезны... Понятно. Есть держать на румбе!

После этого короткого разговора со старым своим рулевым, со старым товарищем я почувствовал настоящее беспокойство. Афанасий никогда не задает мне праздных вопросов. Значит, стало еще серьезнее, чем предполагал Командир. Но нельзя допустить, чтобы с ним что-либо случилось сейчас, накануне урагана. Невозможно потерять его в такую минуту!..

Силен, альбатрос, когда летишь. На спокойной воде ты уязвим: тебе обязательно нужно дождаться сильного волнения, первых высоких волн, чтобы вспрыгнуть в воздух с их гребней. Тогда ты испаришь, повиснешь в эфире на своих могучих крыльях, будто вольешься в этот влажный беспокойный мир. Чем сильнее порывы ветра, чем свирепее удары шторма, тем надежнее держат тебя твои огромные крылья. Тебе нельзя остановиться: ветер ломает твои перья, и ты рухнешь в воду безжизненным комком. А в тихую погоду ты подобен жирному гусю на зеркальной поверхности лужи. Держись, альбатрос! Лети!

Полночь. Отдохнувший Океан ринулся на корабль. Равного этому урагану еще никто не видел на Земле. Властный взгляд Океана не мигая смотрел из головокружительной высоты, из невиданных пустот на эту щепочку в пенных водоворотах стихий. Но альбатрос остался верен им и в эту минуту, не бросил судно, летел рядом, может быть, из последних сил. Но и его несокрушимая верность кораблю, и треснувший под ударом бури сверху донизу единственный выставленный парус, и обломок грота, мгновенно унесенный ветром, казалось, ничуть не замутили выражением чувства это бессмысленное, нечеловеческое око.

Вахтенный привязал себя к штурвалу: корабль нужно было держать носом против ветра. Расплющенное ураганными порывами ветра, солеными брызгами лицо Афанасия

было бледно, но твердый вприщур взгляд его не выпускал из поля зрения громады катящихся на судно валов. Пронзительно стонали натянувшиеся струнами ванты, сильнее становилась качка, все более угрожающе трещали крепления фальконетных лафетов.

Боже, услышь сегодня наши молитвы, обращенные к Тебе... Возьми немного, но вынеси нас отсюда живыми!!! В руке Твоей, Господи, наша жалкая жизнь! Никола-угодник, подсоби и ты, не дай погибнуть вотще!

Чифу показалось, что в свистопляску естественных звуков бури вплелся странный посторонний звук. Человеческий голос...

— Кто-то поет, Афанасий?

— Вас не обманывает слух, господин Лейтенант. Это поет Командир, он сошел с ума! Вам нужно пробраться вовнутрь, крепко держась за леера. Давайте я вас привяжу и буду осторожно вытравливать кончик. Когда вы спуститесь вниз, отвяжите кончик — по нему вы и вернетесь обратно, только дерните хорошенько. Не забудьте принести мне сухарей и рыбы.

— Смешно я выгляжу, Лейтенант? Пою, привязанный к креслу. Но не беспокойтесь, я в своем уме. Вы обратили внимание, к нам пристал альбатрос? Крупная дрожь, которая прокатывается по судну, передалась ему от меня. Это оттого, что мы несемся вперед. Это дрожь нетерпения, она суть нашей жизни... Вам не по душе громкие слова, Лейтенант, я вижу. Извините, я почти вынужден кричать, разве можно спокойно говорить в таком адском шуме? Попробуйте как-нибудь разместиться в кресле. Вот трубки, закуривайте. На вашем лице нет и следа паники, это хорошо; настоящий моряк не должен считать мгновения, оставшиеся до гибели корабля, а мы еще не только не гибнем, но даже пробуем петь. Нельзя поддаваться также страху, когда существует опасность, существует реальная угроза жизни экипажа, вы понимаете, как важно подавать ему достойный пример, а вы настоящий моряк. Поддерживайте у команды уверенность в благоприятном исходе. Велики ли повреждения?

Меня обрадовало то, что мой Командир не забывал о тех, кто сейчас мучился в кубрике, пытаюсь во тьме освободиться от опутавших их веревок и ремней, о тех, кто были самыми слабыми сейчас и не находили в себе сил даже на то, чтобы хоть что-нибудь съесть и поддержать свои силы.

— Я расскажу вам о том, как я представляю себе Новую

Землю, Лейтенант. Она очень близко, она за следующим горизонтом. Над ней встают туманные облака испарений, отсюда уже веет теплый ветерок, отдающий запахом пряностей, трав и красивых невиданной красотой цветов. То Земля, где, подобно тем цветам, могла расцвести душа, где имел крылья разум, чтобы воспарить к неведомым ранее высотам и приобрести Новое Знание, могущее сделать человека счастливым во все времена.

То, что эта Земля виднелась уже за следующим горизонтом, говорили и стаи птиц, вьющихся около корабля, и бревна, вынесенные мощной струей пресной воды в море. Чиф также слышал и глухой ропот в кубрике, грозящий обернуться воплем раненого животного, и тогда курс судна может быть изменен. Чиф пытался найти ответ на это подспудно зреющее чувство тревоги, поселившееся в нем, но ответа пока не было, время для него еще не пришло.

— Знаете, Лейтенант, я расскажу вам о другой птице, не альбатросе, та птица, если подумать, глупа и прихотлива, не чета этой. Но память о приключении, пережитом в детстве, двигала мной и при поступлении в Морскую школу и движет сейчас. А незабываемости того впечатления обязан я ей. Однажды с дядькой мы пошли погулять на луг, расположенный в имении моего отца. Дядька разрешил мне побегать одному, наказав, как всегда, не слишком пачкаться, чем я сразу и воспользовался. За необычайными приключениями в этом возрасте, однако, далеко ходить не нужно. Утомленный беготней по орешнику и высоким травам, я упал и уснул, не слыша ни тревожных криков своего дядьки, ни его оханья. Когда дядька запаниковал, я проснулся, но нарочно, чтобы позлить его, полежал некоторое время молча. И тут увидел чудо. Я знал, что нужно перекреститься, сплунуть три раза через плечо, протереть глаза и ущипнуть себя, чтобы наваждение или сон исчезли без следа. Но чудо не исчезало, да и мне уже не хотелось, чтобы оно исчезло. Тогда я не знал, что чудо только тогда чудо, если неизвестна реальная, сугубая его простота, объясняющая острому уму весь механизм впечатления. Я был заморожен этим чудом, боялся сморгнуть, чтобы оно не исчезло в те краткие мгновения, когда веко опускается и поднимается вновь. Но нет, оно продолжалось, чудо. Передо мной, поводя маленькой головкой с едва заметной короной на ней, шла, важно, будто принцесса в хрустальных башмачках, переступая ногами, незнакомая прекрасная птица. Главным в ней был хвост. Веером распахнувшийся сзади, он просвечивал на солнце,

играл переливами цвета, будто тончайшая раскрашенная бумага. При самом незначительном движении цвета меняли плотность и прозрачность, будто был это не хвост, а струйка воды на солнце. Чудесный волшебный веер горел в зелени травы, завораживая. Казалось, до этого веера нельзя дотронуться и кончиком пальцев без того, чтобы не потушить радужного сияния и не превратить его в сотни раз виденный петушиный хвостик. Птица, словно оценив мое любопытство, еще шире разметала хвост и стала неторопливо удаляться, иногда поворачивая голову, чтобы проверить, не умер ли я еще от восхищения и восторга. Она еще долго мелькала цветным пятнышком в траве, пока не исчезла совсем. Тогда только я решился перевести дух: все вокруг меня напиталось ощущением сказки. Будто тайком накурившись табаку и испытывая головокружение, я захотел побежать за нею, чтобы увидеть снова. Но никогда больше я ее уже не видел. Дядька схватил меня за плечо и обрушился с упреками, но я едва ли его слышал, увлеченный своими мыслями и переживаниями. Дядька еще немного поругал меня за испачканную зеленью сорочку и рассказал, что птицу эту привез из-за морей их сосед-моряк. Может, за нею плохо смотрели и она спокойно вышла за ворота? После о ней никто ничего не смог мне рассказать: наверное, попалась в когти лисы или собак, может, подобрали богомольные люди, или она сама умерла, не вынеся климата, так отличающегося от климата ее родных мест. Остается удивляться, как вообще она смогла вынести такое длинное и беспокойное путешествие. С тех лет мне пришлось узнать многое, я понял темные силы, которые нами управляют, но ничто уже не смогло сбить меня с моей стези: я стал капитаном и открываю Новые Земли. Посмотрите, Лейтенант, альбатрос летит уже не рядом, а над нами. Он будто стоит над сломанной мачтой, опираясь на невидимые плоскости бури. Смотрите, смотрите, Лейтенант!

Приподнявшись, насколько позволяли ремни, которыми он был привязан к креслу, Командир толчком открыл створки окна-иллюминатора. Чифа оглушила и отбросила назад буря, ворвавшаяся в это небольшое отверстие. Свечи в шандале погасли, но в свете палубного фонаря Чифу было видно, как взмыли и упали со стола Командира рулоны карт, а та карта, которая лежала расстеленной перед ним, придавленная тяжелой подставкой для трубки, повисла горизонтально, хлестнув Чифа по лицу, словно выпел. Она трепыхалась в тесноте каюты, нанесенные на ней материки, моря и глуби-

ны, где во многих местах вместо непрерывной береговой линии была нанесена пунктирная линия, а в морях, омывающих эти материки, светились белые пятна неоткрытых земель, размазывались солеными брызгами. Чифу даже показалось, что глаза Командира расширились восторгом и наслаждением.

— Разве можно останавливаться? Сама судьба несет нас дальше!

Альбатрос словно балансировал над обломком мачты, вздрагивая громадными, похожими на два острых паруса, крыльями. Чифа бросило в жар. До самого конца, до той самой минуты, когда бот разламывался на камнях и его шпангоуты лопались со страшным треском, Чифу все мерещился этот крылатый то ли дьявол, то ли ангел, который вцепился в корабль и нес его дальше.

— Мелко плаваем, Лейтенант! Вот кем бы мне хотелось быть: альбатросом. Один раз подняться в воздух и уже больше не опускаться, вот цель!

Командир захлопнул створки. Стихли вой бури и визг ветра. Бессильно опустился клочок бумаги, звавшийся картой, медленно разгорелись свечи, задымила трубка.

...В кубрике ползет глухой шепот. Свесив львиную голову и упершись рукой в край нар, среди стонов и криков Иванов ведет свою речь. Тревога висит в воздухе. Кряхтят распорки, мигает свет фонаря.

— Мы хотим знать, ваше благородие, господин Лейтенант: долго ли мы будем плыть на север? На носу зима, мы могли не успеть вернуться домой даже в том случае, если бы вышли из форта полтора месяца назад, а теперь и подавно поздно. Где эта Земля? Вы понимаете, господин Лейтенант, наше терпение не бесконечно. Чье терпение? Мое, его, наше терпение. Ваше благородие, вы обучены мореходному делу и можете привести корабль куда нужно. Стало быть, вы начертите и ту дорогу, которая ведет домой?

— Недвусмысленный вопрос, он предполагает выбор: за или против. От имени капитана запрещаю вести такие разговоры впредь!

— Но вы иногда не слишком много рассказываете у себя в кают-компании, ваше благородие?

— Тиммерман Петр Иванов, вы позволили себе угрозу по отношению к офицеру Его Императорского Величества!

— О, господи! О чем мы толкуем? Я всего только спросил вас, умеете ли вы прокладывать курс и делать расчет. Гардемарины еще юнцы, случись что с кораблем, от них проку

мало. Потому я и спросил. Снаружи такой шум, что мы могли и не понять друг друга.

Тиммерман отворачивается к переборке, следует длинный естественный зев. Чиф смотрит на его крупные рабочие руки, знающие всякий инструмент, мозолистые руки, тоскующие по настоящей работе.

— О-хо-хо, спаси и помилуй, когда же кончится эта круговерть?

Невнятное уважение внушает Чифу этот человек, ведь именно такие люди сопровождали во всех его плаваниях: они не струсят и в нужный момент примутся за дело. Что же делать, думал он, поднимаясь по тонкому пеньковому концу на ют, они устали.

— Господин Лейтенант, сорвало гик. Мы закрепили его со Степаном Акуловым.

— Нельзя выходить на палубу, Афанасий, это равно самоубийству.

— Мы подстраховывали друг друга, нельзя было оставлять гик на палубе, иначе он бы разбил борт.

— Спасибо за службу, друзья, но делать этого больше не следует.

— Вы плохо выглядите, господин Лейтенант, бледны и на щеке у вас большая ссадина. Скоро сутки, как вы не покидаете вахты. Отдохните, а за вас попробуют постоять гардемарины.

— Да-да, ты прав, Афанасий. Нужно отдохнуть, иначе в нужный момент я свалюсь, это будет некстати. Едва набираюсь сил, чтобы перекричать этот шум. Гардемарин Ульманн, докладывайте, если случится что-либо непредвиденное. Я постараюсь уснуть, если только это окажется возможным.

— Крепче держитесь за кончик, господин Лейтенант.

— Да, это задача — пробраться в собственную каюту. Напоследок, Афанасий... Командир не сошел с ума: его возбудили качка, шум и некоторое количество выкуренного табаку.

Все еще огрызаясь, занавешивая светлеющую даль полотнами дождя и снега, буря потихоньку отступала. Солнце настойчиво пробивалось сквозь раскосмаченные вихри туч, сквозь мутную пелену мельчайшей водяной пыли, зависшей между низкими тучами и морем. Кое-где уж взблескивали осколки нестерпимо яркой радуги, чтобы тут же угаснуть и через минуту появиться в другом месте. Истрепанный бот зарывался форштевнем, дрейфовал. Он выдержал, построен-

ный на берегу известными умельцами без единого гвоздя, выправлялся на волне, оживал, отдав стихии первую жертву — Степана Акулова, который был сбит волной с палубы, когда пытался закрепить срываемый такелаж. Он висел на страховочном конце, его било водой о борт, вертело в пучине до тех пор, пока не оборвался линек.

— Если бы мы шли домой, нас бы не успела застать такая буря, — уже в полный голос говорил тиммерман Иванов. — Вы ли этого не знаете, братья? Я не боюсь плетей и колодок, мне бы только увидеть своих. Нечего нам терять, братья! Еще не поздно... Слово и дело, нас предали!..

...Закипела работа, и уже к полудню следующего дня были восстановлены и отремонтированы паруса, такелаж, составлена новая мачта взамен унесенного грота.

Чиф помнил в самых незначительных подробностях вечер этого дня. Помнил, как слепила медью-казаркой в свете заходящего солнца подзорная труба в руках марсового, когда он медленно обводил ею линию горизонта в поисках Земли. Помнил, как пронзительно кричали чайки, тучами летающие над кораблем и плясавшие в таинственном ритуальном танце окончания бури. Помнил, как обострилось до ощущения физической боли чувство бессознательной тревоги, помещавшейся где-то впереди, за линией воды и неба. Он стоял на обычном месте, на юте, рядом с вахтенным рулевым и в шуме и стуке топоров почувствовал, услышал напряженно звенящее эхо. Почудилось, будто время провалилось впереди него в ту головокружительную пустоту, где заново родилось и море, и небо, и стоящий на якоре у берега странный серый корабль с дымком над ним. Едва слышное пульсирование доносилось к нему оттуда, будто сверхъестественное усилие, необходимое для того, чтобы так разорвать вечность, вот-вот должно было кончиться, не выдержав напряженности. Облака рассасывались в синеве, освещенные низким солнцем, краснеющее на глазах облако, скрывшее очертание части берега, медленно передвигалось к морю. Безотчетную тревогу излучало море, металл корабля, лица людей, небо...

Я услышал внизу встревоженные голоса, угрожающие крики, глухую возню и удары. Грянула о комингс распахнутая пинком дверь, и шум выкатился на палубу. Двое матросов вели, крепко взяв под руки, Командира, сзади тащили двух перепуганных гардемарин. Одежда их была в беспорядке, на плече Командира поверх разорванного рукава парадного мундира сочилась кровь. Уже впоследствии я попы-

тался припомнить, а был ли в действительности Командир одет по-парадному или нет. Но мне запомнилось, как ветром шевелило кружева его белоснежной сорочки, запятнанной кровью, мне припоминалось, не совсем отчетливо, как блестели золотые позументы на его мундире. Лицо его было бледно, но спокойно. Оделся ли он заранее, предчувствуя эту минуту, или попросил матросов разрешить ему переодеться, не знаю. Но истязали его уже одетого в парадное, об этом говорила окровавленная сорочка. Впереди шел, размашисто шагая, тиммерман, а вся иступленно дышащая толпа следовала за ним, волоча трех растерзанных пленников.

— Что здесь происходит? — вскрикнул я. — Попрошу всех оставить офицеров и отойти в сторону!

Я ринулся вниз, но меня перехватила железная рука Афана́сия, стоявшего за штурвалом.

— Поздно, Лейтенант, поздно!

Его глаза лихорадочно блестели.

— Еще три дня назад все могло быть по-другому, а сейчас поздно. Я смог бы вам помочь, но с такой толпой нам не справиться. Вы навредите себе, остановитесь!

Слова его прошли мимо моего сознания: не раздумывая ни мгновения, я перемахнул леер и спрыгнул на палубу, едва не переломав себе ноги. Со мной не было ни пистолетов, ни шпаги — я находился на вахте в рабочем бостроге и высоких сапогах. Не успел я сделать и двух шагов, как меня схватили сразу несколько рук и припечатали к мачте.

— И этого туда же, — сказал один, — ему сильно хочется нас позлить!

— Лейтенант, — сказал негромко Командир, — отойдите, они не ведают, что творят!

— Ага, — зарычал Иванов, — это мы не ведаем уже, что творим! Сдается мне, что это вы помешались на своих Землях, свихнулись во время шторма. Куда это мы несемся, в какую даль, за что претерпеваем неудобства и гибнем? Почему вы задались целью мучить нас, капитан?

Командира и гардемаринов поставили у шпилья, плотная куча матросов обступила их полукругом. Мне удалось незаметно проскользнуть поближе к Командиру. Он ободряюще улыбнулся мне, холодный ветер трепал его светлые волосы, а сердце мое сжалось в предчувствии страшной беды.

— Где эта ваша Земля, капитан? Может быть, она за тем горизонтом, и марсовый, привстав на цыпочки, увидит ее? Ну-ка, Савелий, привстань на цыпочки, видишь ли ты

Землю? Ага, где бы ей быть? Наверное, до нее не меньше месяца ходу.

Толпа громко рассмеялась. Командир искоса с любопытством и брезгливо посмотрел на него.

— Вам не делает чести издеваться над беззащитным человеком, тиммерман Иванов. Будь мы на равных, вы разговаривали бы совершенно по-другому.

— Хватит! Если бы мы «были на равных», мы бы все равно были неровней, капитан, и ты отлично это понимаешь. Это все пустые разговоры. Землю! Где она?

— Да вот же она.— Командир повернулся в сторону моря.— До нее рукой подать, разве вы не чувствуете ее? Нужно сделать маневр, чтобы корабль не вынесло на прибрежные камни. Видите, на них так и кипит пена? В тихую бухту с чистым песчаным дном можно пройти по неширокому проливчику, но осторожно, там небольшая глубина. Как раз в эту бухту впадает широкая речка, в ней можно набрать свежей воды.

Ответом был хохот матросов. И тогда на лице Командира опять появилась та бледная печальная улыбка. Все кончено, подумал я, ему ничего не простят!

— Вот вы туда и отправляйтесь, раз там так хорошо! — загремел тиммерман.— И пейте, сколько влезет, холодную воду! Эй, ребята, спускайте на воду маленькую шлюпку, которая еще не совсем разбита. Остальные я почию на обратном пути. Сухарей туда, бочонок воды на случай, если ему не удастся войти в устье реки, и парус! Забирайте своих щенков и проваливайте!

Волосы зашевелились у меня на голове.

— Хорошо, я подчиняюсь, только прошу оставить на судне этих двух молодых людей — они еще смогут пригодиться и вам и отечеству. Но как вы приедете домой, как и кто вас встретит? Разрешите задержаться на минуту и написать несколько слов губернатору.

— Что вы хотите написать?

— Я напишу, что смертельно заболел и попросил оставить меня на одном из пустынных островов. Господин Лейтенант подтвердит, что все именно так и произойдет, не правда ли?

Не имея сил, чтобы ответить, я отвернулся и вытер глаза. И матросы и тиммерман были, кажется, поражены его предложением. Иванов насильственно улыбнулся и обвел взглядом лица матросов.

— Хорошая мысль, а, ребята? Тогда никто не сядет в колодки и не будет бит.

Матросы молчали.

...Лицо Командира задержалось на уровне фальшборта.
— Делайте маневр, Лейтенант. Поручаю и вам и господу довести судно до места. Перезимуете в форту. Берегите людей, не рискуйте бестолку. Помогай вам бог. Прощайте!

Он спрыгнул в шлюпку и взял в руки весла. Уже издали, когда над шлюпкой взмыл крохотный парус, донесся его трепетный голос: «Прощайте!»

Я вспомнил его глаза, полные невыразимой горечи, когда он остановился на трапе. Но страха в них не было. Не было страха перед той неизбежностью, которая его ждала вдали от земли, регулярных линий и знакомых течений. Ночью он будет видеть в воде светящихся медуз, морды невиданных чудовищных рыб, будут всплывать к его лодке из фиолетовых глубин, днем он будет видеть в воде живую стену шевелящихся водорослей, а вечером длинные извивающиеся щупальца осьминогов потянутся к нему, беззащитному путнику. На третий-четвертый день его уже будут ждать на дне занесенные течениями из неизвестных морей, наполовину затянутые песком остовы, незнакомых суденышек, разбитых штормами; будут ждать утонувшие мореходы, раскачиваясь в воде, и будут тянуть к нему костлявые руки. И все эти дни с того момента, когда он оттолкнулся от борта корабля, и до того мгновения, как медленно-медленно станет опускаться на дно, захлебнувшийся, измученный холодом и голодом, больше всего его будет мучить одиночество. Именно одиночество и убьет его быстрее всего, ибо движения его перестанут иметь цель, перестанут обладать ценностью для него самого, привыкшего находиться среди матросов, солдат, переселенцев, среди людей.

Через три часа даже из вороньего гнезда нельзя было увидеть его паруса. Под торжествующие крики матросов, под стоны чаек были подняты паруса, они наполнились тем же ветром, что и парус Командира, и судно двинулось в противоположную сторону.

Бот напоследок шел играючи, будто любовался собой, своей ладностью, стройностью и красотой линий. Он будто не наслушался еще плеска разбиваемой штевнем волны, не полнился тугим гудом парусов и топотом матросов. Это были его последние мгновения, самые прекрасные.

Корабль двигался курсом, со школярским тщанием вычисленным гардемаринами, но Чиф полностью доверялся им, никогда, впрочем, не делая поправок. Он ловил себя на мысли, что теряет интерес к морю, к кораблю, да и есть стал пло-

хо, и спалось ему в это время неважно, хотя уж сейчас можно было только спать. Чифу казалось, что он перестает быть моряком, и море, которому он совсем недавно отдавал всю свою душу и любовь, перестало влечь его и кружить ему голову. Он заставил себя выполнять свои обязанности, помня о том непосильном грузе, который возложил на него Командир. По ночам было уже холодно, на вантах намерзали корки льда, а большие льды нагоняли с севера. Чиф знал, что осенние штормы еще не до конца истрепали их, и удивлялся, почему они шадят их корабль. Однако он чувствовал, что не штормы, не ураган и не оверкиль будут десницей возмездия, а что-то другое. Он не сомневался, что возмездие их настигает и скоро настигнет.

Это случилось утром, при спокойной воде и хорошей видимости. Вахтенный в тот день не выставлялся, потому что на палубе полным ходом шли работы по ремонту после очередного шторма. Еще раньше, когда шторм уже выпустил их из своих тисков, на воде были замечены бревна, а над головами стаями пролетали дикие утки. Это означало, что неподалеку была Земля. Бот, стоящий на плавучем якорю, тихонько несло течением. Первый сигнал тревоги подал тиммерман. Чифу стало ясно, что надвигается о н о. Неуправляемый корабль несло на камни. Грохот прибоя, разбивающего свои валы о прибрежные камни, был похож на голос судьбы. В воздухе стала ощущаться водяная мельчайшая пыль, как это бывает среди рифов во время быстрого перемещения воды.

Но в том-то и дело, что никакого берега и никаких камней не было видно. Нарастающий рев прибоя, неумолимый, как рок, лишал воли. Непонятность, непостижимость происходящего вселяли в души дыбившийся ужас. Это не могло быть галлюцинацией, звук прибоя, влагу и прохладу испарений слышали и ощущали все.

...Раздались первые удары корпусом о камни, потрясшие корабль до самых клотиков, обезумевшие люди, до того мечущиеся по палубе в бестолковой суете, стали прыгать в воду, чтобы успеть уйти от обломков разваливающегося судна. Страх вымел их за борт: они падали и странно, в неестественных позах повисали в воздухе, над поверхностью воды. Они ползли, крича, а в воздухе за ними тянулись темные струйки крови. Те, кто падали в воду, оборачивались на повисших в воздухе и кричали криком, от которого кровь стыла в жилах. Было похоже, что под ними находились какие-то твердые поверхности, камень, например, только невидимый, и люди падали на него и ломали ноги.

Одним из сильнейших ударов был перебит киль, и корабль стал разваливаться на две части. Чиф, который не покинул судна в его последнюю минуту и прикрутил себя концом к лееру на юте, похолодел, услышав, как заревела хлынувшая в пролом вода. Еще несколькими ударами корабль был окончательно расчленен. Половинки корабля продолжало подбрасывать волной и переваливать с борта на борт. Тяжелые фальконеты срывало с лафетов, они колотились о борта изнутри, пробивая в обшивке зияющие проломы. Чиф видел, как от случайной искры воспламенился в крюйт-камере заряд: треск взрыва потряс воздух, взметнувшиеся вверх обломки градом посыпались в воду рядом с уцелевшей половиной бота. Жаркая волна ударила в лицо Чифу, спалила волосы, бороду. Подоженные горящими щепками, начали тлеть доски обшивки и на юте. Чиф потерял всякое чувство опасности; с неподдельным интересом он смотрел, как потрескивает намокшее дерево, неохотно загораясь, языки пламени лизали отвороты его сапог. Еще немного и огонь под ним превратится в костер, на котором он сгорит. Половинка бота, на которой он стоял, охвачена была пламенем со всех сторон. Она раскачивалась, но колебания ее становились все меньше и реже — под днищем был грунт. Завороженный языками огня, Чиф не отрывал от них глаз. Он уже не понимал, что можно, да и нужно спастись, разбежавшись и прыгнув как можно дальше в воду. Глубина здесь была небольшой, метра три. Он не слышал, как шипит на береговой гальке набегающая и откатывающаяся волна, не слышал звонкого шума реки, впадающей в тихую мелкую бухту, где стояла, наклонившись, половина корабля, его не привел в себя даже голос Афанасия, чья обожженная фигура появилась рядом.

— Вы живы, господин Лейтенант?

— Господин Лейтенант жив, — машинально ответил Чиф, стараясь не вдыхать обжигающий легкие горячий воздух пожара.

— Держитесь за меня, сейчас я вас отвяжу. Пошевеливайтесь, Лейтенант, мы можем сгореть!

— Мы можем сгореть? Разве мы еще живы? Давай сгорим, Афанасий Железная Рука, какого дьявола мы цепляемся за эти обломки?

Сброшенный в воду, погрузившись в нее с головой, Чиф подумал: наконец-то!.. Вот он о. Но его выдернула из воды все та же железная рука Афанасия, выхватила, подняла и мягко опустила на холодный, девственно чистый песок...

...Обратного адреса на конверте не было, вероятно, адресант предполагал, что он известен тому, кому письмо это было послано. Поэтому сообщение о смерти Огольцова и не было отправлено. Удивительно, что письмо вообще могло сохраниться в этом засилье пустоты и пыльных поверхностей. Хозяин должен был его уничтожить, но не сделал этого.

Письмо было от матери.

«Игорь! О чем ты только думаешь, представитель празднующегося поколения?! Тебе за сорок, а ты взыскуешь высшей чести, будто семнадцатилетний юнец. Пойми, вещи имеют тот характер, который придаем им мы сами. А ты заперся на своей Голгофе, от тебя ни слуху ни духу вот уже сколько лет, и, судя по всему, ты ничего не собираешься в своей жизни менять. Только если это можно назвать жизнью! Скольких трудов мне стоило разыскать тебя! Я твоя мать, если ты забыл, что это такое. Однажды ты мне ответил, вот и хорошо, что ты меня родила и дала мне жизнь, теперь разреши мне в ней самому разобраться. Разобрался? Советую тебе, прошу тебя еще раз — перемени свое отношение, приблизься к реальности. Пишу это, конечно, в заблуждении надежде на то, что ты переменишься, хотя в твоём возрасте жизненной линии уже не меняют. Хорошо еще, что откликнешься.

Твоя бывшая жена вышла замуж, ездит на собственной машине на юг, недавно была с мужем за границей. Она стала очень женственной, ей идет эта роль — жены человека с положением. Думается, будь она достойна тебя, сохрани в семье дух взаимного уважения и душевности, то семья ваша не распалась бы.

Тебе нравилось работать, нравилось, как ты говоришь, «производить», но тебя все больше и больше разочаровывал конечный результат такой деятельности. Ты заметил, что в тебе стал просыпаться другой человек, который процесс труда стал предпочитать его результатам, а это заводило в тупик, могло длиться до бесконечности. Но ведь от тебя зависело, что предпочесть, что выбрать, к чему прийти. Ты стал рассматривать свою семью как несостоятельную, прагматическую, как теперь говорят, ветвь Огольцовых и через то, что не сумел, а может, и не хотел с этой несостоятельностью бороться, пришел к выводу, что и сам ты несостоятелен. Однажды ты мне сказал, что ни к чему, кроме как к вещам, не пришел и что в этом виновата, в общем, неорганизованная духовно человеческая сущность.

В наше время умели чудесным образом находить соот-

ветствие наших дел с вечным, непреходящим, мало кто думал, что можно жить иначе. Время было великим, не терпело двойственности, колебаний, отсюда наша, может быть, прямолинейность и напор, который ты осуждал, как детскость. Что же сделал ты? Ничего. И продолжаешь ничего не делать. А это есть насилие над собой. Мы в свое время жили, работали, ошибались, но — что-то делали. Ты предпочел остаться в стороне. Бог с тобой! Неизвестно почему ты приходишься мне сыном, к тому же единственным. Позволю спросить, как человечество придет к своим целям — без тебя? Нет людей чужих и нет людей своих: все участвуют каждый в меру возможностей и желаний в процессе движения. В этом есть логика.

О себе. Одолевают заботы на моей работе, которых я пока не собираюсь лишаться, покуда есть силы. Да еще занимает борьба с естественным старением организма».

Истины не бывает где-то посередине, думал я, вышагивая вдоль линии Большой воды. Истина есть и то и это. Убедению придает силу истины осознание собственного места в жизни. Нельзя также делить время на великое и менее великое. Время есть время. Это его отсчитывают мои хитрые часы, это его контролирует своим биением мое сердце, ритмом работы которого и наполняется содержание времени.

Я рад, что мои колебания кончились.

Прощай, товарищ! Я помню твои печальные глаза в последнюю минуту нашей встречи, там, на берегу, где стоит памятник несуетной, но бесславной судьбе.

Я убежал от накатов вверх, на тундру, где, по рассказам Николая, шла наезженная дорога. Сверху мне стало видно линию прибрежного песка намного дальше, чем с нее самой. В сотне метров от меня копошились у вытащенной на берег лодки двое мужчин. Я помог им приподнять днище лодки, а когда проверка была закончена и маленькая дырочка ниже ватерлинии забита деревянным чопиком, попросился в пассажиры. Я сказал, что втроем всегда было легче и веселее, чем одному или вдвоем, с чем они без всякого возражения согласились.

Так вот я и добрался в Поселок. Еще когда мы подходили к Берегу, над Поселком появилось плотное красное облако, которое медленно относилось ветром со стороны тундры в

море. На вопрос, что это может быть, старший из спутников ответил, что, по всей вероятности, это захваченные ветром частицы пыли с голых склонов сопки, подверженных выветриванию. А может, и признаки вулканической деятельности: где-то задышала земля.

На пятерку, предложенную мной в качестве компенсации затрат на дополнительно к норме сожженный бензин, они мельком посмотрели и отвергли ее столь же молча, сколь и красноречиво. Мы не дешевики, парень, сказал старший. Кажется, я покраснел. «Подвезли, и топай!» Восхищенный их простотой и демократичностью, я пожал на прощание их шершавые ладони и спрыгнул на берег.

На почте, в секции «до востребования» мне выдали телеграмму, и, прочитав ее, я покачал головой. Ну и Николай, как только ему удастся? Удивляться не стоило, знай я, что есть еще организации, куда можно устроиться заочно, используя результат добрых отношений, или, иначе — связи.

Вернулся на причал. Облако, затянувшее Поселок, густело и густело. Казалось, труднее стало дышать, так плотно пыль висела в воздухе. Уже за пятьдесят — сто метров видимость ухудшалась, предметы тонули в красноватой тревожной дымке.

Семен включил трансляцию и закричал столпившимся на палубе морякам:

— Что вы там колдыбаситесь, витязи?! Что вы бурлите, колготитесь и трепещете?! Да начхать мне на чужое горе!

Все лица повернулись к динамику, Семен вышел на крыло мостика, натянув шнур микрофона, и откашлялся:

Ходят чайки по песку,
Моряку сулят тоску
И пока не влезут в воду,
Жди штормовую погоду!

Семен пел песню. Многократно усиленная мощными транзисторами, она гремела над необозримыми водными просторами, вызывая зыбкое трескучее эхо, отражалась в наползающей на судно красноватой пыльной туче. Где-то камнем падала умершая на лету дичь, всплывала брюшком вверх рыба, ложилось ниц зверье, не в силах переносить тоски и нерастраченной силы, звучащей в словах этой песни.

Лева чихнул.

— Чтоб тебе сдохнуть! — приветствовал его чих Семен.

— Тебе того же, — буркнул благодарный Лева.

Если солнце село в тучу,
Берегись, получишь бучу.
Если ж солнце село в воду,
Жди хорошую погоду...

— Он сбацал тоскливую балладу? — шепотом спросил Леву Дед.

— Он сбацал тоскливую балладу! — разнеслось по палубе. — Он сбацал тоскливую балладу!

Коль резок контур облаков,
Ко встрече с ветром будь готов.
Когда ж их контуры мягки,
Тогда все ветры далеки!

Когда Семен кончил петь, по палубе гулким эхом прокатился общий всхлип-вздых печали и понимания. Закончил же Семен свое выступление тяжким воплем, троекратно отраженным водной поверхностью, красным облаком и небесной твердью:

— Мэйдей! Мэйдей! Мэйдей!

С бульканьем утонул в морской пучине последний компас, который выдрал из нактоуза Чиф. Отныне судну предстояло идти только по флюгеру, пересекая линию ветра то кормой, то носом.

Чиф снова встал рядом со Студентом и оперся плечом о стойку.

Повариха в эту секунду подняла вверх голову и увидела за срезом козырька лицо Студента. Она раскрыла рот и, словно пришибленная кран-балкой, стала слепо тыкаться в спины моряков. Некрасивое зрелище она собою представляла. Ей пришлось писать свои вопросы на бумажке, ибо из-за постоянно разинутого рта слова ее никто не мог разобрать. Лева обратил на нее внимание.

— Скажи букву «рэ-э-э», — поддразнил он Повариху, но самому ему было не очень весело. Он-то понимал, что ему самому будет отныне не очень весело: все повертывается так, что лучше бы не быть на этом сумасшедшем судне вообще. Но деться было некуда.

— Провожающие, утрите слезы, портянкой! — снова раздался громовый голос Семена. — Пусть будет что будет! Теперь я у вас бугор! Никто не смей пикнуть!

О чем-то своем, незначительном, переговаривались встревоженные чайки, тихонько посвистывали ванты у самого уха Чифа и Студента, только на палубе стало тихо...

— Третьему на выход! — скомандовал Семен. — Хватай-

те его под микитки и бросайте на катер, как только тот подойдет!

Спасовал, думал я. Огольцов Игорь Ефимович спасовал. Старая истина: жить труднее, чем умереть.

На палубу спустился Кэп и медленно приблизился к борту, к тому месту, откуда была выброшена наковальня.

После минутной паузы в глубине надстройки раздались тяжелые шаги. В груди тех, кто столпился у борта, кто облепил тамбучину, трепыхнулись сердца. Облако накрыло теплоход, захрустела на зубах пыль. Все отошли подальше от выхода из надстройки, будто тот, кто сейчас должен был выйти, болен был бубонной чумой. Катер ткнулся кранцами в борт теплохода, взбурлила за кормой вода, белая пена расплылась на поверхности. Третий вышел из надстройки, перебросил из руки в руку небольшой чемоданчик, стал ногой на кнехт и легко перемахнул на палубу катера. Я увидел множество лиц, столпившихся у фальшборта людей. Два лица виднелось на верхнем мостике, через леер крыла мостика перевесился какой-то великан с микрофоном усилителя в руках. Когда я приготовился и вспрыгнул на палубу теплохода, старпом катера крикнул мне: ну, ни пуха ни пера!

— Кушай овсяную кашу «Геркулес», Третий! — проревел в микрофон великан на крыле мостика. Я обернулся на человека, который только что спрыгнул с палубы теплохода на катер. Он стоял на носу отходящего катера, курил, молча рассматривал теплоход, лица, целые гроздья лиц, повисших над планширом. Он махнул кому-то рукой, приветливо улыбнулся, а в ответном порыве взмыли только две руки — руки людей, которые находились на верхнем мостике и чьи лица я видел за срезом козырька.

Студент не поверил своим глазам. Он ущипнул себя за ногу и проморгался. Сомнений быть не могло: человек, который сошел с катера на палубу их судна, похож был на Казака, которого Студент видел серой ночью на берегу речки, где он караулил сеть.

Я подошел к сидящему на кнехте человеку с шевронами капитана на рукаве и протянул ему телеграмму, полученную мной на почте. В ней предлагалось мне, Афанасию Глинице, временно, до окончательного оформления по приходу в порт приписки, принять должность третьего механика на этом судне.

1978 г.

п. Оссора

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКУЩАЯ ВОДА	3
ТРЕТИЙ.	85

Борис Петрович Агеев

ТРЕТИЙ. ТЕКУЩАЯ ВОДА.

М., «Советский писатель», 1983, 256 стр.
План выпуска 1982 г. № 3

Редактор *З. В. Одинцова*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *Н. Н. Талько*
Корректор *В. Е. Бараненкова*

ИБ № 2960

Сдано в набор **22.04.82**. Подписано к печати **12.11.82**.
А09207. Формат **84×108¹/₃₂**. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. **13,44**. Уч.-изд л. **14,65**. Тираж **30 000 экз.**
Заказ **3114**. Цена **1 руб.**

Издательство «Советский писатель».
121069, Москва, ул. Воровского, 11

Отпечатано с пленок ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.
Типография издательства «Коммунист». 410002, г. Саратов, ул. Волжская, 28



1 руб.



